



**ДЖОРДЖ**

**ОРУЭЛЛ**

**1984**

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я    К Л А С С И К А

# Джордж Оруэлл

## 1984

Серия «Эксклюзивная классика (АСТ)»

*текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=67572948](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67572948)*  
*1984: АСТ; Москва; 2022*  
*ISBN 978-5-17-148844-4*

### Аннотация

Своеобразный антипод второй великой антиутопии XX века – «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Что, в сущности, страшнее: доведенное до абсурда «общество потребления» – или доведенное до абсолюта «общество идеи»?

По Оруэллу, нет и не может быть ничего ужаснее тотальной несвободы...

Роман публикуется в новом переводе.

*В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.*

# Содержание

Часть первая	6
I	6
II	28
III	39
IV	49
V	63
VI	82
VII	89
VIII	104
Часть вторая	130
I	130
II	144
III	156
IV	168
V	181
VI	193
VII	197
VIII	206
IX	221
Часть третья	281
I	281
II	298
III	324

IV	341
V	351
VI	357
Приложение	371

# Джордж Оруэлл

## 1984

© Школа перевода В. Баканова, 2022

© Издание на русском языке AST

Publishers, 2022

\* \* \*

# Часть первая

## I

Стоял ясный и холодный апрельский день, часы били тринадцать, когда Уинстон Смит, горбясь и тыкаясь подбородком в грудь в попытке укрыться от пронизывающего ветра, спешно скользнул в стеклянные двери жилкомплекса «Дворец Победы». Спешка вышла неловкой, и завиток колкой пыли прорвался внутрь вслед за ним.

В вестибюле воняло вареной капустой и старыми половиками. В одном углу к стене прилеплен цветной плакат, чересчур большой для помещений. На нем просто огромное, больше метра в ширину, лицо сурового красавца лет сорока пяти с густыми черными усами. Уинстон направился к лестнице, не надеясь на лифт. Тот и в лучшие времена работал редко, а сейчас в светлое время суток электричество вообще отключали в целях экономии: близилась Неделя ненависти. До квартиры надо было одолеть семь лестничных пролетов, и Уинстон поднимался медленно, останавливался, переводя дух, на каждой площадке: ему было уже тридцать девять, да и варикозная язва на правой лодыжке давала о себе знать. На каждой площадке со стены напротив лифта взирало огромное лицо. Изображение было из тех портретов,

взгляд глаз на которых неотрывно следовал за тобой, куда ни двинься. Надпись внизу гласила: «Большой Брат следит за тобой».

Внутри квартиры звучный голос зачитывал какие-то цифры, вроде бы данные о производстве чугуна. Голос лился из вправленной в стену справа от входа прямоугольной металлической пластины, похожей на тусклое зеркало. Уинстон повернул регулятор, стало потише, хотя слова все еще доносились довольно отчетливо. Агрегат, звавшийся телеэкраном, можно было приглушить, но не выключить. Уинстон перешел к окну, невысокий и щуплый, в синем комбинезоне члена Партии, который лишь подчеркивал его худобу. У него были светлые волосы и покрасневшее лицо, кожа шершавилась от грубого, дешевого мыла, бриться тупыми лезвиями и недавно закончившейся морозной зимы.

Снаружи, несмотря на закрытое окно, тянуло холодом. Ветер кружил по улице пыль и обрывки бумаги. На ярко-голубом небе сияло солнце, и все же город казался лишенным цвета, не считая расклеенных повсюду плакатов. Усатое лицо взирало с каждого заметного угла. На фасаде дома напротив раскинулась надпись: «Большой Брат следит за тобой» – и взгляд темных глаз забирался Уинстону прямо в душу. Дальше по улице на уровне первого этажа судорожно хлопал на ветру еще один плакат, то открывая, то закрывая слово «ангсоц». Вдалеке между крышами скользил вертолет, то зависая, как трупная муха, то стремительно уносясь прочь

по дуге. Это полицейский патруль бдительно заглядывал в окна граждан. Впрочем, патрулей можно не опасаться. Другое дело полиция помыслов...

За спиной Уинстона голос с телеэкрана вещал о чугуне и перевыполнении Девятой трехлетки. Агрегат одновременно работал на передачу и прием сигнала. Он различал любой звук громче тихого шепота и вдобавок транслировал изображение из комнаты, если ты попадал в зону обзора. Понять, наблюдают за тобой или нет, невозможно. Оставалось лишь гадать, как часто и по какому принципу полиция помыслов подключается к твоему телеэкрану. Не исключено, что следят за всеми круглосуточно. В любом случае, могли подключиться когда угодно. Приходилось жить... да что там, ты всегда жил по привычке, давно ставшей инстинктом... исходя из предположения, что любой твой звук слышат и любое движение, кроме как в темноте, тщательно изучают.

Уинстон держался к телеэкрану спиной. Так безопаснее, хотя он прекрасно знал, что даже спина может выдать. Над тусклым от копоти пейзажем возвышалось трехсотметровое белое здание министерства правды – его место работы. Вот он, подумал Уинстон с глухим отвращением, вот он, Лондон, главный город Авиабазы-1, третьей по населенности провинции Океании. Уинстон пытался извлечь из памяти хоть какое-нибудь воспоминание о Лондоне своего детства. Всегда ли здесь было так? Всегда ли панораму города составляли гниющие домишки девятнадцатого века, подпертые дере-

вянными балками, с заколоченными фанерой окнами, с крышами из рифленого железа, с расползающимися во все стороны стенами палисадов? А места бомбежек, где в воздухе кружит асбестовая пыль и руины покрываются кипреем, а проломы среди домов мгновенно зарастают убогими деревянными лачугами, похожими на курятники? Без толку. Ему не вспомнить ничего: от детства остались лишь ярко освещенные картинки, вырванные из чего-то целого, большей частью невнятные.

Здание министерства правды (миниправ на новослове<sup>1</sup>) разительно отличалось от других за окном. Громадина пирамиды из сверкающего белого бетона возносилась ввысь ступенчатыми террасами. С той точки, где стоял Уинстон, на стене высотки отчетливо читались выведенные изящными буквами три лозунга Партии:

Война ЕСТЬ мир  
Свобода ЕСТЬ рабство  
Незнание ЕСТЬ сила

Говорили, что в министерстве правды три тысячи кабинетов над землей и столько же в подземных этажах. По Лондону стояли еще три здания того же вида и размера. Они разительно выделялись на фоне окружающей архитектуры, и с крыши «Дворца Победы» было видно все четыре разом. В них располагались четыре министерства, составляющие пра-

---

<sup>1</sup> Новослов – официальный язык Океании. Сведения о его структуре и этимологии см. в Приложении. (Примеч. авт.)

вительственный аппарат. Министерство правды занималось информацией, зрелищами, образованием и искусством. Министерство мира ведало военными делами. Министерство любви обеспечивало закон и порядок. Министерство благоденствия решало экономические вопросы. На новослове их названия звучали как миниправ, минимир, минилюб и миниблаг.

Самое жуткое министерство любви, здание без единого окна. Уинстон никогда там не бывал, даже не подходил ближе чем на полкилометра. Просто так в министерство не попасть, только по долгу службы, да и то миновав настоящий лабиринт из колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных гнезд. Улицы, ведущие к внешней полосе заграждений, патрулировали похожие на горилл охранники в черной униформе, вооруженные резиновыми дубинками.

Уинстон резко отвернулся от окна, придав лицу подобающее перед телеэкраном выражение сдержанного оптимизма, и прошел в крошечную кухню. Покинув министерство так рано, он пожертвовал обедом в столовой, хотя и знал, что дома из еды остался лишь ломоть черного хлеба, да и тот на завтрак. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой наклейкой «Джин Победа». В нос ударил отвратный, маслянистый запах, как от китайской рисовой водки. Уинстон налил почти полную чашку, собрался с духом и выпил залпом, как лекарство.

Лицо его побагровело, глаза увлажнились. На вкус как азотная кислота, а проглотишь – будто резиновой дубинкой по затылку огрели. Впрочем, вскоре жжение в животе прошло, и Уинстон повеселел. Он достал из смятой пачки «Победа» папиросу, по рассеянности держа ее вертикально, и табак мигом высыпался на пол. Со следующей ему повезло больше. Уинстон вернулся в гостиную и присел за стол слева от телеэкрана. Из ящика он вынул перьевую ручку, чернила и толстый, в четверть листа альбом для записей с красным корешком и обложкой под мрамор.

По неясной причине телеэкран в гостиной был установлен не как положено. Обычно его монтировали с торца, чтобы просматривалось все помещение, но здесь он висел на длинной стене, напротив окна. Сбоку находилось небольшое углубление, где сейчас затаился Уинстон, – вероятно, спроектированное для книжных полок. Сидя в нише и не высываясь, Уинстон не попадал в поле обзора телеэкрана. Конечно, его могло быть слышно, зато не видно. Отчасти из-за нестандартной планировки квартиры он и задумал то, за что готовился сейчас взяться.

Впрочем, на эту мысль его навела и удивительно красивая, чуть пожелтевшая от времени книга, которую он достал из ящика. Гладкую кремовую бумагу лет сорок как сняли с производства. Уинстон подозревал, что книга еще старше. Он заметил ее в витрине захудалой лавки старьевщика, бродя по трущобам пролов, и тут же загорелся. Членам Партии не

полагалось отовариваться в обычных магазинах (так сказать, «приобретать товары на свободном рынке»), но иногда на это смотрели сквозь пальцы: иначе всякими мелочами вроде шнурков или бритвенных лезвий разжиться не получалось. Уинстон оглянулся по сторонам, заскочил в лавку и купил книгу за два с половиной доллара. Он еще и сам не знал, зачем она ему нужна. Поспешно сунув добычу в портфель, он отправился домой. Даже с чистыми страницами книга изрядно компрометировала своего обладателя.

Дело в том, что Уинстон собрался вести дневник. Законом это не запрещалось (в Океании не запрещалось ровным счетом ничего, поскольку никаких законов давно не было), однако если б дневник нашли, ему грозила бы смерть или в лучшем случае лет двадцать пять в исправительно-трудовом лагере. Уинстон вставил перо в держатель и облизнул, чтобы удалить смазку. Ручки давно вышли из употребления – их даже для подписи почти не использовали, и Уинстон раздобыл свою украдкой и не без труда; ему казалось, что на красивой бумаге следует писать настоящими чернилами, а не карябать впопыхах химическим карандашом. Вообще-то держать перо он не привык. На работе велась диктовка в речеписец, который по понятным причинам тут совершенно не годился. Уинстон макнул перо в чернила и замер, чувствуя невольный трепет. Стоит коснуться бумаги пером, и возврата не будет. Маленькими корявыми буквами он вывел:

*4 апреля 1984 года*

Откинулся на стуле. Уинстона охватило чувство полнейшей беспомощности. Прежде всего он вовсе не был уверен, что ныне шел именно 1984 год. Ему тридцать девять лет, родился в сорок четвертом или сорок пятом, но определить дату без погрешности в год или два теперь никому не по силам.

Для кого же его дневник? Уинстон внезапно задумался. Для грядущих поколений, для тех, кто еще не родился? Мысли зависли над сомнительной датой, потом наскочили с размаху на слово «двоемыслие». Впервые до него дошла грандиозность поставленной задачи. Как общаться с будущим? В силу объективных причин это невозможно. Либо оно похоже на настоящее и тогда пропустит его слова мимо ушей, либо вовсе непохоже, и тогда рисковать вообще не имеет смысла.

Он посидел, тупо глядя на бумагу. Телеэкрэн переключился на бравурный военный марш. У Уинстона возникло чувство, что он не только утратил способность выражать свои мысли, но вообще позабыл, о чем собирался писать. Он готовился к этому неделями, и ему не приходило в голову, что одним мужеством здесь не обойдешься. Водить пером по бумаге несложно. Просто берешь и переносишь на нее нескончаемый внутренний монолог, который ведешь годами. Впрочем, на данный момент иссяк даже он. Вдобавок отчаянно зачесалась язва на правой ноге. Уинстон побоялся ее трогать, чтобы снова не воспалилась. Бежали секунды. Он не замечал ничего, кроме пустой страницы перед собой, зуда в лодыжке, грохота марша и легкого опьянения.

Внезапно Уинстон торопливо застрочил мелким, похожим на детский почерком, едва сознавая, что выходит из-под пера. Строки гуляли по странице то вверх, то вниз, постепенно исчезли заглавные буквы, а следом и знаки препинания:

*4 апреля 1984 года. Вчера вечером в кино. Фильмы только про войну. Один очень хорош: там бомбили корабль, набитый беженцами, где-то в Средиземном море. Публика восторгалась кадрами расстрела невероятно огромного толстяка, пытавшегося вплавь удрать от охотившегося за ним вертолета; сначала видишь, как он, будто чудище морское, барахтается в воде, потом видишь его в перекрестье прицела вертолетного пулемета, потом в нем наделали дырок, море вокруг порозовело, и толстяк вдруг камнем пошел ко дну, будто в пробоины от пуль хлынула вода, публика покатывалась от хохота, пока он тонул. Потом показали спасательную шлюпку, полную детей, а над ней кружил вертолет. На носу шлюпки сидит средних лет женщина, должно быть, еврейка, с трехлетним мальшиком на руках. карапуз визжит от страха, прячет голову у нее между грудей будто старается вглубь зарыться, а женщина его обнимает и утешает хотя сама посинела от страха, все время укрывает ребенка как может будто ей удастся защитить его от пуль. потом вертолет всаживает 20-килограммовую бомбу шикарный взрыв и шлюпка разлетается в щепки. И тут дивный кадр: детская*

*рука летит вверх вверх вверх прямо в небо наверное камера на носу вертолета засняла и с мест отведенных партийцам бурные аплодисменты зато женщина в части зала для пролов внезапно поднимает крик и вопит не фиг такое показывать в зале дети ничем нельзя при детях такое показывать пока полиция ее не выводит сомневаюсь что ей всерьез достанется никого не волнует что проловы говорят типичная реакция пролов они никогда...*

Уинстон перестал писать, с непривычки руку свело судорогой. Он понятия не имел, зачем выплеснул на бумагу эту чушь. Самое удивительное, что, пока писал, в памяти всплыл другой случай, причем настолько четко, что хоть бери и записывай. Похоже, как раз из-за того-то случая Уинстон и решил вдруг сегодня вернуться домой и засесть за дневник.

Случилось это утром в министерстве, если только про такое призрачное можно сказать, что оно случилось.

Было около одиннадцати, и сотрудники департамента документации, где работал Уинстон, готовились к Двухминутке ненависти: тащили стулья из своих клетушек и рассаживались в центре холла напротив большого телеэкрана. Уинстон занял место примерно посередине, и тут неожиданно подошли еще двое. Он узнал их лица, хотя знаком с ними не был.

Первой шла темноволосая девушка из департамента беллетристики, имени ее Уинстон не знал, но она часто попадалась ему в коридоре с перепачканными маслом руками и

гаечным ключом: скорее всего, занималась техобслуживанием аппаратов для написания романов. На вид дерзкая, лет двадцати семи, волосы густые, на лице веснушки, стремительная и спортивная. Поверх комбинезона носит обернутый в несколько раз узкий алый пояс, атрибут Юношеской антисекс-лиги, стянутый в талии ровно настолько, чтобы намекнуть, сколь точены девичьи бедра. Уинстон невзлюбил девушку с первого взгляда, и не без причины: от нее так и веяло здоровым духом спортивных состязаний, ледяного душа, пеших походов и ярой приверженности идеям Партии. Уинстон терпеть не мог почти всех женщин, тем более юных и смазливых. Именно из женщин получались самые фанатичные приверженцы Партии: они слепо верили лозунгам, с готовностью шпионили и доносили, вынюхивали инакомыслящих. Эта же показалась Уинстону особенно опасной. Однажды в коридоре девица бросила быстрый косой взгляд, вонзившийся Уинстону прямо в душу и наполнивший его беспросветным ужасом. Вдруг она агент полиции помыслов? Уинстон сомневался и все же испытывал в ее присутствии непонятную тревогу, смешанную со страхом и жгучей неприязнью.

За нею следовал член Центра Партии по имени О'Брайен, занимающий пост настолько важный и высокий, что Уинстон имел о нем лишь смутные представления. Завидев особу в черном комбинезоне, сидевшие полукругом люди мгновенно умолкли. О'Брайен был крупным, дородным мужчиной с

толстой шеей и жестким, насмешливым лицом. Несмотря на брутальную внешность, он обладал определенным шармом и имел привычку поправлять очки на носу совершенно обезоруживающим жестом, делавшим его похожим на дворянина восемнадцатого века, предлагающего собеседнику понюшку табаку (если вдруг кто-то еще мыслит подобными образами). Лет за десять Уинстон видел О'Брайена с десятков раз. Его тянуло к О'Брайену, и не только из-за контраста между обходительными манерами партийца и обликом боксера-тяжеловеса. Уинстон втайне верил – точнее, надеялся, – что политические взгляды О'Брайена не вполне ортодоксальны. Впрочем, могло статься, что на его лице проступало вовсе не инакомыслие, а природная острота ума. В любом случае, О'Брайен производил впечатление человека, с кем можно, если обмануть телеэкран, поговорить с глазу на глаз. Подтвердить свою догадку Уинстон даже не пытался... да и как это сделать?

О'Брайен бросил взгляд на наручные часы, увидел, что почти одиннадцать ноль-ноль, и решил задержаться на Двухминутку ненависти в департаменте документации. Он занял место в том же ряду, что и Уинстон, в паре стульев от него. Между ними сидела маленькая песочная блондинка, работавшая в соседней с Уинстоном кабинке. Темноволосая девушка устроилась прямо позади него.

Телеэкран пульнул по залу жутким лязгом, потом заскрежетало, словно пришел в движение огромный несмазанный механизм. От этих звуков у всех присутствующих свело зу-

бы и волосы встали дыбом. Пошла Ненависть.

Как обычно, на экране возникло лицо Эммануэля Гольдштейна, врага народа. Раздались протестующие фырканыя. Маленькая блондинка взвизгнула от ужаса и отвращения. Гольдштейн был отступником и изменником, который давным-давно, никто уже и не помнил когда, занимал один из ключевых постов в Партии, чуть ли не наравне с Большим Братом, потом занялся контрреволюционной деятельностью, получил смертный приговор, непонятно как совершил побег и исчез. Программы Двухминутки ненависти менялись ежедневно, но не было ни одной, где Гольдштейн не был бы главной фигурой. Он был первородным изменником, первейшим осквернителем чистоты Партии. Все преступления против Партии, все предательства, диверсии, любое инакомыслие и уклонизм прорастали непосредственно из его учения. Отыскать его никак не удавалось: он то ли вынашивал свои заговоры где-то за границей, под защитой иностранных покровителей, то ли, если верить слухам, затаился в тайном логове в самой Океании.

У Уинстона перехватило дыхание. Внешность Гольдштейна всегда вызывала в нем болезненную смесь чувств. Постное еврейское лицо в пышном ореоле седых волос, козлиная бородка... – лицо умное и при том какое-то врожденно мерзкое, со стариковской придурью, проступавшей в манере носить очки на самом кончике длинного тонкого носа. Оно походило на овечью морду, да и блеющий голос был ему под

стать. Как обычно, Гольдштейн принялся злобно глумиться над доктриной Партии, причем его грязные инсинуации звучали настолько чудовищно, что не обманули бы и младенца. Впрочем, правдоподобия им хватало, и это наполняло слушателей тревогой, как бы другие, менее здравомыслящие, им не вняли. Гольдштейн оскорблял Большого Брата, клеймил диктатуру Партии, требовал немедленного заключения мира с Евразией, выступал за свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу мысли, истерично вопил, что идеалы революции преданы, – и все это скороговоркой, с использованием многосоставных слов, пародируя манеру речи партийных ораторов, он даже вставлял в речь привычные обороты новослова, причем гораздо чаще, чем любой член Партии. При этом, дабы никто не усомнился в подлинной сущности того, что скрывается за лживыми, трескучими фразами Гольдштейна, на заднем плане маршировали бесчисленные шеренги евразийской армии, ряд за рядом шагали могучие азиаты с бесстрастными лицами, и глухой грохот солдатских сапог служил фоном бляению Гольдштейна.

С начала Ненависти прошло каких-нибудь полминуты, а половина зрителей уже не могла сдерживать негодующих возгласов. Смотреть на самодовольную овечью морду на фоне ужасающей мощи евразийской армии было невыносимо, к тому же сам вид Гольдштейна и даже мысль о нем рефлекторно вызывали страх и гнев. Он стал объектом общественной ненависти гораздо более постоянным, чем Евразия

или Востазия, поскольку Океания поочередно воевала с одной сверхдержавой и находилась в состоянии мира с другой. Гольдштейна ненавидели и презирали все, каждый день и по тысяче раз на дню с трибун, с телеэкранов, со страниц газет и книг его теории опровергали, разносили в пух и прах, высмеивали, выводили на чистую воду, но, как ни странно, влияние его не уменьшалось. Всегда находились простофили, только и ждавшие, чтобы он их совратил. Не проходило и дня, чтобы полиция помыслов не разоблачила новых шпионов и диверсантов, которые действовали по его указке. Он командовал огромной призрачной армией, подпольной сетью заговорщиков, стремившихся к свержению власти. Звалась она, по слухам, Братством. Еще ходили слухи об ужасной книге, средоточии всех ересей, написанной самим Гольдштейном, которую тайно передавали из рук в руки. Названия у нее не было. Люди, если вообще отваживались заговорить об этом, так и называли – Книга. Кроме неясных слухов мало что удавалось узнать: рядовые члены Партии старались вообще не упоминать в разговорах ни Братство, ни Книгу.

На второй минуте ненависть вылилась в иступление. Люди вскакивали с мест и орали во всю глотку, пытаясь заглушить бесившее их бляение с экрана. Маленькая блондинка от натуги стала малиновой и разевала рот, как выброшенная на берег рыба. Грузное лицо О'Брайена налилось краской. Он сидел очень прямо, мощная грудь вздымалась и вздра-

гивала, словно он пытался устоять в полосе прибора. Темноволосая позади Уинстона сорвалась в крик: «Сволочь! Сволочь! Сволочь!» – и вдруг схватила тяжелый «Словник новослова» и швырнула в экран. Книга ударила Гольдштейна по носу и отскочила, а голос неумолимо продолжал вещать... В редкий момент просветления Уинстон поймал себя на том, что кричит вместе со всеми и яростно колотит ногами по нижней перекладине стула.

Самое ужасное в Двухминутке ненависти не то, что приходится играть навязанную роль, а наоборот, то, что не играть ее невозможно. Уже через полминуты надобность в притворстве отпадает сама собой. Присутствующих охватывают чудовищное упоение страхом и жадой мести, желание убивать, пытать, лупить по головам кувалдой – словно через них пропустили электрический разряд, и они против своей воли обратились в оскаленных, визжащих психов. И эту ярость, чувство отвлеченное, ненаправленное, можно переводить с одного объекта на другой, как пламя паяльной лампы. Внезапно ненависть Уинстона перекинулась с Гольдштейна на Большого Брата, на Партию и полицию помыслов: в такие моменты он чувствовал, что сердце его на стороне одинокого, осмеянного еретика на экране, единственного хранителя истины и здравомыслия в мире лжи. И все же в следующий миг он снова был заодно со всеми и верил всему, что говорили про Гольдштейна. В такие моменты тайная ненависть к Большому Брату обращалась в обожание, а

фигура его, бесстрашного защитника, несокрушимого оплота, скалы на пути азиатских орд, возносилась ввысь. Гольдштейн же, несмотря на свою отверженность, беспомощность и сомнения в самом его существовании, представал гнусным чародеем, способным силой своего голоса погубить всю державу.

В иные моменты усилием воли удавалось переключить ненависть с одного объекта на другой. Резко, как отрывает голову от подушки во время кошмара, Уинстон направил свою ненависть с лица на экране на сидевшую позади него темноволосую девушку. Перед мысленным взором замелькали яркие, дивные видения. Можно забить ее до смерти резиновой дубинкой, привязать голой к столбу и утыкать стрелами, как святого Себастьяна, совратить и перерезать горло на пике экстаза... Уинстон наконец понял, почему так ее ненавидит: потому что она юная, красивая и холодная, потому что он хочет с ней переспать, но из этого ничего не выйдет, потому что вокруг ее изящной, гибкой талии – словно созданной для объятий – алеет гнусный пояс, фанатичный символ целомудрия.

Ненависть достигла апогея. Голос Гольдштейна превратился в бляение, лицо – в овечью морду, затем плавно перетекло в исполинскую фигуру евразийского солдата с ревушим автоматом, который двигался навстречу зрителям, грозя прорваться сквозь экран. Первые ряды в ужасе отшатнулись, и тут раздался всеобщий вздох облегчения: сквозь

фигуру врага постепенно проступило лицо Большого Брата: черноволосое, с густыми усами, полное силы и таинственного спокойствия, такое огромное, что заняло почти весь экран. Голоса Большого Брата не было слышно. Скорее всего, он сказал что-то ободрительное, вроде тех слов, которые произносят в пылу битвы: по отдельности их не разобрать, но боевой дух они поднимают. Затем лицо Большого Брата снова поблекло, и на экране появились три лозунга Партии, набранные жирным шрифтом:

ВОЙНА ЕСТЬ МИР  
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО  
НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА

Лицо Большого Брата зависло на экране, словно отпечаталось на сетчатке так ярко, что не могло исчезнуть сразу. Маленькая блондинка перевесилась через спинку стула перед собой, простерла руки к экрану и страстно воскликнула: «О, мой спаситель!» Затем закрыла лицо ладонями и зашептала молитву.

И тут все присутствующие начали ритмично скандировать «Бэ-Бэ! Бэ-Бэ!» – снова и снова, очень медленно, с большой паузой между первой и второй «бэ» – тяжелый, вибрирующий звук, на фоне которого чудились топот босых ног и бой тамтамов. Продолжалось это с полминуты. Такой рефрен рождался сам собой в моменты наивысшего накала эмоций. Отчасти он был гимном мужеству и величию Большого Брата, но в значительной степени самогипнозом, на-

рочитым вхождением в транс с помощью ритмической кричалки. Уинстон похолодел от ужаса. В течение Двухминутки ненависти он и сам поддавался всеобщему безумию, но этот дикарский ритм всегда вгонял его в дрожь. Конечно же, он скандировал вместе со всеми. Скрывать свои чувства, контролировать выражение лица, делать то же, что все, – реакция инстинктивная. И в этот миг случилось нечто важное... если только ему не померещилось.

Он поймал на себе взгляд О'Брайена. Тот уже поднялся, протер очки и широким жестом устраивал их на носу. На долю секунды, когда их глаза встретились, Уинстон понял: О'Брайен думает то же самое, что и он. Ошибиться невозможно: их разумы открылись друг другу, и мысли хлынули потоком. «Я с вами, – говорили глаза О'Брайена. – Я знаю, что вы чувствуете. Я вижу ваше презрение, ненависть, отвращение. Но не бойтесь, я на вашей стороне!» Потом глаза О'Брайена погасли, и лицо стало таким же невозмутимым, как и у всех остальных.

Непонятно, показалось Уинстону или нет. Продолжения такие инциденты никогда не имели, зато помогали верить или хотя бы надеяться, что помимо него у Партии есть и другие враги. Возможно, слухи о подпольных заговорах – правда и Братство действительно существует! Впрочем, несмотря на бесчисленные аресты, признания и казни, не исключено, что Братство – просто миф. Иногда Уинстон в него верил, иногда нет. Доказательств не было никаких, лишь ми-

молетные проблески: обрывки чужих разговоров, каракули на стенах уборных, едва уловимый жест, похожий на условный сигнал, при встрече двух незнакомцев. Оставалось только гадать. Даже не взглянув на О'Брайена, Уинстон вернулся в свою кабинку. Закрепить их мимолетную связь он не рискнул, да и не представлял как. За секунду или две они обменялись двусмысленным взглядом, и все. Но для человека настолько одинокого и замкнутого, как он, даже это – целое событие.

Уинстон встрепенулся, сел прямо и рыгнул – джин подкаптал к горлу.

Его взгляд упал на страницу. Пока он беспомощно размышлял, рука машинально продолжала писать. И почерк уже не был таким корявым и неуклюжим, как раньше. Перо самозабвенно скользило по гладкой бумаге, выводя аккуратными печатными буквами:

ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА  
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА  
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА  
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА  
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА

– и еще раз, и еще, и так на полстраницы.

Уинстон против воли ощутил приступ паники. Глупость, по сути: написать именно эти слова было ничуть не опаснее, чем взяться вести дневник, – но в тот миг его так и подмывало вырвать испорченные страницы и отказаться от своей

затеи.

Впрочем, этого он не сделал, потому как понимал: бесполезно. Без разницы, написал ли он: «ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА» – или сумел сдержаться. Без разницы, продолжит он вести дневник или нет. Полиция помыслов все равно до него доберется. Он уже совершил... и совершил бы, даже никогда не коснувшись пером бумаги... главное преступление, которое вбирало в себя все прочие. *Помыслокриминал*, так это называлось. Скрывать помыслокриминал вечно не выйдет. Какое-то время, даже несколько лет, может, и повезет, но рано или поздно им просто суждено тебя взять.

И всегда ночью: аресты неизменно производились ночью. Внезапный толчок вырывает из сна, чья-то грубая лапа трясет за плечо, свет, бьющий прямо в глаза, кольцо суровых лиц вокруг кровати. В большинстве случаев не бывало ни суда, ни сообщения об аресте. Люди просто исчезали – всегда за время ночи. Имя убиралось из документов, сведения обо всем, тобой содеянном в жизни, вымарывались, сам факт твоего былого существования отрицался, и вскоре тебя забывали. Тебя отменяли, аннулировали: ты *испарялся*, так обычно говорили.

На мгновение Уинстона охватило нечто вроде истерии. Он принялся торопливо писать корявыми каракулями:

*меня пристрелят мне плевать застрелят меня в затылок мне плевать долой большого брата они всегда стреляют в затылок мне плевать долой большого*

*брата...*

Он откинулся на стуле, слегка устыдившись себя, и отложил перо. В следующий миг его будто током дернуло. Раздался стук в дверь.

Уже! Он сидел тихо, как мышка, отчаянно надеясь, что незваный гость уйдет, не дождавшись ответа. Увы, стук повторился. Хуже всего было тянуть время. Сердце стучало, как барабан, но лицо Уинстона не выражало ровным счетом ничего – сказывалась многолетняя привычка. Он встал и через силу двинулся к двери.

## II

Взявшись за дверную ручку, Уинстон вспомнил, что оставил дневник открытым на странице, сплошь исписанной фразой: «Долой Большого Брата», – причем буквами довольно крупными, чтоб и издалека разобрать. Ничего глупее нельзя было сделать. Однако, даже паникуя, он не хотел марать красивую бумагу, захлопнув книгу с непросохшими чернилами.

Набрав в грудь воздуху, Уинстон открыл дверь. И тут же его окатила теплая волна облегчения. На пороге стояла бесцветная, затравленная женщина с редкими растрепанными волосами и морщинистым лицом.

– Вы все-таки дома, товарищ, – заныла она тоскливым, жалобным голосом. – Не заглянете к нам на минутку? Раковина на кухне засорилась...

Миссис Парсонс, жена соседа по этажу. Вроде бы слово «миссис» осуждалось Партией – теперь всех следовало называть «товарищ», но к некоторым женщинам оно липло само собой. Ей было около тридцати, хотя на вид гораздо больше: такое чувство, что в морщинки на лице въелась пыль. Уинстон зашагал по коридору, проклиная про себя нескончаемые мелкие поломки. «Дворец Победы» построили когда-то в тридцатых, и он буквально разваливался на части. С потолка и стен сыпалась штукатурка, в мороз лопались трубы,

стоило выпасть снегу, как текла крыша, вдобавок из-за постоянной экономии топили редко и вполсилы. С чем могли, жильцы справлялись сами, остальными ремонтными работами распорядились какие-то сомнительные комитеты, которые по два года тянули с банальной заменой разбитого стекла.

– Понимаете, будь мой Том дома... – бормотала миссис Парсонс.

Соседская квартира была больше, чем у Уинстона, и выглядела так, словно в ней бушевал крупный дикий зверь. На полу валялся спортивный инвентарь: хоккейные клюшки, боксерские перчатки, рваный футбольный мяч, вывернутые наизнанку трусы. На столе громоздились грязная посуда и растрепанные школьные тетрадки. Стены украшали красные знамена Юношеской лиги и Разведчиков, огромный плакат изображал Большого Брата во весь рост. Стоял обычный для всего дома варено-капустный аромат, сквозь который едко шибал в нос запах (он распознавался сразу, хотя и не очень понятно как) пота человека, кого сейчас рядом нет. В другой комнате кто-то выдувал на расческе, обернутой в клочок туалетной бумаги, военный марш, пытаясь попасть в такт все еще льющейся с телеэкрана музыке.

– Дети... – молвила миссис Парсонс, с опаской покосившись на дверь.

У нее была привычка обрывать фразы, не договорив. В кухонной раковине почти у краев плескалась зеленоватая жи-

жа, вонявшая похуже вареной капусты. Уинстон опустился на колени и изучил угловой стык сливной трубы. Он терпеть не мог работать руками, он терпеть не мог нагибаться, потому что сразу начинал надсадно кашлять. Миссис Парсонс смотрела на него с мольбой.

– Конечно, будь Том дома, вмиг бы управился. Он обожает все чинить! Том у меня малый рукастый.

Парсонс работал, как и Уинстон, в министерстве правды. Шустрый толстяк, он ошарашивал всех своей глупостью, стусок идиотского энтузиазма, он был из тех ретивых, безоговорочно преданных делу работяг, от которых стабильность Партии зависела чуть ли не больше, чем от полиции помыслов. Из Юношеской лиги его выпихнули в тридцать пять, а перед вступлением в Лигу он умудрился засидеться в Разведчиках на год дольше положенного возраста. В министерстве Парсонса держали на подчиненных должностях, где особого ума не требовалось, зато он стал ведущей фигурой в Спортивном комитете и всех других комитетах, которые организовывали пешие походы, спонтанные демонстрации, кампании за экономию и прочие добровольные мероприятия. Попыхивая трубкой, он со сдержанной гордостью сообщал, что за последние четыре года не пропустил ни единого вечера в Доме культуры. Парсонса повсюду сопровождал одуряющий едкий запах пота, своего рода свидетельство напряженной общественной жизни, висел в воздухе, даже когда мужчина уходил.

– Гаечный ключ есть? – спросил Уинстон, возясь с гайкой на стыке.

– Гаечный? – растерянно повторила миссис Парсонс. – Не знаю... Может, дети...

Громко топая и трубя в расчески, в гостиную ворвались дети. Миссис Парсонс принесла ключ. Уинстон слил воду и с отвращением извлек забившие трубу волосы. Кое-как сполоснув руки холодной водой, он вышел из кухни.

– Руки вверх! – раздался дикий крик.

Из-за стола выскочил симпатичный, крепкий мальчуган лет девяти и наставил на Уинстона игрушечный автоматический пистолет, а его сестра, на пару лет младше, подражая брату, вскинула палку. Дети были в форме Разведчиков: синие шорты, серые рубашки и красные галстуки. Уинстон послушно поднял руки над головой, но ему стало нехорошо: в окрике ребенка звучала такая злоба, что игрой тут и не пахло.

– Ты предатель! – орал мальчишка. – Помыслокриминал! Евразийский шпион! Я тебя застрелю, сотру в порошок, pošлю на соляные копи!

И вот уже оба ребенка заскакали вокруг Уинстона с воплями «Предатель!» и «Помыслокриминал!», причем девочка повторяла каждое движение брата. Зрелище слегка пугало, как игра зверенышей, из которых вырастут тигры-людоеды. Во взгляде мальчугана читались расчетливая жестокость, явное желание ударить или пнуть соседа и осознание

того, что совсем скоро такое будет ему по силам. Хорошо хоть пистолет ненастоящий, подумал Уинстон.

Взгляд миссис Парсонс заметался от гостя к детям и обратно. Освещение в гостиной было ярче, и Уинстон с интересом отметил, что в складки ее лица и в самом деле набилась пыль.

– Вот ведь расшумелись, – пробормотала женщина. – Расстроились, что на казнь не попали. У меня дел полно, Том на работе.

– Почему мы не пошли на казнь?! – проревел мальчик во все горло.

– Хочу смотреть на казнь! Хочу смотреть на казнь! – скандировала его сестрица, пританцовывая.

Уинстон вспомнил, что вечером в парке намечено вешать евразийских пленных, виновных в военных преступлениях. Массовое зрелище происходило примерно раз в месяц, и дети всегда шумно требовали, чтобы их взяли посмотреть. Уинстон, попрощавшись с миссис Парсонс, пошел к двери. Не успел он пройти по коридору и шести шагов, как шею обожгло болью, в нее словно воткнули раскаленный провод. Уинстон резко обернулся: миссис Парсонс затаскивала в квартиру сына, сующего в карман рогатку.

– Гольдштейн! – рычал ребенок, исчезая за дверью. Больше всего Уинстона впечатлило выражение беспомощности на посеревшем лице женщины.

В своей квартире он торопливо шмыгнул мимо телеэкра-

на и снова сел за стол, потирая шею. Музыка прекратилась. Отрывистый военный голос со свирепым наслаждением перечислял вооружение новой Плавучей крепости, вставшей на якорь между Исландией и Фарерскими островами.

С такими детьми, подумал Уинстон, жизнь несчастной женщины – сплошной ужас. Годик-другой, и они примутся шпионить за ней день и ночь, надеясь подловить на инакомыслии. Сейчас почти все дети такие. Самое страшное, что организации вроде Разведчиков целенаправленно превращают детей в неуправляемых зверят. Как ни странно, желания бунтовать против Партии у них не возникает. Наоборот, они обожают Партию и все, что с ней связано. Песни, шествия, транспаранты, ходьба строем, тренировки с муляжами винтовок, выкрикивание лозунгов, поклонение Большому Брату – для них это упоительная игра. Вся детская ярость направлена вовне: против врагов державы, против иностранцев, предателей, диверсантов, помыслокриминалов. Бояться собственных детей стало почти обыденностью для родителей, кому слегка за тридцать. Недаром и недели не проходит без того, чтобы «Таймс» не сообщила об очередных мелких пронырах (официально таких называют «маленькими героями»), подслушавших взрослый разговор и сдавших родителей полиции помыслов.

Жжение в шее прошло. Уинстон нерешительно взялся за перо, гадая, удастся ли записать в дневник еще что-нибудь. Внезапно ему снова вспомнился О'Брайен.

Давным-давно, лет семь назад, Уинстону приснилось, что он бредет в крошечной темноте. И вдруг голос сбоку тихо произнес: «Мы встретимся там, где нет темноты». Прозвучала фраза как бы между прочим. Он прошел не останавливаясь. Любопытно, что во сне слова не произвели на него особого впечатления. В полной мере Уинстон проникся ими не сразу, а гораздо позже. Он не помнил, когда впервые увидел О'Брайена, до или после того сна, не помнил, когда впервые осознал, что голос из сна принадлежит О'Брайену. Так или иначе, одно Уинстон знал наверняка: из темноты с ним заговорил именно О'Брайен.

Даже после сегодняшнего обмена взглядами Уинстону так и не удалось разобраться, друг О'Брайен или враг. Впрочем, какая разница? Между ними возникло понимание. Такие узы связывают гораздо крепче, чем узы любви или дружбы. «Мы встретимся там, где нет темноты», – пообещал тот. Уинстон не понимал, что это значит, лишь чувствовал, что так или иначе это сбудется.

Телеэкран умолк. В спертom воздухе раздался чистый, красивый звук военного горна. Голос отрывисто продолжил: – Внимание! Внимание! Экстренное сообщение с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали важную победу. Я уполномочен объявить, что сегодняшние события могут значительно приблизить окончание войны. Смотрите сводку...

Грядут плохие новости, подумал Уинстон. И точно: сле-

дом за кровавыми подробностями уничтожения евразийской армии, после перечисления количества убитых и взятых в плен объявили, что со следующей недели норма шоколада на душу населения сократится с тридцати граммов до двадцати.

Уинстон снова рыгнул. Джин выветривался, после него оставалось ощущение опустошенности. Телеэкран разразился бравурными звуками гимна «Океания, все для тебя», то ли отпраздновать победу над Евразией, то ли заглушить боль от утраты шоколада. Гимн полагалось слушать по стойке смирно, но Уинстон воспользовался тем, что за столом его не видно.

«Океания, все для тебя» сменилась музыкой полегче. Уинстон подошел к окну, держась к телеэкрану спиной. Погода все такая же холодная и ясная. Вдалеке глухо, раскати-сто проревело, взорвалась авиабомба. Каждую неделю таких на Лондон сбрасывали около двадцати или тридцати.

На улице ветер судорожно трепал рванный плакат, и слово «АНГСОЦ» то появлялось, то исчезало. Ангсоц. Заветные принципы ангсоца. Новослов, двоемыслие, непостоянство прошлого. Уинстон словно бродил по подводному лесу на дне океана, заблудившись в мире чудищ, где ты и сам чудище. Он один. Прошлое мертво, будущее вообразить нельзя. Разве можно рассчитывать, что обретешь хотя бы одного сторонника? Как узнать, что владычество Партии не будет длиться *вечно*? Как ответ всплыли в памяти три лозунга на белой стене министерства правды:

ВОЙНА ЕСТЬ МИР  
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО  
НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА

Уинстон достал из кармана монетку в двадцать пять центов. На ней мелким шрифтом выбиты те же лозунги, на обороте – голова Большого Брата. Глаза следят за тобой даже с монет, с марок, с обложек книг, с растяжек поперек улиц, с плакатов, с папиросных пачек – отовсюду. Глаза следят, голос обволакивает. Спишь ты или бодрствуешь, работаешь или отдыхаешь, моешься в ванне или лежишь в постели – от них не укрыться. У тебя нет ничего своего, кроме нескольких кубических сантиметров внутри собственного черепа.

Солнце ушло, бесчисленные окна министерства правды погасли и стали похожи на мрачные бойницы крепости. При виде огромной пирамиды Уинстон совсем пал духом. Слишком крепка: приступом не возьмешь. Таковую и тысячей ракетных боеголовок не сшибешь. Уинстон снова задумался, ради чего взялся за дневник. Ради будущего, ради прошлого – ради времени, которое, может, лишь грезится. Перед ним же маячила не смерть, а уничтожение. Дневник превратят в пепел, его самого – в испарение. Лишь полиция помыслов прочтет им написанное, прежде чем изъять это из бытия и из памяти. Как взывать к будущему, если от тебя не останется ни следа, ни даже невесть кем написанного словца на клочке бумаги?

Телеэкран пробил четырнадцать. Еще десять минут, и на-

до выходить: обеденный перерыв заканчивался через полчаса.

Как ни странно, бой часов подкрепил его дух. Уинстон был одиноким призраком, шепчущим правду, которую никому не услышать. Только пока он ее шепчет, каким-то неясным образом связь времен не рвется. Наследие человечества несет не тот, кого слышат, а тот, кто сохраняет рассудок. Он вернулся к столу, макнул перо в чернильницу и записал:

*Из эпохи уравниловки, из эпохи одиночества, из эпохи Большого Брата, из эпохи двоемыслия приветствую будущее или прошлое, времена, когда мысль свободна, когда люди отличаются один от другого и не живут поодиночке, времена, где существует правда и сделанное нельзя переименовать!*

Он уже мертвец, подумал Уинстон. Показалось, что только теперь, взявшись и обретя способность выражать мысли на бумаге, он и предпринял решающий шаг. Последствия любого поступка в самом же поступке и содержатся. Он вывел:

*Помыслокриминал не влечет за собой смерть: он и есть смерть.*

Теперь, осознав себя мертвецом, Уинстон понял, как важно оставаться в живых как можно дольше. Пальцы правой руки запачкались в чернилах. Именно такая деталь и может выдать. Какой-нибудь пронырливый товарищ в министерстве (скорее всего, женщина – вроде той тощей блондинки

или девицы из департамента беллетристики) начнет интересоваться, почему ты работал во время обеденного перерыва, почему воспользовался старомодным пером, что именно писал, и сообщит куда следует. Уинстон пошел в ванную и тщательно смыл чернила шершавым, как наждак, темно-коричневым мылом: для этой цели оно годилось прекрасно.

Дневник он убрал в ящик стола. Прятать не имеет смысла, зато, по крайней мере, можно проверить, обнаружили его или нет. Волосок поперек уголка сразу бросится в глаза. Подцепив ногтем едва заметную крупинку белесой пыли, Уинстон перенес ее на угол обложки: если книгу подвинуть, непременно слетит.

### III

Уинстону снилась мама.

Когда она исчезла, ему было, если подсчитать, лет десять-одиннадцать. Высокая, статная, молчаливая женщина с плавной грацией и великолепными светлыми волосами. Отец помнился более смутно: смуглый, худой, всегда в опрятной темной одежде (Уинстону почему-то особенно запали в память его туфли на тонкой подошве) и в очках. Оба, очевидно, сгинули еще в одной из первых великих чисток пятидесятых годов.

А сейчас мама сидела где-то далеко внизу с его младшей сестренкой на руках. Сестру он не помнил совсем, разве что тщедушной крошкой, всегда молчавшей, с большими настороженными глазами. Взгляды обеих устремлены вверх на него. Обе находились в каком-то углублении: то ли на дне колодца, а может, и очень глубокой могилы – и опускались все глубже. Вот уже они в кают-компании тонущего корабля, смотрят вверх на него сквозь темную толщу воды. В каюте еще есть воздух, им еще видно его, а ему их, но они неудержимо все глубже и глубже тонут в зеленых водах, еще миг – и те поглотят их навсегда. Уинстон на свету и свежем воздухе, а их засасывает темная смерть, и они там, в пучине, *потому что* он тут, наверху. Он понимает: они об этом знают, знание этого он читает на их лицах. Но ни на их лицах, ни в

их сердцах нет никакого укора, лишь осознание: они должны умереть, чтобы он мог остаться в живых, ибо таков неизбежный порядок вещей.

Что именно случилось, он не помнил. Зато во сне понимал: так или иначе, но жизни мамы и сестры были принесены в жертву ради его собственной. Такие сны, обставленные всякий раз одинаково, словно продолжают твою интеллектуальную жизнь: на фоне вымышленного пейзажа разворачиваются события духовной жизни и приходят откровения, которые кажутся значимыми и после пробуждения. Уинстона поразило, что смерть матери, случившаяся почти тридцать лет назад, трагична и печальна в смысле, который уже утрачен. Трагедия осталась в прошлом, в том времени, когда еще существовало право человека на личную жизнь, на любовь и дружбу, когда родные поддерживали друг друга в трудную минуту, не задаваясь лишними вопросами. Память о матери рвала ему сердце, потому как она гибла, любя его, хотя сам Уинстон был слишком мал и эгоистичен, чтобы любить в ответ. Мама отдала свою жизнь бескорыстно, исходя из высокой и неизменной идеи преданности. Ныне, он понимал, такое невозможно. Ныне существуют страх, ненависть и боль, но нет ни благородства чувств, ни глубокой и стойкой скорби. Все это Уинстон, похоже, прочел в огромных глазах матери и сестры, когда те смотрели на него из глубины в сотни морских саженей и погружались в зеленую воду.

И вот он уже на маленькой пружинящей лужайке, сто-

ит под летним закатным солнцем, чьи косые лучи золотили все вокруг. Этот пейзаж снился ему часто, и Уинстон уже не знал, видел ли он его в реальном мире или только во сне. Пробуждаясь, он мысленно называл это Золотой страной. Старый выгон, изрытый кроличьими норами, с вьющейся тропинкой и редкими кротовинами. На другом конце запущенная живая изгородь, торчащие ветви вязов с густыми листьями напоминают пышные женские прически и тихонько покачиваются на ветру. Неподалеку струится чистый ручей, где в зеленых заводях под ивами плавают ельцы.

Через поле к нему шла темноволосая девушка. Она стремительно сорвала с себя одежду и небрежно отшвырнула в сторону. Тело у нее было белое и гладкое, оно не вызвало в нем ни малейшего желания, на тело Уинстон едва взглянул. Поразило именно движение руки, каким девушка отбросила одежду. Казалось, сквозившие в нем грация и беззаботность смели с лица земли целую культуру, целую систему взглядов – одним бесподобным жестом отправлены в небытие и Большой Брат, и Партия, и полиция помыслов. Жест явно принадлежал прошлым эпохам. Уинстон проснулся с именем Шекспира на губах.

Телеэкран разразился пронзительным свистом, продолжавшимся на одной ноте тридцать секунд. Семь пятнадцать, пора вставать конторским служащим. Уинстон выбрался из кровати (голый, потому что Массам Партии полагалось в год всего 3000 купонов на одежду, а пижама стоила 600) и схва-

тил со стула заношенную майку и трусы. Физзарядка начнется через три минуты. И вдруг он согнулся пополам в приступе кашля, всегда нападавшего на него после подъема. В легких не осталось ни глотка воздуха, и чтобы продышаться, пришлось лечь на спину и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. От натуги вздулись вены, язва на ноге зудела с новой силой.

– Группа от тридцати до сорока! – пронзительно выкрикнул женский голос. – Группа от тридцати до сорока! Встали по местам. От тридцати до сорока!

Уинстон вытянулся по стойке смирно перед телеэкраном, на котором уже появилась моложавая женщина, сухощавая, но мускулистая, в гимнастерке и спортивных тапках.

– Руки согнули и потянулись! – командовала она. – Повторяйте за мной! Раз-два-три-четыре! Раз-два-три-четыре! Ну же, товарищи, больше жизни! Раз-два-три-четыре! Раз-два-три-четыре!..

Боль от приступа кашля не вполне вырвала Уинстона из недавнего сна, а ритмичные движения зарядки даже помогали вернуться в него снова. Машинально размахивая руками с выражением сосредоточенной радости на лице, которую полагалось выказывать во время физзарядки, он погружался в смутные воспоминания раннего детства. Давалось это с огромным трудом. До конца пятидесятых все виделось словно в тумане. Когда памяти не за что ухватиться вовне, то даже события собственного прошлого теряют четкость. Пом-

нишь крупные события, которых могло и не быть, помнишь мелкие подробности, но не можешь воссоздать фон, на каком они происходили, к тому же полно долгих пустых промежутков, о которых не известно ничего. Тогда все было иным, изменились даже названия стран и их очертания на карте. К примеру, Авиабаза-1 прежде называлась Англия или Британия, хотя Уинстон был вполне убежден, что Лондон названия не менял.

Уинстон не помнил, чтобы страна ни с кем не воевала, хотя наверняка на его детство пришелся довольно длинный промежуток мирного времени, поскольку одно из самых ранних воспоминаний – воздушный налет, застигший всех врасплох. Наверное, это случилось, когда на Колчестер сбросили атомную бомбу. Сам налет память Уинстона не сохранила, зато он помнил, как отец крепко держит его за руку, и они спешат вниз, вниз, вниз под землю, спускаясь по спиральной лестнице, и та гудит под ногами. Он расхныкался от усталости, и им пришлось остановиться, чтобы передохнуть. Мама брела в своей привычной, задумчивой манере и довольно сильно отстала. Она несла его сестренку или просто узел с одеялами: Уинстон не помнил, родилась ли тогда сестра или еще нет. Наконец они вошли в шумное, забитое людьми помещение – на станцию метро, как он теперь догадывался.

Люди сидели по всей выложенной каменной плиткой платформе, другие теснились друг над другом на двухъярусных железных койках. Уинстон, мама и отец отыскивали себе

место на полу, рядом с ними на койке сидела пожилая пара. Старик был в добротном темном костюме и черном кепи на совершенно седых волосах, лицо красное, голубые глаза полны слез. От него так сильно несло джином, словно тот сочился у него из пор вместо пота и слезами катился по щекам. Выпивший явно страдал от невыносимого горя. Уинстон подетски рассудил, что случилось нечто ужасное, такое, чего нельзя простить и нельзя исправить. Ему казалось, он знает, в чем дело. У старика убили близкого человека, маленькую внучку, к примеру. Время от времени тот повторял: «Зря мы им поверили. Говорил же тебе, ма! Вот чем это заканчивается... Ведь говорил же! Не надо было доверять этим шельмам». Каким именно шельмам не следовало доверять, Уинстон вспомнить уже не мог.

Примерно с тех пор война шла практически непрерывно, точнее, войны следовали одна за другой. Несколько месяцев на улицах Лондона велись беспорядочные бои, некоторые Уинстон отчетливо запомнил. Впрочем, проследить историю тех событий, сказать наверняка, кто, с кем и когда сражался, совершенно невозможно, ведь не осталось ни письменных свидетельств, ни устных, которые отличались бы от официальной линии. К примеру, сейчас, в 1984 году (если он действительно 1984), Океания вела войну против Евразии и держала союз с Востазией. Ни публично, ни в частной беседе и речи не шло, что расстановка сил когда-либо менялась. На самом деле Уинстон отлично знал, что всего четыре года

назад Океания воевала с Востазией и союзничала с Евразией, но владел этим знанием украдкой, да и то лишь потому, что не держал, как следовало, память под контролем. Официально смена противников и союзников никогда не признавалась. Океания воюет с Евразией, стало быть, Океания всегда воевала с Евразией. Нынешний враг воплощает абсолютное зло, следовательно, любые прошлые или будущие договоренности с ним исключены.

Ужас в том, думал он в десятитысячный раз, с натугой двигая плечами («руки на поясе, совершаем круговые движения корпусом, отлично растягивает мышцы спины»), ужас в том, что все это может оказаться правдой. Ведь если Партия способна наложить свои лапы на прошлое и заявить, что того или иного события *не было вовсе*, такое наверняка ужаснее любых пыток и смерти?

Партия утверждает, что Океания никогда не заключала союз с Евразией. Он, Уинстон Смит, знает, что всего четыре года назад Океания состояла в альянсе с Евразией. И где же это знание? Лишь в его сознании, которое в любом случае вскоре будет уничтожено. Если остальные приняли навязанную Партией ложь, если все документы свидетельствуют об одном и том же, значит, ложь входит в историю и становится правдой. «Кто контролирует прошлое, – гласит лозунг Партии, – контролирует будущее; кто контролирует настоящее, контролирует прошлое». И все же прошлое, хотя по природе своей изменчиво, не менялось никогда. То, что

правда сейчас, было правдой во веки веков. Все очень просто. Нужно лишь непрерывно одерживать победы над своей памятью. «Контролем над реальностью» называлось это: «двоемыслие» на новослове.

– Вольно! – гаркнула телеинструктор чуть добродушнее.

Уинстон опустил руки по швам и медленно наполнил легкие воздухом. Его мысли скользнули в лабиринты двоемыслия. Знать и не знать, сознавать истинное положение вещей и одновременно говорить тщательно продуманную ложь, придерживаться двух противоположных мнений и верить, что истинны оба, использовать логику против логики, отвергать мораль, претендуя на нее, верить, что демократия невозможна и что Партия – столп демократии, забывать все, что необходимо забыть, затем извлекать по приказу и снова послушно забывать, и главное, применять эту процедуру к самой процедуре. Вот в чем основная тонкость: сознательно лишаться сознательности, а потом вновь, еще раз утрачивать осознание акта самогипноза, тобою же только что проделанного. Даже для понимания слова «двоемыслие» необходимо прибегнуть к двоемыслию.

Инструктор вновь поставила их по стойке смирно.

– А теперь посмотрим, кто из нас может дотянуться до кончиков пальцев на ногах! – с живостью воскликнула она. – Колени не сгибаем, товарищи! Раз-два! Раз-два!..

Уинстон терпеть не мог это упражнение, от него боль пронзала от пяток до ягодиц и зачастую вызывала приступ

надсадного кашля. Хоть какое-то удовольствие от раздумий пропало. Прошлое, решил он, не просто изменено, оно на самом деле уничтожено. Ведь как установить даже самый очевидный факт, если вне твоей памяти нет никаких иных свидетельств? Он попытался вспомнить год, когда услышал о Большом Брате впервые. Вроде бы это случилось в шестидесятые, хотя сказать точнее невозможно. Разумеется, в истории Партии Большой Брат фигурирует в качестве лидера и стража Революции с самых первых ее дней. Его свершения постепенно отодвигались назад во времени до тех пор, пока не забрались в мифический мир сороковых и тридцатых, когда капиталисты в причудливых цилиндрах разъезжали по Лондону в сверкающих автомобилях или в конных экипажах со стеклянными окнами. Неизвестно, сколько в этих мифах правды и сколько вымысла. Уинстон не помнил даже, когда появилась сама Партия, он вряд ли слышал слово «ангсоц» до шестидесятого года, хотя вполне возможно, что его старая форма, то есть «английский социализм», уже была на слуху. Прошлое терялось в тумане. Иногда, безусловно, ложь удавалось распознать сразу. К примеру, учебники истории утверждали, что аэропланы изобрела Партия. Уинстон помнил, что они летали еще в его детстве, но доказать этого не смог бы – доказательств не осталось никаких. Лишь раз в жизни ему в руки попало письменное свидетельство фальсификации исторического факта. И тогда он...

– Смит! – раздался с экрана негодующий вопль. – 6079

Смит У.! Да, *вы!* Наклон глубже! Вы не стараетесь. Еще глубже! Во-о-от! Так-то лучше, товарищ. Теперь всем вольно и смотреть на меня.

Уинстона прошиб холодный пот. Лицо же его осталось совершенно невозмутимым. Не показывать смятения! Не показывать недовольства! Выдать может все, даже едва заметное движение глаз. Он стоял и смотрел, как инструктор подняла руки над головой и... не сказать, чтоб уж очень изящно, зато аккуратно и четко... согнулась пополам и сунула первые фаланги пальцев под носки тапок.

– Вот так, товарищи! Вот чего я от вас хочу. Мне тридцать девять, и у меня четверо детей. Смотрите снова! – Она наклонилась опять. – Видите, колени прямые. Вы тоже сможете, если захотите, – добавила она, выпрямившись. – Любой, кто моложе сорока пяти, вполне способен коснуться кончиков пальцев на ногах. Не всем нам выпадает честь сражаться на передовой, но мы можем хотя бы держать себя в форме. Вспомните наших ребят на Малабарском фронте и моряков в Плавучих крепостях! Представьте, каково им приходится. Теперь попробуйте еще раз. Так-то лучше, товарищ, гораздо лучше, – одобрительно добавила она, когда Уинстон, стиснув зубы, коснулся концов пальцев, совершенно не подгибая колен, – впервые за несколько лет.

## IV

Начиная рабочий день, Уинстон, невзирая на близость телеэкрана, тяжело вздохнул, придвинул к себе речеписец, сдул пыль с микрофона и надел очки. Затем развернул четыре маленькие бумажные трубочки, выпавшие из пневматической трубы с правой стороны стола, и скрепил бумажки вместе.

В стенах рабочей кабинки были три отверстия. Справа от речеписца – небольшая пневматическая труба для служебных уведомлений, слева – труба побольше, для газет, на боковой стене на расстоянии вытянутой руки – широкая щель с проволочной решеткой, предназначенная для утилизации бумажных отходов. Таких щелей по всему зданию министерства были тысячи или даже десятки тысяч, причем не только в кабинетах и кабинках, но и в коридорах. Почему-то их прозвали дырами памяти. Если требовалось уничтожить любой документ или просто клочок бумаги, валявшийся на полу, работник машинально открывал ближайшую заслонку и совал мусор внутрь; поток теплого воздуха его подхватывал и уносил к громадным топкам, скрытым глубоко внизу.

Уинстон изучил четыре развернутые бумажки. На каждой было поручение в одну-две строчки, написанное на специальном жаргоне, который применялся в министерстве сугубо для внутреннего пользования: еще не новослов, но очень похоже. В них значилось:

*таймс 17.3.84 речь бб изврат африка скоррект  
таймс 19.12.83 прогнозы 3 гп 4-й квартал 83 опечат  
сверка с текущим выпуском*

*таймс 14.2.84 миниблаг извратицит шоколад  
скоррект*

*таймс 3.12.83 бб протокол сообщение  
дваждыплюснедобр отсыл безличности полная  
перепись доархив утвервьшинст*

Не без легкого удовольствия Уинстон отложил четвертую бумажку в сторону. Тут требовалась тонкая и ответственная работа, и он оставил ее напоследок. Другие три поручения были рутинными, хотя со вторым придется повозиться из-за обилия цифр.

Уинстон набрал на телеэкране «старые номера» и заказал соответствующие выпуски «Таймс», которые вскоре выскользнули из пневматической трубы. Рабочие поручения относились к статьям и информациям, которые требовалось изменить или, выражаясь официально языком, скорректировать. К примеру, «Таймс» от семнадцатого марта сообщила, что шестнадцатого марта Большой Брат в своей речи предсказал, что обстановка на Южноиндийском фронте останется без перемен, а в Северной Африке вскоре начнется наступление евразийской армии. Получилось так, что Высшее командование Евразии развернуло наступление в Южной Индии, а Северную Африку оставило в покое. В связи с чем возникла необходимость переписать абзац речи Большого

Брата таким образом, чтобы он предвидел реальные события. Или та же «Таймс» девятнадцатого декабря опубликовала официальные прогнозы выпуска различных промтоваров на четвертый квартал 1983 года, он же шестой квартал Девятой трехлетки. В сегодняшнем номере газеты указан фактический выпуск, из которого следует, что прогнозы ошибочны по всем пунктам. Работа Уинстона заключалась в том, чтобы скорректировать первоначальные цифры, приведя их в соответствие с более поздними. Третье поручение касалось очень простой ошибки, которую можно устранить за пару минут. Не далее как в феврале министерство благоденствия обещало (точнее, «решительно заявило»), что в 1984 году норму шоколада на душу населения не уменьшат. На самом деле, как знал Уинстон, в конце прошлой недели пайка сократилась с тридцати до двадцати граммов. Требовалось лишь заменить прежнее обещание предупреждением, что в апреле норму, вероятно, придется сократить.

Выполнив первые три поручения, Уинстон прикрепил к соответствующим выпускам «Таймс» надиктованные на речеписец поправки и сунул их в пневматическую трубу. Затем почти машинально смял бумажки с заданиями и сделанными для себя записями и бросил все в дыру памяти.

Подробностей о происходящем в невидимом лабиринте пневматических труб Уинстон не знал, имел об этом лишь общее представление. Едва необходимые коррективы к конкретному номеру «Таймс» готовы, газету перепечатывают,

старый экземпляр уничтожают и заменяют исправленной версией. Непрерывному изменению подвергаются не только газеты, но и книги, журналы, брошюры, плакаты, буклеты, фильмы, звуковые дорожки, мультфильмы, фотографии – любые публикации и документы, способные иметь политическое или идеологическое значение. Прошлое обновляется день за днем, минута за минутой. При таком подходе сбывается любой прогноз Партии, чему есть документальное подтверждение, а любая новость или мнение, противоречащее нуждам текущего момента, исчезает без следа. История как палимпсест, древний пергамент, надписи на котором соскабливают и переписывают столько, сколько нужно. Едва дело сделано, ты уже ничего не докажешь. Самый большой отдел департамента документации (гораздо крупнее того, где трудился Уинстон) состоял из служащих, в чьи обязанности входило отслеживать и собирать все копии книг, газет и прочих источников, подлежащих замене и уничтожению. Номер «Таймс», дюжину раз перепечатанный из-за перемен политического курса или ошибочных прогнозов Большого Брата, все еще значился в подшивке под прежней датой, и других экземпляров не существовало. Книги также изымали и переиздавали без каких-либо упоминаний о том, что в них внесены соответствующие изменения. Даже письменные указания, которые Уинстон получал и от которых избавлялся сразу после завершения работы, никогда не называли вещи своими именами: не подделка, а корректировка оговорок, опе-

чаток, неверных цитат с целью устранения неточности.

Вообще-то, думал Уинстон, корректируя данные министерства благоденствия, это даже не подделка, а всего лишь замена одной галиматьи на другую. Большая часть материала, с каким приходилось иметь дело, никак не связана с реальным миром. Статистика – всего лишь фантазия, как в оригинальной, так и в исправленной версии. Частенько цифры приходилось придумывать самому. К примеру, прогноз министерства благоденствия предрекал на текущий квартал выпуск ста сорока пяти миллионов пар обуви. Фактический объем производства составил шестьдесят два миллиона. Однако Уинстон, переделывая прогноз, позволил себе сократить его до пятидесяти семи миллионов, чтобы план, как всегда, оказался перевыполнен. В любом случае, шестьдесят два миллиона ничуть не ближе к реальным цифрам, чем пятьдесят семь или даже сто сорок пять миллионов. Вероятнее всего, обувь не изготовили вовсе. Еще вероятнее, что никто не знает, сколько ее произвели, и никому до этого нет дела. Зато каждый квартал якобы производят рекордное количество ботинок, даром что половина Океании ходит босиком. И так везде, с любым документально подтвержденным фактом. Все пропадало в этом мире теней, в котором в конце концов нельзя было быть уверенным даже в том, какой именно год считается текущим.

Уинстон бросил взгляд через проход между кабинками. По ту сторону усердно трудился, положив газету на колени и

прильнув губами к речеписцу, его коллега Тиллотсон, тощий педант с темным подбородком. У него был такой вид, словно все, что он надиктовывает, должно остаться между ним и телеэкраном. Тиллотсон покосился на Уинстона и недобро сверкнул очками.

Уинстон едва его знал и понятия не имел, чем тот занимается. Сотрудники департамента документации неохотно делились сведениями о своей работе. В длинном зале без окон, с двумя рядами клетушек постоянно шуршала бумага и голоса бубнили в речеписцы, здесь сидела не одна дюжина людей, даже имен которых Уинстон не знал, хотя каждый день сталкивался с ними в коридорах или на Двухминутках ненависти. Маленькая песочная блондинка в соседней кабинке день-деньской занималась лишь тем, что выискивала и удаляла из газет имена тех, кто испарился, а следовательно, как бы и не должен был никогда существовать. Занятие для нее вполне подходящее, если учесть, что пару лет назад испарился ее муж. Еще через несколько кабинок сидел безобидный мечтатель по фамилии Эмплфорт, его отличали лезшие из ушей лохмы волос и поразительный талант звонко играть словами, увязывая их рифмами и любым стихотворным размером. Его удел – искажение (считалось: создание канонических текстов) стихов, которые были сочтены идеологически вредными, но по тем или иным причинам подлежали сохранению в поэтических антологиях. И этот зал с его пятьюдесятью (или около того) работниками был все-

го лишь подразделением, одною клеточкой в сложной структуре громадины департамента документации, что тянулся и вширь, и вглубь здания и выполнял невообразимое множество различных задач. Имелись в нем и огромные типографии со своими редакторами, оформителями, верстальщиками, и прекрасно оборудованные студии, где трудились мастера подделки фотографий. Имелся и отдел телепрограмм с инженерами-механиками, режиссерами-постановщиками и актерами, умеющими искусно имитировать чужие голоса. Целые армии клерков занимались исключительно составлением списков книг и журналов, подлежащих изъятию. В обширных хранилищах содержали исправленные документы, а в скрытых топках уничтожали оригиналы. И во главе всего этого тайно, неизвестно где заседал управляющий мозг департамента, который согласовывал все действия и гнул генеральную линию, определявшую, какой фрагмент прошлого требуется сохранить, какой фальсифицировать, а какой уничтожить без следа.

Департамент документации был лишь одним из структурных подразделений министерства правды, чья главная задача состояла вовсе не в переписывании прошлого, а в снабжении граждан Океании газетами, учебниками, фильмами, телепрограммами, пьесами, романами – всевозможными видами информации: от служебных инструкций до легкого чтения, от статей до лозунгов, от лирических стихов до научных трудов, от детских прописей до словников новослова. Мини-

стерству приходилось не только удовлетворять разнообразные нужды Партии, но и создавать аналогичную продукцию на более низком уровне, заботясь о благе пролетариев. Литературой, музыкой, драмой и зрелищами для пролов занималась целая сеть отдельных департаментов. Там производили дрянные газеты, где не печаталось ничего, кроме новостей спорта, криминальной хроники и астрологических прогнозов, пятицентовые бульварные романы, фильмы с постельными сценами и сентиментальные песенки, которые механически создавались на специальном калейдоскопе, известном как версификатор. Существовал даже особый сектор (на новослове он звался *порносек*), выпускавший самую низкопробную порнографию, которая рассылалась в запечатанных пакетах, и ни единому члену Партии, помимо создавших эту продукцию, смотреть ее не позволялось.

Из пневматической трубы выпали еще три поручения, довольно простые, и Уинстон успел управиться с ними до Двухминутки. После Ненависти он вернулся к себе в кабинку, взял с полки «Словник новослова», отвел в сторону речепи-сец, протер очки и взялся за основную сегодняшнюю работу.

Величайшим удовольствием в жизни Уинстона была работа. По большей части приходилось иметь дело с нудной текучкой, зато иногда попадались задания столь сложные и замысловатые, что он уходил в них с головой, как в математическую задачку: виртуозная манипуляция фактами, основанная исключительно на знании принципов ангсоца и пред-

чувствии того, что именно угодно Партии. Такое Уинстону удавались хорошо. Иногда ему даже доверяли корректировать передовицы «Таймс», написанные целиком на новослове. Он развернул ранее отложенное поручение и прочел:

*таймс 3.12.83 бб протокол сообщение  
дважды плюс недобр отсыл безличности полная  
перепись до архив утверждения*

В переводе на старослов (или обычный английский) это означало:

*В номере «Таймс» от 3 декабря 1983  
года дневная хроника Большого Брата изложена  
чрезвычайно неудовлетворительно, в ней упомянуты  
несуществующие лица. Переписать целиком и  
до архивации подать черновик на утверждение  
вышестоящей инстанцией.*

Уинстон прочел забракованную заметку. В хронике воздавалась похвала организации, известной как ССПК, снабжавшей моряков плавучих крепостей папиросами и прочими предметами хозяйственно-бытового обихода. Большой Брат особо отметил некоего товарища Уизерса, видного деятеля Центра Партии, и наградил орденом «За выдающиеся заслуги» второй степени.

Три месяца спустя ССПК неожиданно распустили без объяснения причин. Предположительно Уизерс с подручными впали в немилость, но ни газеты, ни телеэкран о том не сообщали. Ничего удивительного, ведь политические пре-

ступники редко представляли перед судом. Массовые многотысячные чистки с публичными процессами над изменниками и помыслокриминалами, с громкими униженными признаниями и казнями, были особыми зрелищами и проводились раз в несколько лет. Чаще всего те, кто навлек на себя немилость Партии, просто исчезали, и никто о них не слышал. Не появлялось ни малейшего представления, куда они девались. В иных случаях их даже оставляли в живых. Уинстон лично знал человек тридцать, не считая своих родителей, которые исчезли в разное время.

Уинстон задумчиво почесал нос скрепкой. В кабинке через проход от него товарищ Тиллотсон украдкой наговаривал что-то в речеписец. Он поднял голову – очки снова злобно сверкнули. Уинстон заподозрил, что коллега вполне мог корпеть над тем же поручением, что и он. Такую тонкую работу никогда не доверяли одному служащему, впрочем, созвать ради нее особую группу значило бы признать факт подделки. Вероятнее всего, над альтернативными версиями директивы Большого Брата трудилась по меньшей мере дюжина сотрудников. В скором времени какая-нибудь партийная шишка выберет тот или иной вариант, подредактирует, запустит сложный, многоэтапный процесс оформления перекрестных ссылок, и тогда ложь приобретет статус официального документа и станет правдой.

Уинстон не знал, почему Уизерс впал в немилость. Может, из-за коррупции или некомпетентности. Может, Боль-

шой Брат просто избавился от ставшего слишком популярным подчиненного. Может, Уизерса или кого-нибудь из его окружения заподозрили в отклонении от генеральной линии Партии. Или же, что наиболее вероятно, это случилось просто потому, что чистки и испарения неугодных – необходимые детали государственной машины. Единственная подсказка крылась в выражении *«отсыл безличности»* – то есть Уизерс уже мертв. Просто арест такой уверенности не гарантировал: иногда арестованных отпускали, давали пожить на свободе годик-другой и потом казнили. Изредка тот, кого считали давно умершим, внезапно всплывал на каком-нибудь публичном процессе и своими признательными показаниями тянул за собой сотни других, прежде чем исчезнуть навсегда. Уизерс, напротив, уже считается безличностью. Его нет – его никогда не существовало. Уинстон решил, что изменить смысл речи Большого Брата на противоположный недостаточно. Лучше пусть она утратит всякую связь с первоначальной темой.

Он, конечно, мог бы превратить хвалебную речь в обличение изменников и помыслокриминалов, только это чересчур очевидно. Если придумать победу на фронте или объявить о перевыполнении плана производства в Девятой трехлетке, то потребуется слишком много переделок других источников. Нужна какая-нибудь чистой воды фантазия. И тут перед мысленным взором вспыхнула готовая картинка: некий товарищ Огилви, недавно павший смертью храбрых в бою.

Случалось, в хрониках Большой Брат отдавал дань памяти какому-нибудь скромному, рядовому члену Партии, чья жизнь и смерть могли послужить хорошим примером для подражания. Сегодня ему следует почтить память товарища Огилви. Разумеется, такого человека не было и в помине, но это исправимо: нужны лишь небольшой текст и пара поддельных фотографий.

Уинстон подумал с минуту, придвинул к себе речеписец и начал диктовать в знакомой манере Большого Брата, в стиле одновременно армейском и книжном. Благодаря риторическим вопросам и немедленным ответам на них – «Какие уроки мы можем извлечь из этого факта, товарищи? Урок, который, кстати, является одним из основополагающих принципов ангсоца, следующий...» – подражать ему сравнительно несложно.

В возрасте трех лет товарищ Огилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, пистолета-пулемета и детского вертолетика. В шесть – на год раньше, чем положено, благодаря особому разрешению – вступил в Разведчики, в девять стал командиром отряда. В одиннадцать сдал своего дядю полиции помыслов, подслушав разговор, показавшийся ему преступным. В семнадцать Огилви возглавил Юношескую антисекс-лигу района. В девятнадцать сконструировал ручную гранату, принятую впоследствии на вооружение министерством мира, которая при первом испытании убила тридцать одного евразийского военнопленного. В двадцать три погиб

в бою. На вертолете перелетал через Индийский океан, когда на него напали вражеские реактивные самолеты. Тогда он выпрыгнул из вертолета в обнимку с пулеметом, чтобы сразу пойти на дно вместе с важными донесениями. Достойный конец, которому можно только позавидовать, отметил Большой Брат. Упомянул и о чистоте и целеустремленности товарища Огилви. Вредных привычек не имел, не позволял себе никаких развлечений, кроме ежедневной часовой тренировки в спортзале, и принял обет безбрачия, поскольку считал семью помехой круглосуточному служению Родине. У него не было ни тем для разговора, кроме принципов англофашизма, ни иной цели в жизни, кроме победы над евразийской армией и выслеживания шпионов, диверсантов, помыслокриминалов и прочих изменников.

Уинстон хотел сначала наградить товарища Огилви орденом за заслуги, потом передумал: слишком много возникло бы перекрестных ссылок.

Он снова покосился на соперника в кабинке напротив. Судя по всему, Тиллотсон трудился над тем же самым поручением. Никогда не узнаешь, чью версию примут в итоге, и все же Уинстон был убежден, что выберут его. Товарищ Огилви, еще час назад никому не известный, теперь стал реальным человеком. Уинстона поразила мысль, что можно создавать мертвых, но не живых. В настоящем товарища Огилви не существовало, зато теперь он существует в прошлом. Как только про фальсификацию забудут, он станет исторической

фигурой ничуть не менее подлинной, чем Карл Великий или Юлий Цезарь.

## V

В столовой с низким потолком, глубоко под землей, очередь двигалась медленными рывками. Народу набилось много, и шум стоял оглушительный. Из решетки у распределительной стойки валил пар, и даже вонь джина «Победа» не перекрывала кисловатый металлический запах похлебки. В дальнем конце находился маленький бар – точнее, просто дыра в стене, – где за десять центов можно было купить порцию выпивки.

– Вы-то мне и нужны! – услышал Уинстон у себя за спиной.

Он обернулся. Это был его друг Сайм из департамента исследований. Пожалуй, слово «друг» в данном случае не годилось. Теперь все стали товарищами, но общаться с некоторыми Уинстону нравилось больше, чем с другими. Сайм был филологом, специалистом по новослову. Он входил в огромную команду экспертов, занятых составлением Одиннадцатого издания «Словника новослова». Существо крохотное, еще ниже Уинстона, с темными волосами и большими глазами навыкате, во взгляде их мешались скорбь и насмешка, казалось, Сайм пристально изучает собеседника.

– Я хотел спросить, нет ли у вас бритвенных лезвий.

– Ни одного! – тут же выпалил Уинстон и, словно оправдываясь, добавил: – Я искал повсюду, их просто нет.

Все только и знали, что клянчить лезвия. На самом деле у Уинстона осталось еще два нетронутых, но он держал их для себя. Последние пару месяцев бритвы были в дефиците. В партийных магазинах постоянно пропадал то один, то другой товар первой необходимости. Иногда исчезали пуговицы, иногда шерсть для штопки, иногда шнурки, сейчас вот бритвенные лезвия. Раздобыть их удавалось только на черном рынке, да и то если сильно повезет.

– Сам одним бреюсь уже месяца полтора, – соврал он.

Очередь подалась вперед. Остановившись, Уинстон снова повернулся к Сайму. Оба взяли с раздаточной стойки по засаленному металлическому подносу.

– Ходили смотреть, как вешают преступников? – спросил Сайм.

– Я работал, – равнодушно ответил Уинстон. – Посмотрю потом в кино.

– И много потеряете, – заметил Сайм.

Его насмешливый взгляд скользнул по лицу Уинстона. «Знаю я вас, – словно говорил он, – насквозь вижу. Прекрасно понимаю, почему вчера вы пропустили казнь». В интеллектуальном отношении Сайм был ярким приверженцем Партии. С каким злорадством он обсуждал вертолетные рейды на деревни противника, смаковал признания помыслокриминалов на публичных процессах и казни в застенках министерства любви! Общаясь с ним, Уинстон старался переключить разговор на лингвистические тонкости новосло-

ва, и тогда слушать Сайма было одно удовольствие. Уинстон чуть отвернулся, уклоняясь от пристального взгляда приятеля.

– Казнь на славу! – восторгался. – Со связанными ногами совсем не то. Люблю смотреть, как дергаются. А самая прелесть в конце, когда вываливается язык – такой синий-синий!

– Следующий! – крикнул прол в белом фартуке и с поварешкой в руке.

Уинстон и Сайм просунули подносы под решетку. Каждому выдали положенную обеденную порцию: розовато-серую похлебку в металлической миске, ломоть хлеба, кусок сыра, кружку кофе «Победа» без молока и таблетку сахарина.

– Вон там, под телеэкраном, есть свободный столик, – указал Сайм. – Заодно и джин возьмем.

Джин подали в фаянсовых бокалах без ручек. Они пробрались сквозь толпу и разгрузили подносы на металлическом столе, по углу которого растеклась лужица похлебки, неаппетитная жижа, похожая на блевотину. Уинстон взял бокал с джином, собрался с духом и опрокинул в себя сивушную жидкость. Утерев навернувшиеся на глаза слезы, он с удивлением почувствовал, что проголодался. Схватив ложку, Уинстон принялся глотать варево, в котором попадались волокнистые розоватые кусочки, наверное, тушеное мясо. Приятели молчали, пока не опустошили миски. За столиком слева, чуть позади Уинстона, кто-то резко трещал без умолку, и

торопливая речь, похожая на утиное кряканье, перекрывала гул голосов.

– Как продвигается работа над словником? – поинтересовался Уинстон, стараясь перекрыть шум.

– Медленно, – ответил Сайм. – Сейчас я занимаюсь прилагательными. Весьма занятно!

При упоминании новослова Сайм оживился. Он отодвинул миску, взял хлеб в одну изящную руку, сыр – в другую и подался вперед, чтобы не повышать голос.

– Одиннадцатое издание станет последним, – сообщил он. – Мы приводим язык в окончательную форму, в таком виде им будут пользоваться, когда старослов отомрет. После того как мы закончим, людям вроде вас придется учить язык заново. Вы наверняка полагаете, что наша главная забота – придумывать новые слова. Ничего подобного! Мы их, наоборот, уничтожаем – десятками, сотнями каждый день. Мы срежем с языка лишнюю плоть, обнажив остов! К две тысячи пятидесятому году в словнике не останется ни единого анахронизма!

Сайм, как голодный, отхватил кусок хлеба и в два приема проглотил его, потом вновь заговорил со школярским пылом. Тонкое смуглое лицо его оживилось, взгляд утратил насмешливое выражение и стал едва ли не мечтательным.

– Уничтожать слова – это прелестно. Разумеется, в расход идут многие глаголы и прилагательные, но ведь можно избавиться и от сотен существительных. Не только синонимов,

есть же еще и антонимы. Кому нужно слово, противоположное другому? В любом слове и так содержится его противоположность. Возьмем, к примеру, «хороший». К чему нам «плохой», если можно сказать «нехороший»? Кстати, так гораздо лучше, ведь мы получаем значение полностью обратное, без всяких там добавочных оттенков. Или вот, к примеру, хотим мы усилить прилагательное «хороший», для чего в старом языке была куча расплывчатых, бесполезных слов вроде «превосходный», «великолепный» и прочие. «Плюсхороший» заменит их все! Или «дваждыплюсхороший», если угодно. В итоге любые представления о хорошем и плохом мы уместим всего в шесть слов – точнее, в одно. Неужели вам непонятна прелесть этого, Уинстон? Замысел, конечно, принадлежит Б. Б., – спохватился Сайм.

При упоминании Большого Брата лицо Уинстона подбодрительно оживилось. Тем не менее Сайм тут же отметил недостаток энтузиазма.

– Уинстон, вам не понять всей прелести новослова, – заявил он почти с грустью. – Вы на нем не пишете, а переключаетесь со старослова. Читал я ваши передовицы в «Таймс». Неплохо. А все равно это лишь переводы. В глубине души вы держитесь за старослов, при всей его расплывчатости и куче бесполезных оттенков значений. Вы не цените красоту уничтожения слов. Знаете, что новослов – единственный язык в мире, чей Лексикон Б с каждым годом становится все меньше?

Конечно, Уинстон знал. Он сочувственно улыбнулся, не решаясь заговорить. Сайм снова куснул черного хлеба, तोропливо прожевал и продолжил:

– Неужели вы не понимаете, что единственная цель новослова – сузить диапазон человеческой мысли? В итоге мы сделаем помыслокриминал в принципе невозможным, потому что не останется слов для его выражения. Каждому понятию, которое мы посчитаем нужным сохранить, будет соответствовать ровно одно слово, значение которого строго определено – и никаких вспомогательных значений! В Одиннадцатом издании мы уже близки к цели. Кстати, процесс продолжится и после того, как не станет ни вас, ни меня. С каждым годом слов будет все меньше, диапазон мысли – все уже. Разумеется, и сейчас для помыслокриминала нет ни причин, ни оправданий. Это лишь вопрос самодисциплины, контроля над реальностью. В итоге даже он не понадобится! Революция завершится, когда язык доведут до совершенства. Новослов есть ангсоц, а ангсоц есть новослов, – благоговейно добавил Сайм. – Неужели вам не приходило в голову, Уинстон, что к две тысячи пятидесятому году не останется никого, кто смог бы понять беседу, подобную нашей?

– Кроме... – неуверенно начал Уинстон и умолк. На языке вертелась фраза: «Кроме пролов», – но он сдержался, поскольку сомневался в допустимости подобного замечания. Впрочем, Сайм понял его с полуслова.

– Пролы не люди, – небрежно бросил он. – К две тысячи

пятидесятому или даже раньше владеть старословом не будет никто. Всю литературу прошлого мы уничтожим. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон останутся лишь в новых версиях, их произведения не просто видоизменятся, а превратятся в нечто противоположное. Преобразится даже партийная литература, даже лозунги. Зачем нужен лозунг «Свобода есть рабство», если понятие свободы упразднят? Атмосфера мышления будет совершенно иной. Собственно говоря, и мышления как такового уже не будет. Догматизм бессознателен, мыслить вообще ни к чему!

Не сегодня-завтра, подумал Уинстон с непонятно откуда взявшейся глубокой убежденностью, Сайм испарится. Слишком умен, слишком четко все раскладывает и говорлив слишком. Партии такие люди не нравятся. День придет – и он испарится. У него это на лице написано.

Уинстон доел хлеб с сыром, слегка повернулся на стуле, чтобы выпить кружку кофе. За столом слева мужчина с резким голосом продолжал вещать без умолку. Ему внимала молодая женщина, сидевшая к Уинстону спиной, видимо, секретарь. Она соглашалась со всем, что тот излагал, и время от времени бормотала юным и довольно глупым голоском: «По-моему, вы *так* правы, я с вами *так* согласна». Ее собеседник не прерывался ни на секунду, даже когда говорила девушка. Лицо Уинстону было знакомо, хотя знал только, что его обладатель занимает важный пост в департаменте беллетристики. Мужчина лет тридцати, с мощной шеей и большим

подвижным ртом, сидел, чуть задрал голову, и свет падал на очки так, что вместо глаз сверкали два пустых диска. В потоке льющихся изо рта звуков нельзя было вычленить почти ни единого слова, и это навевало легкую жуть. До Уинстона долетела фраза «полное и окончательное уничтожение гольдштейнизма», она вывалилась из потока слов сплошным куском, будто отлитая из металла строка набора. Остальное плавилось в надоедливый шум, похожий на утиный крик. И все же общий смысл угадывался легко: обличение Гольдштейна, требование ужесточить меры к помыслокриминалам и диверсантам, негодование на зверства евразийской армии, восхваление Большого Брата или – разницы никакой – героев Малабарского фронта. Глядя на безглазое лицо с ритмично двигающейся челюстью, Уинстон испытал странное чувство, что перед ним не живой человек, а кукла. Речь рождалась не в мозгу – сразу в гортани. Хотя она и состояла из слов, вряд ли этот поток можно было считать речью в привычном смысле, так, бездумный галдеж.

Сайм умолк и задумчиво возил ложкой по пролитой на стол жиже. Голос за соседним столиком продолжал тарыхтеть, с легкостью перекрывая стоявший в столовой гул.

– В новослове есть такой термин, – сказал Сайм, – не знаю, известен он вам или нет: «крякоречь». Означает крякать, как утка. Интересно, что у него два противоположных значения. Применительно к оппоненту это оскорбление, а к соратнику – похвала.

Сайм точно испарится, вновь подумал Уинстон. Подумал не без грусти, хотя отлично знал, что Сайм его презирает, недолюбливает и с готовностью сдаст как помыслокриминала, дай только повод... Сайм был какой-то не такой, ему явно не хватало благоразумия, сдержанности, своего рода спасительной глупости. Не сказать, чтобы он придерживался крамольных взглядов. Совсем напротив: Сайм свято верил в принципы ангсоца, благоговел перед Большим Братом, радовался победам, ненавидел отступников, причем с каким-то неугомонным фанатизмом, вникая во все слишком глубоко, чего от рядовых членов Партии ожидать сложно. И все же репутация у него несколько подмочена: говорил то, чего говорить не следует, прочел слишком много книг, его часто видели в кафе «Каштан», злачном месте, популярном среди художников и музыкантов. Хотя никаким законом, даже неписанным, ходить туда не воспрещалось, кафе пользовалось дурной славой. Перед окончательной чисткой, выкосившей всех старых лидеров Революции, там собиралась дискредитировавшая себя партийная верхушка. По слухам, когда-то в кафе заходил и сам Гольдштейн. Предвидеть судьбу Сайма несложно. И все же, если Сайм осознает, хотя бы на три секунды, каких убеждений придерживается Уинстон на самом деле, он непременно сдаст его полиции помыслов. Впрочем, так поступил бы любой, но Сайм делает это с особой готовностью, одного рвения недостаточно. Догматизм бессознателен.

Сайм поднял взгляд.

– Опять Парсонс пожаловал, – проговорил он таким голо-  
сом, словно хотел добавить «отпетый дурак».

Парсонс, сосед Уинстона по «Дворцу Победы», и в са-  
мом деле пробирался к ним сквозь толпу – коротконогий и  
упитанный, среднего роста, со светлыми волосами и лягу-  
шачьим лицом. К тридцати пяти годам он уже успел обзаве-  
стись жировыми складками на шее и талии, но двигался по-  
рывисто, как мальчишка. Да и обликом он смахивал на ре-  
бенка-переростка, которому больше пристало ходить в си-  
них шортах, серой рубашке и красном галстуке Разведчиков,  
нежели в рабочем комбинезоне партийца. При упоминании  
Парсонса воображение услужливо дополняло его образ ко-  
ленками с ямочками и пухлыми ручками с закатанными ру-  
кавами. Парсонс и в самом деле с удовольствием облачался в  
шорты в пеших походах или занимаясь каким-нибудь обще-  
ственным трудом. Он поздоровался с сослуживцами жизне-  
радостным возгласом «Привет-привет!» и подсел за их стол,  
пахну́в едким пóтом. Розовое лицо так и сочилось испари-  
ной. Потел Парсонс знатно. Во Дворце культуры всегда мож-  
но было определить, что он недавно играл в пинг-понг, по  
влажной ручке ракетки. Сайм достал листок бумаги с длин-  
ным столбиком слов и принялся его изучать, держа наготове  
химический карандаш.

– Только посмотрите на него, даже в обед работает! – вос-  
хитился Парсонс, подтолкнув Уинстона локтем. – Ловко, да?

Что там у вас, старина? Наверное, для меня это слишком мудрено. Смит, старина, а я ведь не просто так за вами гоняюсь. У вас должок по взносам!

– На что собираем? – спросил Уинстон, машинально шаривая деньги. Примерно четверть зарплаты уходила на добровольные взносы, их было так много, что всех и не упомнишь.

– На Неделю ненависти, для фонда по месту жительства. Меня выбрали казначеем нашего квартала. Постараемся как следует и устроим нечто грандиозное! Вот что я скажу: не моя вина, если «Дворец Победы» не вывесит больше всех флагов на нашей улице. Вы обещали два доллара.

Уинстон протянул ему две помятые, замусоленные банкноты, и Парсонс записал его имя в специальный блокнотик старательным почерком неуча.

– Кстати, старина, – спохватился он. – Слышал я, вчера мой мелкий негодник пальнул в вас из рогатки. Я устроил ему хорошую взбучку и даже пообещал отнять игрушку.

– Вероятно, он немного расстроился из-за того, что не смог посмотреть на казнь, – заметил Уинстон.

– Ну да. Настрой весьма похвальный, верно? Они у меня, конечно, озорники, зато какие ушлые! Думают только о Разведчиках и о войне. Знаете, что моя малышка устроила в ту субботу, вместо пешего похода в Беркхамстед? Подбила двух девочек из отряда отправиться следить за каким-то незнакомцем. Ходили за ним хвостом битых два часа, а по-

том в Эмершеме сдали патрулю.

– Зачем же они это сделали? – поразился Уинстон.

Парсонс торжествующе пояснил:

– Доча решила, что он вражеский агент, его, может, с парашютом забросили. И вот что самое интересное, старина! Думаете, что ее насторожило в первую очередь? Странные туфли на нем: доча таких никогда не видела! Значит, иностранец. Довольно умно для семилетней егозы, а?

– А что стало с тем человеком? – спросил Уинстон.

– Откуда мне знать? Не удивлюсь, если его... – Парсонс сделал вид, что прицеливается из винтовки, и щелкнул языком, изображая выстрел.

– Поделом, – рассеянно бросил Сайм, не отрываясь от своего листка.

– Конечно, рисковать мы не можем, – с готовностью подхватил Уинстон.

– Вот и я про то же: война как-никак, – поддакнул Парсонс.

И словно в подтверждение с телеэкрана сорвался призывный звук трубы и вихрем пронесся у них над головами. Впрочем, на этот раз он предшествовал не сводке с фронта, а объявлению от министерства благоденствия. «Товарищи! – вскричал радостный юный голос. – Внимание, товарищи! У нас потрясающие новости! Мы выиграли битву за производство! Итоговые отчеты по выработке всех видов товаров свидетельствуют, что за последний год уровень жиз-

ни вырос на целых двадцать процентов! Сегодня утром вся Океания в едином порыве вышла на стихийные демонстрации: трудящиеся заводов и конторские служащие покинули рабочие места и промаршировали по улицам с транспарантами, выражая благодарность Большому Брату за нашу новую, счастливую жизнь, которую обеспечило нам его мудрое руководство. А теперь к итоговым показателям: продукты питания...»

Выражение «наша новая, счастливая жизнь» повторялось несколько раз. Видимо, министерству благоденствия оно особенно полюбилось. Парсонс, подобравшийся при звуке трубы, сидел и слушал, открыв рот, с важным видом привыкшего к скуке недоучки. Цифры говорили ему мало, но он понимал, что им следует радоваться. Он вытащил огромную потертую трубку, наполовину набитую обугленным табаком. При норме 100 граммов в неделю набить трубку целиком удавалось редко. Уинстон курил папиросу «Победа», осторожно держа ее строго горизонтально. Новую пайку дадут только завтра, а у него осталось всего четыре папиросы. Он отрешился от постороннего шума и прислушался к потоку слов с телеэкрана. Похоже, демонстранты благодарили Большого Брата даже за то, что он повысил норму шоколада до двадцати граммов в неделю. Только вчера, вспомнилось Уинстону, объявили об *уменьшении* нормы до двадцати граммов. Неужто можно проглотить такое вранье всего за двадцать четыре часа? Парсонс, глупое животное, прогло-

тил легко. Безглазый мужчина за соседним столиком заглядывал фанатично, страстно, его словно обуревало неистовое желание выследить, донести, дать испариться любому, кто скажет, что на прошлой неделе норма составляла тридцать граммов. Сайм тоже – правда, несколько иным способом, привлекая двоемыслие. И Сайм проглотил. Неужто выходит, что он единственный, кому это запало в память?

С телеэкрана все еще сыпалась баснословная статистика. По сравнению с прошлым годом стало больше еды, больше одежды, больше домов, больше мебели, больше кастрюль, больше топлива, больше кораблей, больше вертолетов, больше книг, больше детей – больше всего, кроме болезней, преступлений, безумия. Год за годом, минута за минутой все и вся со свистом несло вперед, к светлому будущему. Как Сайм пораньше, Уинстон взял ложку и принялся выводить узоры по растекшейся по столу бледной жиже. Он с досадой размышлял о материальной основе жизни. Всегда ли было так? Всегда ли еда имела такой вкус? Он оглядел столовую. Низкий потолок, стены, засаленные от прикосновений бесчисленных тел, разболтанные металлические столы и стулья, стоящие так тесно, что касаешься локтем соседа; погнутые ложки, помятые подносы, щербленые белые кружки; все поверхности сальные, во всех трещинах грязь; кисловатый дух, в каком мешается вонь дешевого джина, паршивого кофе, похлебки с металлическим привкусом и грязной одежды. Постоянно нутро, вся кожа зудела в нем от бунта, ощу-

щения того, что его лишили принадлежавшего ему по праву. Да, правда, насколько помнилось, иной жизни он не знал: никогда не ел досыта, носки и нижнее белье занашивал до дыр, мебель – вечно раздолбанная и шаткая, топили плохо, вагоны подземки шли битком, дома разваливались, хлеб – черный, чай – большая редкость, кофе – противный, табаку не хватает, один только дешевый синтетический джин всегда в избытке. И хотя с возрастом переносить лишения все труднее, разве это не свидетельствует о том, что естественный порядок вещей вовсе не должен быть таким? Если сердце щемит от бесприютности, грязи и лишений, от нескончаемых зим, от промокших ног, а лифты вечно не работают, вода только холодная, мыло грубое и сушит кожу, табак из папирос высыпается, еда по вкусу с помоями схожа? Если жизнь кажется невыносимой, не говорит ли в тебе память предков, оставшаяся с тех времен, когда все было иначе?

Он вновь оглядел столовую. Почти все уродливы, и синие комбинезоны тут ни при чем: этих людей как ни одень, уродами и останутся. В дальнем конце за столом в одиночестве сидел мелкий, похожий на жучка служащий с кружкой кофе и подозрительно обшаривал зал маленькими бегающими глазками. Если не смотреть по сторонам, думал Уинстон, легко поверить, что физический тип, взятый Партией за идеал (мускулистые юнцы и грудастые девы, светловолосые, энергичные, загорелые, беззаботные), не только существует, но и преобладает. На самом деле, насколько он

мог судить, большинство населения Авиабазы-1 – низкорослые, темноволосые и уродливые. Любопытно, как люди-жучки заполнили министерства: проворные невзрачные коротышки, склонные к полноте уже в юном возрасте, с короткими ножками и маленькими глазками на жирных невозмутимых мордах. Похоже, под владычеством Партии этот тип расцвел пышным цветом.

Объявление министерства благоденствия закончилось трубным сигналом, за ним последовала жесткая, бряцающая музыка. Парсонс, впечатленный цифрами, преисполнился энтузиазма и вынул трубку изо рта.

– В этом году министерство благоденствия отлично потрудилось, – заявил он и с важным видом кивнул. – Кстати, старина, у вас не найдется лишнего лезвия для бритвы?

– Увы, – ответил Уинстон, – сам полтора месяца одним бреюсь.

– Ну ладно, нет так нет.

– Что поделаешь.

Крякоречь за соседним столом, умолкшая во время сводки министерства благополучия, затарахтела с новой силой. Почему-то Уинстону вспомнилась миссис Парсонс с жидкими растрепанными волосами и пылью в складках лица. В ближайшие пару лет дети непременно сдадут ее полиции помыслов. Миссис Парсонс испарится. Сайм испарится. Уинстон испарится. О’Брайен испарится. А вот Парсонсу не грозит ничего, как и безглазо крякающему мужчине. Жуч-

ки-служащие, так ловко снующие по лабиринту коридоров министерства, – эти уж точно не испарятся никогда. И темноволосая из департамента беллетристики не испарится никогда. Уинстон словно нутром чуял, кто уцелеет, кто исчезнет, хотя и не мог сказать, от чего именно зависит, выживет человек или нет.

И в этот миг его, отрешенно витавшего в раздумьях, будто грубо тряхнуло. Сидевшая за столом перед Уинстоном девушка, извернувшись вполоборота, смотрела на него. Та самая, темноволосая. Смотрела искоса, зато весьма пристально. Поймав его взгляд, девушка снова отвернулась.

Уинстон облился холодным пóтом. Накатил приступ ужаса и почти сразу схлынул, оставив после себя щемящую тревогу. Почему она так смотрит? Почему она его преследует? Уинстон не помнил, сидела темноволосая за столом, когда он пришел, или появилась позже. В любом случае, на вчерашней Двухминутке ненависти она устроилась сразу позади него, хотя мест хватало. Вполне вероятно, что девушка решила убедиться, достаточно ли громко он кричит.

Опять подумал: вряд ли она из полиции помыслов, хотя от добровольного шпиона вреда куда больше. Уинстон не знал, как давно она за ним следит, но даже за последние пять минут, если он не вполне владел выражением лица, девушка могла бы увидеть достаточно. В общественном месте или перед телеэкраном погружаться в задумчивость слишком опасно. Выдать может любая мелочь: нервный тик, невольная

озабоченность во взгляде, привычка бормотать себе под нос – любое отклонение от нормы или намек на скрытность. Так или иначе, неподобающее выражение лица (к примеру, скептическое, когда объявляют о победе) считается проступком, заслуживающим наказания. В новослове даже термин такой есть – *«лицекриминал»*.

Темноволосая опять сидела к Уинстону спиной. Может, и не следит, может, просто совпадение. Папироса погасла, он аккуратно положил ее на край стола: покурит после работы, если удастся не просыпать табак. Наверняка где-то рядом соглядатай полиции помыслов, и через три дня Уинстона упрячут в подвалы министерства любви, и все же табак надо беречь. Сайм сложил листок и убрал в карман. Парсонс снова заговорил.

– Я не рассказывал, старина, – начал он, посасывая трубку, – как мои непоседы подпалили юбку старухе-торговке, которая заворачивала колбасу в плакат Б. Б.? Подкрались сзади с коробком спичек и устроили потеху. Наверное, сильно обожглась. Вот негодники! Зато настырные как не знаю кто! В отряде Разведчиков детишек натаскивают отменно, даже лучше, чем нас в свое время. Знаете, что им недавно выдали? Слуховые трубки, чтобы подслушивать через замочную скважину! Моя дочурка вчера опробовала ее на двери в общую комнату: выходит в два раза слышнее, чем просто ухо приложить! Понятно, игрушка всего лишь, но нужные навыки прививает.

Внезапно из телеэкрана раздался пронзительный свист: обед закончился. Все трое разом вскочили, чтоб ринуться в битву за место в лифтах, и из папиросы Уинстона вывалился последний табак.

## VI

Уинстон писал в дневнике:

*Это было три года назад. Темный вечер, узкий переулок возле большой железнодорожной станции. Она стояла в дверном проеме, под едва светившим уличным фонарем. Лицо молодое, густо накрашено. Привлекала меня, признаться, именно окраска: белое, как маска, лицо с пунцовыми губами. Партийные женщины никогда не красятся. На улице ни прохожих, ни телеэкранов. Она сказала: два доллара. Я...*

Уинстон смешался. Зажмурил глаза и прижал к ним пальцы. Почти неодолимо тянуло выругаться – грязно, во весь голос. Или боднуть головой стену, пнуть стол, вышвырнуть чернильницу в окно – все что угодно, лишь бы приглушить терзавшее его воспоминание.

Твой злейший враг, думал Уинстон, твоя нервная система. В любой момент внутреннее напряжение может вылиться в видимый симптом. Он вспомнил, как пару недель назад видел на улице одного прохожего: обычный с виду член Партии, лет тридцати-сорока, высокий и худой, с портфелем. Внезапно левая сторона его лица дернулась. Через несколько шагов это повторилось – всего лишь легкое подергивание, быстрое, как щелчок затвора фотоаппарата, но явно привычное. И Уинстон подумал: бедняге конец. Самое страшное,

что сокращение мышц, скорее всего, совершенно произвольное. А самая смертельная опасность подстерегает тебя во сне, и спасения от нее нет.

Уинстон вздохнул и продолжил писать:

*Я прошел за ней в дверь, потом задалами на кухню в подвале. У стены стояла кровать, на столе тускло горела лампа, фитилек которой был подвернут почти до конца. Она...*

Уинстон стиснул зубы. Хотелось сплюнуть. Одновременно с женщиной в подвальной кухне он вспомнил Кэтрин, свою жену. Когда-то Уинстон был женат... впрочем, как и сейчас, ведь жена до сих пор жива. Казалось, он снова вдохнул спертый воздух кухни, в котором мешались запахи клопов, грязной одежды и противных, дешевых и все же соблазнительных духов. Партийные женщины не душатся никогда, духи в ходу только у пролов. В его сознании их запах удушающе мешался с распутством.

Он уже пару лет не был с женщиной. Разумеется, общение с проститутками запрещалось, но этот запрет относился к тем, которые изредка нарушаешь. Поймают – дадут пять лет в исправительно-трудовом лагере, не больше, если нет других прегрешений. Лишь бы не взяли с поличным. Беднейшие кварталы буквально кишат женщинами, готовыми себя продать. Иным хватает бутылки джина (пролам он не полагается). Негласно Партия даже поощряет проституцию, ведь та дает выход инстинктам, подавить которые полностью еще не

получалось. На обычное распутство смотрят сквозь пальцы, пока оно остается шито-крыто да уныло и вовлечены в него женщины из низшего и презираемого класса. Непростительными считаются беспорядочные половые связи между членами Партии. Однако хотя в этом преступлении признавались практически все без исключения жертвы великих чисток, Уинстону верилось в такое с трудом.

Цель Партии состоит не только в том, чтобы между мужчинами и женщинами не возникала привязанность, которую нельзя контролировать со стороны. На самом деле требовалось лишить половой акт всякого удовольствия. Главный враг – не любовь, а эротика, что в браке, что вне брака. Все союзы между членами Партии устраиваются с ведома специального комитета и (вслух этот принцип не озвучивают), в разрешении паре отказывают, если будущие супруги чувствуют взаимное влечение. Единственной целью брака считается рождение детей для служения Партии. К половому акту относятся словно к малоприятной медицинской процедуре вроде клизмы. Опять же, прямо об этом не говорится, но подспудно с детства вдалбливается каждому члену Партии. Существуют даже специальные организации вроде Юношеской антисекс-лиги, ратующие за полное воздержание для обоих полов. Детей следует зачинать с помощью искусственного оплодотворения (на новослове это называется «ископлод») и выращивать в государственных учреждениях. Уинстон понимал, что это не всерьез, хотя и удачно вписывает-

ся в идеологию Партии: убить половой инстинкт, а если не выйдет, то принизить и изгадить. Он не знал зачем, просто чувствовал, что так и должно быть. Что касается женщин, то усилия Партии по большей части увенчались успехом.

Он снова подумал о Кэтрин. Они разошлись девять, десять, точнее, почти одиннадцать лет назад. Как ни странно, Уинстон вспоминал о ней редко. Иногда он даже забывал, что вообще был женат. Вместе они провели пятнадцать месяцев. Разводиться Партия не разрешает, хотя бездетных призывает расстаться.

Кэтрин была высокой блондинкой с очень правильной, горделивой осанкой. Черты крупные, нос с горбинкой – ее лицо можно бы назвать благородным, если бы за ним не скрывалась практически полная пустота. Еще в самом начале совместной жизни Уинстон решил – хотя, вероятно, лишь потому, что ее он узнал лучше, чем других людей, – что глупее, вульгарнее и скудоумнее Кэтрин никого не встречал. В голове ее не задерживалось ни единой мысли, кроме партийных лозунгов, и она глотала любую невообразимую чушь, если та исходила от родной Партии. Про себя Уинстон называл ее «ходячая фонограмма». И все же он смог бы с ней ужиться, если бы не секс.

Стоило ему к жене прикоснуться, как та морщилась и цепенела. Обнимать ее было все равно что деревянную куклу. Как ни странно, даже прижимая мужа к себе, она словно отталкивала его изо всех сил. Кэтрин лежала с закрытыми

глазами, не сопротивляясь и не отвечая на ласки – она тупо подчинялась. Уинстон находил это чрезвычайно унижительным, а под конец и противным. Если бы они договорились обходиться без половых отношений, Уинстон смирился бы с совместной жизнью. Как ни странно, Кэтрин отказалась. «Мы должны родить ребенка», – заявила она. Исполнение супружеского долга происходило регулярно – раз в неделю, если тому ничего не препятствовало. Она даже напоминала ему утром, словно речь шла об обязанности по дому, которую непременно следует выполнить вечером. Кэтрин использовала два выражения: «сделать ребенка» и «наш долг перед Партией» (она и в самом деле так выражалась!). Уинстон стал ожидать назначенного дня со страхом. К счастью, зачать ребенка не получилось, Кэтрин признала, что пора оставить попытки, и вскоре они разошлись.

Уинстон неслышно вздохнул, снова взялся за перо и написал:

*Она улеглась на кровать и сразу, безо всяких прелюдий, самым отвратительным и пошлым образом задрала юбку. Я...*

Он стоял в тусклом свете лампы, в нос била вонь клопов и дешевых духов, сердце саднило от горечи поражения и обиды. Внезапно Уинстону вспомнилось белое тело Кэтрин, навеки застывшее под гипнозом Партии. Почему всегда так? Почему нельзя быть с женщиной постоянно, вместо этой мерзкой возни раз в несколько лет? Увы, нечего и думать о

том, чтобы завести роман. Все партийные женщины одинаковы. Целомудрие въелось в них так же глубоко, как и преданность Партии. Естественное чувство вытравляют из них с детства: продуманным воспитанием, играми и холодными обливаниями, чушью, которой им забивают головы в школе, в Разведчиках и Юношеской лиге, лекциями, парадами, песнями, лозунгами и маршами. Рассудок говорил Уинстону, что исключения наверняка есть, но сердце не верило. Все они непробиваемы, как и задумано Партией. Ему хотелось даже не столько быть любимым, сколько сломать стену добродетели, хотя бы раз в жизни. Полноценный половой акт – мятеж, желание близости – помыслокриминал. Даже пробудить чувства в Кэтрин, собственной жене, если бы ему удалось, было бы сродни соvrращению.

Историю следовало закончить. Уинстон написал:

*Я прибавил огня. Увидев ее при свете...*

После полумрака слабый свет керосиновой лампы казался очень ярким. Наконец-то Уинстон разглядел женщину как следует. Он шагнул вперед и замер, переполненный похотью и ужасом. Придя сюда, он рисковал многим. Вполне вероятно, что патруль задержит его при выходе – может, они сейчас поджидают прямо у дверей. Даже если уйти, не сделав того, ради чего он здесь...

Это нужно записать, он должен облегчить душу. При свете лампы Уинстон увидел, что женщина старая! Краска покрывала ее лицо густо, как штукатурка, того и гляди треснет.

В волосах блестела седина, а страшнее всего был чуть проваленный, приоткрытый рот без единого зуба.

Уинстон торопливо записал корявыми буквами:

*Когда я увидел ее при свете, то понял: она очень старая, точно за пятьдесят. Но я двинулся к ней и все равно сделал то, за чем пришел.*

Он снова прижал пальцы к глазам. Хотя Уинстон смог себя пересилить и записал все как было, лекарство не сработало. Желание грязно браниться во весь голос никуда не делось.

## VII

*«Если и есть надежда, то она заключена в пролах»,*

– записал Уинстон.

Если надежда есть, то она должна заключаться в пролах, ведь только эта зыбкая, отверженная масса, составляющая 85 процентов населения Океании, и способна стать силой, которая уничтожит Партию. Изнутри Партию не одолеть. Ее враги, если они вообще есть, лишены возможности объединиться, узнать друг друга. Даже если легендарное Братство существует, входящим в него никогда не собраться больше, чем по двое-трое. Мятеж проявляется во взгляде, в интонации, максимум в слове, произнесенном шепотом. Зато пролам, если только они осознают собственную силу, незачем устраивать тайные заговоры. Им нужно просто встряхнуться – как лошадь стряхивает мух. Если захотят, пролы могут разорвать Партию на куски завтра же утром. Разумеется, рано или поздно до них дойдет, и все же...

Уинстон вспомнил, как однажды шел по многолюдной улице, и вдруг из узкого проулка чуть впереди раздался рев сотен женских глоток. То был грозный крик гнева и отчаяния, глубокое, громкое: «Ох-о-о-ох!» – еще долго гудело, словно звон колокола. Сердце у Уинстона дрогнуло. Нача-

лось, подумал он. Бунт. Пролы наконец-то сорвались с цепи! Подойдя ближе, он увидел толпу из двухсот-трехсот женщин, сгрудившихся у прилавков на рынке, – лица трагичные, как у пассажиров тонущего корабля. Но тут же в единый миг общее отчаяние разбилось на множество мелких свар. За этим прилавком, очевидно, продавали оловянные сотейники. Пусть паршивые, пусть нескладные, но любых видов кастрюльки достать всегда трудно. И вдруг товар закончился. Счастливые покупательницы пытались пробиться сквозь толчею с добычей, те, кому не хватило, громогласно честили продавца, мол, только своим отпускает и прячет товар под прилавком. Снова поднялся крик. Две растрепанные толстухи яростно схватились за один сотейник, каждая тянула к себя, пока не оторвались ручки. Уинстон смотрел на них с отвращением. И все же на краткий миг пара сотен глоток испустила вопль, в котором прозвучала грозная, пугающая сила. Почему они никогда не кричат так из-за того, что действительно важно?

Уинстон написал:

*Пока они не обретут самосознание, они не восстанут, а до тех пор, пока не восстанут, самосознание им не обрести.*

Похоже на конспект из партийного учебника, подумал Уинстон. Партия, само собой, утверждает, что освободила пролетариев от оков. До Революции их жестоко угнетали ка-

питалисты, они голодали и подвергались телесным наказаниям, женщин заставляли работать на угольных шахтах (кстати, женщины там до сих пор трудятся), детей продавали на фабрики в шестилетнем возрасте. Но одновременно Партия учит, в полном соответствии с принципом двоемыслия, что пролы – существа низшего сорта, которых нужно держать в подчинении как животных, соблюдая несколько простых правил. На самом деле о пролах известно очень мало. Пока они продолжают работать и плодиться, их остальные дела никому не интересны. Предоставленные сами себе, словно скот на равнинах Аргентины, они неизменно возвращаются к своему естественному образу жизни, порядку, как бы унаследованному от предков. Они рождаются и растут в трущобах, в двенадцать лет идут на работу, после короткой поры созревания красоты и полового влечения женятся в двадцать, в тридцать уже стареют, потом умирают по большей части в шестьдесят. Их кругозор ограничен тяжелым физическим трудом, заботой о доме и детях, мелкими ссорами с соседями, кино, футболом, пивом и, конечно, азартными играми. Держать их под контролем несложно. Среди них всегда полно агентов полиции помыслов, они разносят ложные слухи, выискивают и устраняют тех немногих, кто может представлять опасность, однако попыток внушить им партийную идеологию не предпринимается. Политических взглядов пролам иметь не положено. От них требуется лишь примитивный патриотизм, чтобы взывать к нему в случае

необходимости: заставляя работать больше часов или мириться с сокращением пайка. Даже если пролов иногда охватывает недовольство, это не приводит ни к чему: у не постигающих общие жизненные принципы смута выливается в мелкие дрязги. Крупные невзгоды от их внимания неизменно ускользают. В домах у подавляющего большинства пролов нет телеэкранов. Уровень преступности в Лондоне высокий, преступная среда образует своего рода государство в государстве, но воры, бандиты, проститутки, торговцы наркотиками и аферисты всех мастей гражданскую полицию не интересуют, пока варятся в своем соку, и она в их дела практически не вмешивается. Во всех вопросах морали пролам дозволено следовать обычаям предков. На них не распространяются пуританские взгляды Партии на секс. Беспорядочные половые сношения не наказываются, разводы разрешены. В принципе, пролам могли бы позволить даже отправление религиозных обрядов, если бы они выказали такое желание. Проламы ниже подозрений. Или как гласит партийный лозунг: «Проламы и животные свободны».

Уинстон наклонился и осторожно почесал ногу. Язва снова зудела. Он не мог не думать, что нет ни малейшей возможности узнать, какой на самом деле была жизнь до Революции. Достав из ящика школьный учебник истории, взятый у миссис Парсонс, Уинстон начал выписывать из него в дневник.

*В прежние времена, до победоносной Революции, – говорилось в нем, – Лондон был совсем не тем*

прекрасным городом, который мы знаем. Темное, грязное, скверное место, где люди голодали, где сотни тысяч бедняков ходили босыми и не имели крыши над головой. Детям не старше тебя приходилось трудиться по двенадцать часов на жестоких хозяев, поровиших их кнутами, если те работали слишком медленно, и державиших бедняг на черствых сухарях и воде. Среди этой ужасной нищеты высилось несколько больших, красивых зданий, где жили богачи, которых обхаживало до тридцати слуг. Богатых людей называли капиталистами. Они были толстыми, уродливыми, со злобными лицами. На картинке справа – капиталист, одетый в длинный черный пиджак под названием фрак и нелепую блестящую шляпу в форме печной трубы под названием цилиндр. Такой была форма, и кроме них больше никому не позволялось ее носить. Капиталистам принадлежало все на свете, а все остальные считались их рабами. Они владели всей землей, всеми домами, всеми фабриками и всеми деньгами. Того, кто им не подчинялся, могли бросить в тюрьму, лишить работы и заморить голодом. Если обычный человек говорил с капиталистом, то должен был кланяться, снимать кепку и обращаться к нему «сэр». Глава всех капиталистов назывался король, а...

Остальное в этом перечне Уинстону было известно. Далее последуют епископы с батистовыми рукавами, судьи в отделанных горностаем мантиях, позорные столбы, колодки, топчак, плетки-девятихвостки, банкет у лорд-мэра и обычай

целовать туфлю Папы. Было еще и *jus primae noctis*, так называемое право первой ночи, о чем в учебниках для младших классов вряд ли пишут. Каждый капиталист имел право переспать с любой женщиной, работавшей на его фабрике.

Как узнать, что из этого ложь? Может статься, среднему человеку сейчас живется лучше, чем до Революции. Единственное доказательство обратного – внутренний немой протест, безотчетное ощущение, что условия твоей жизни невыносимы и так было не всегда. Уинстону пришло в голову, что отличительная черта современной действительности во все не жестокость и неуверенность в завтрашнем дне, а убожество. Ни малейшего сходства с тем, что потоками льется с телеэкранов, не говоря уже об идеалах, к которым стремится Партия. Даже партийцы тратят большую часть времени не на политику, а на скучную работу и борьбу за место в подземке, штопают дырявые носки, выпрашивают лишнюю таблетку сахара, курят бычки. Партийный идеал – огромный, прекрасный и сверкающий мир, союз стали и бетона, исполинских машин и страшного оружия, нация воинов и фанатиков, которые маршируют вперед в едином порыве, думают одно и то же, кричат одни и те же лозунги, вечно работают, сражаются, побеждают, карают, – триста миллионов человек на одно лицо. В реальности же хиреющие города, грязные улицы, где бродят полуголодные жители в дырявой обуви и стоят покосившиеся домишки прошлого века, насквозь провонявшие капустой и уборной. Перед мысленным взором

Уинстона раскинулся разоренный Лондон, город миллиона мусорных баков, спаянный с образом миссис Парсонс, женщина с морщинистым лицом и растрепанными волосами, которая беспомощно возится с засором в трубе.

Он наклонился и снова почесал лодыжку. День и ночь телеэкраны бьют тебя по ушам статистикой, доказывающей, что сегодня у людей больше еды и одежды, дома лучше, что живут они дольше, работают меньше, отдыхают больше, стали выше, здоровее, сильнее, счастливее, умнее, образованнее, чем пятьдесят лет назад. И ничего не докажешь, ничего не опровергнешь. К примеру, Партия заявляет, что сегодня грамотой владеет сорок процентов взрослых пролов, а до Революции – всего пятнадцать. Партия заявляет, что детская смертность составляет сто шестьдесят младенцев на тысячу, а до Революции – триста. И так далее. Словно уравнение с двумя неизвестными. Вполне может стать, что практически каждое слово в учебниках истории – чистой воды выдумка. И не было до Революции никакого *jus primae noctis*, ни капиталистов, ни цилиндров.

Все как в тумане. Прошлые стирают, потом забывают, и ложь становится правдой. Лишь раз в жизни Уинстону попало – *после* самого события, вот что самое главное! – явное, безошибочное свидетельство фальсификации. Он держал его в руках секунд тридцать. Это было году в семьдесят третьем... когда они с Кэтрин расстались. Само событие произошло семью или восемью годами ранее.

Эта история началась еще в середине шестидесятых, во время массовых чисток, в которых разом канули бывшие лидеры Революции. К семидесятому году не осталось никого, кроме Большого Брата. Всех прочих уличили в измене и контрреволюционной деятельности. Гольдштейн бежал и скрывался неизвестно где, некоторые просто испарились, а большинство казнили после громких публичных судов, где они признались в своих преступлениях. Среди последних уцелевших были трое деятелей по имени Джонс, Аронсон и Резерфорд. Арестовали их году в шестьдесят пятом. Как часто случается, они пропали на год-другой, никто не знал, живы они или мертвы, как вдруг все трое объявились с покаянными излияниями. Признались в сговоре с врагом (на тот момент им тоже была Евразия), хищении государственных средств, убийствах всевозможных деятелей Партии, кознях против Большого Брата задолго до Революции и диверсиях, приведших к гибели сотен тысяч жертв. После признания их помиловали, восстановили в Партии, поставили на ответственные должности, бывшие, по сути, синекурами. Все трое написали для «Таймс» длинные статьи, где каялись в преступлениях, разбирали мотивы своего отступничества и обещали исправиться.

Вскоре после освобождения Уинстон видел всех троих в кафе «Каштан». Он наблюдал за ними как замороженный, одновременно ужасаясь и не в силах не смотреть. Реликты древнего мира, они были гораздо старше него, почти послед-

ние великие деятели, составлявшие героическое прошлое Партии. Их осенял отблеск подпольной борьбы и гражданской войны. Хотя уже тогда факты и даты приобретали смутные очертания, Уинстону казалось, что их имена услышал раньше имени Большого Брата. Вместе с тем вся троица – преступники, враги, неприкасаемые, обреченные на уничтожение в ближайшие год-два. Никто из попавших в лапы полиции помыслов еще не избегал такого конца. Они мертвцы, ожидающие отправки обратно в могилу.

Соседние столики пустовали: никто не рисковал появляться в компании подобных людей. Трое молча сидели за джином, приправленным гвоздикой – фирменным напитком кафе. Особенно Уинстона поразил Резерфорд, некогда известный карикатурист, чьи безжалостные шаржи разжигали страсти, подогревая общественное мнение до и во время Революции. Даже теперь, хотя и с большими перерывами, его рисунки появлялись в «Таймс» – бледное подражание прежним карикатурам, на диво безжизненные и малоубедительные. В них повторялись одни и те же старые темы: трущобы, голодающие дети, уличные бои, капиталисты в черных цилиндрах (даже на баррикадах капиталисты цеплялись за свои цилиндры) – бесконечная, безнадежная попытка вернуться в прошлое. На вид Резерфорд казался чудищем: огромное тело, грива сальных волос, одутловатое, изборожденное морщинами лицо, толстые, по-негритянски вывернутые губы. Когда-то, видимо, он был незаурядно фи-

зически силен, теперь же мускулистое тело расплылось, обвисло, где-то вздулось, где-то ввалилось: он разваливался на глазах, словно осыпающаяся скала.

В кафе было почти пусто, посетителей в пятнадцать часов всегда немного. Уинстон не помнил, зачем пришел туда в такой час. С телеэкранов раздавалась дребезжащая, назойливая музыка. Все трое сидели в углу почти без движения, совершенно молча. Не дожидаясь просьбы повторить, официант принес еще три стакана джина. На столике позади них лежала шахматная доска с расставленными фигурами, но никто не играл. И вдруг, пожалуй, всего на полминуты с телеэкранами что-то случилось. Сменилась звучавшая с них мелодия, изменилась и тональность музыки. В ней слышалось... даже трудно описать. Слышалось в этой мелодии (Уинстон мысленно назвал ее бульварщиной) нечто необычное, надсадное, истошное, глумливое. А потом с телеэкрана голос пропел:

Под раскидистым каштаном  
Сдал я тебя, а ты меня.  
Под раскидистым каштаном  
Ты лежишь и рядом я.

Трое не шелохнулись. Но когда Уинстон снова глянул на мертвенное лицо Резерфорда, в глазах у того стояли слезы. И тогда Уинстон впервые заметил, внутренне содрогнувшись, но так и не осознав, чему он содрогнулся, что и у Аронсона,

и у Резерфорда сломаны носы.

Немного погодя всех троих снова арестовали. Выяснилось, что сразу после освобождения они вступили в очередной заговор. На втором суде трое опять признались в старых преступлениях и целой куче новых. Их казнили, а деяния увековечили в истории Партии как предостережение для грядущих поколений. Лет через пять, в семьдесят третьем, Уинстон развернул бумажки, выпавшие из пневмотрубы на рабочий стол, и обнаружил случайно затесавшийся между ними листок. Его важность он понял сразу. Это была вырезка из газеты десятилетней давности – верхняя половинка страницы – с датой и фотографией делегатов на каком-то партийном мероприятии в Нью-Йорке. Прямо в центре группы стояли Джонс, Аронсон и Резерфорд. Узнать их не составило труда, к тому же под снимком напечатали имена.

На обоих судах все трое признались, что в тот самый день находились на территории Евразии. Они вылетели с секретного канадского аэродрома в Сибирь и провели переговоры с генеральным штабом Евразии, которому и передали важные военные тайны. Дата врезалась Уинстону в память, потому что выпала на День летнего солнцестояния. Наверняка мероприятие широко освещалось, что зафиксировано в массах других источников. Отсюда могло следовать только одно: все их признания – ложь.

Разумеется, это не сильно его удивило. Даже тогда Уинстону слабо верилось, что жертвы массовых чисток действи-

тельно совершили все те преступления, в которых их обвиняли. Теперь же в руки ему попало железобетонное доказательство, фрагмент утраченного прошлого: так кость ископаемого животного, найденная не в том слое, рушит стройную геологическую теорию. Если бы удалось придать это огласке и разъяснить людям, почему это так важно – хватило бы, чтоб распылить Партию на атомы.

Уинстон поспешно приступил к работе. Разглядев снимок и осознав его значение, он быстро положил сверху лист бумаги. По счастью, когда Уинстон разворачивал газетную вырезку, та виделась с телеэкрана задом наперед. Он отодвинул стул подальше от телеэкрана. Сохранять невозмутимое лицо несложно, при должном усилии дыхание тоже удастся контролировать, другое дело – унять сердцебиение, ведь телеэкран вполне способен его уловить. Уинстон выждал минут десять, изнывая от страха перед непредвиденным: вдруг по столу пробежит сквозняк и выдаст его? Затем, прихватив верхний лист вместе с фотографией, швырнул бумажный мусор в дыру памяти. И через минуту газетная фотография обратилась в пепел.

Произошло это лет десять-одиннадцать назад. Сегодня Уинстон фотографию сохранил бы. Странно, но пусть от фото и от самого события осталось только воспоминание, для него очень важно, что ему удалось подержать газетную вырезку в руках. Интересно, может ли власть Партии над прошлым ослабеть из-за доказательства, которого больше не су-

ществует?

Впрочем, даже если бы фото удалось возродить из пепла, сегодня оно вряд ли что-то докажет. Когда Уинстон его обнаружил, Океания уже не воевала с Евразией, значит, трое мертвецов продали свою страну агентам Востазии. С тех пор враг менялся два-три раза, если не больше. Признания наверняка переписывали снова и снова, пока первоначальные факты и даты не утратили всякое значение. Прошлое не просто менялось, оно не переставало меняться. Самое кошмарное заключалось в том, что Уинстон не понимал, к чему так утруждаться. Прямые преимущества фальсификации прошлого были очевидны, однако конечная цель оставалась загадкой. Он снова взял перо и написал:

*Я понимаю как. Понять не могу зачем.*

Уинстон в очередной раз задался вопросом, не сошел ли с ума он сам. Наверное, быть в меньшинстве и есть сумасшествие. Когда-то считалось безумием верить, что Земля вращается вокруг Солнца; сегодня – что прошлое неизменно. Возможно, в это верит лишь он, а если ты один, то сумасшедший. Впрочем, пугает другое: вдруг он тоже ошибается?

Уинстон взял школьный учебник по истории с портретом Большого Брата на обложке. Гипнотический взгляд вонзался прямо в душу. Чудовищная сила проникала в череп, била по мозгам, запугивала, заставляла отказаться от своих убеждений, внушала не верить собственным глазам. В итоге Партия объявит, что дважды два пять – и придется в это поверить.

Рано или поздно они так и сделают: логика положения их просто обязывает. Генеральная линия Партии негласно отрицает не только достоверность восприятия, но и существование объективной реальности. Откровенная чушь – здравый смысл. Самое ужасное не в том, что тебя убьют за инакомыслие, а в том, что они могут быть правы. Если уж на то пошло, откуда известно, что дважды два четыре? Или что гравитация действует? Или что прошлое неизменно? Если и прошлое, и объективная реальность существуют лишь в сознании, а сознание можно контролировать, что тогда?

Нет уж! Внезапно к Уинстону вернулось мужество. В сознании возникло лицо О’Брайена, просто так, без видимых причин. Теперь он точно знал, что О’Брайен на его стороне. Он ведет дневник для О’Брайена и обращается к О’Брайену. Словно пишет бесконечное письмо, которое никто не прочтет, зато конкретность адресата придает писанине красок.

Партия велит не верить своим глазам и ушам. Это и есть ее окончательный, самый важный приказ. Сердце Уинстона упало при мысли, какой колоссальной силе он противостоит, с какой легкостью отметет его доводы любой партийный деятель, какими изощренными аргументами закидает... их не то что опровергнуть, понять-то невозможно... И все же ошибаются они, а он прав! Очевидное, простое, истинное нужно защищать. Прописные истины не лгут, их и надо держаться! Незыблемый мир существует, законы его неизменны. Камни – твердые, вода – мокрая, подброшенный предмет падает

вниз. Чувствуя, что обращается к О'Брайену и вместе с тем выдвигает важную аксиому, он вывел:

*Свобода – это свобода заявить, что два плюс два равно четырем. Если это обеспечено, все остальное приложится.*

## VIII

Из глубины боковой улочки донесся аромат жареного кофе, настоящего, не «Победы». Уинстон невольно замер. На пару секунд он перенесся в полузабытый мир детства. Потом хлопнула дверь, и запах исчез.

Он прошел по улицам несколько километров, и язва на ноге разболелась. Уже второй раз за три недели он пропустил вечер во Дворце культуры: опрометчивый поступок, учитывая, что количество посещений тщательно проверяют. По идее, свободного времени у членов Партии нет вовсе, а в одиночестве они остаются лишь в своей постели. Предполагается, что когда ты не работаешь, не ешь и не спишь, то принимаешь участие в коллективных мероприятиях, поэтому заниматься чем-то в одиночку, хотя бы просто гулять по улицам, опасно. В новословии даже существует такой термин: «самобыт», означающий индивидуализм и чудачество. Но благоуханный апрельский воздух заставил Уинстона забыть об осторожности. Небо голубело так нежно, что, выйдя из министерства, он понял: очередного длинного, шумного вечера в ДК, где ждут его скучные настольные игры, лекции, натужное общение с товарищами по Партии, щедро сдобренное джином, он просто не вынесет. Повинуясь внезапному порыву, Уинстон свернул в противоположную автобусной остановке сторону и побрел по лабиринту улочек Лондона

куда глаза глядят: сначала на юг, потом на восток, затем на север.

«Если и есть надежда, – написал он в дневнике, – то она заключается в пролах». Фраза продолжала его преследовать: мистическая истина и явная нелепость. Уинстон очутился в глухих, бурых трущобах к северо-востоку от места, где раньше был вокзал Сент-Панкрас. Он шел по мощеной улице с двухэтажными домишками, чьи обветшалые подъезды выходили прямо на тротуар и сильно смахивали на крысиные норы. Среди брусчатки виднелись грязные лужи. И в темных проемах, и в тесных проходах между домами сновали целые толпы: девушки в самом соку с ярко покрашенными губами, и бегающие за ними парни, и ходящие вразвалочку обрюзгшие тетки, глядя на которых понимаешь, во что превратятся эти девушки лет через десять, и шмыгающие подошвами согбенные старухи, и босые детишки-оборванцы, что играют в лужах и разбегаются от сердитых окриков матерей. Около четверти окон на улице были разбиты и заколочены досками. Большинство пролов не обращали на Уинстона внимания, лишь некоторые поглядывали с настороженным любопытством. В дверях стояли и, сложив на фартуках кирпично-красные ручки, беседовали две пугающе громадные бабы. Подходя, Уинстон расслышал обрывок разговора.

– Так-то оно так, говорю я ей, только на моем месте, говорю, ты бы сделала то же самое. Судить-рядить-то всяк горазд, а тебе б мои проблемы!

– Ну да, – кивнула вторая, – так и есть. Куда уж ей понять!

Громкие голоса резко оборвались. Женщины проводили Уинстона враждебным молчанием. Впрочем, вряд ли враждебным, опасливым, с каким оглядывают проходящего рядом незнакомого зверя. Едва ли синий комбинезон партийца видят на подобных улицах часто. На самом деле заявляться в кварталы пролов по собственной инициативе неразумно. Нарвешься на патруль, придется отвечать на вопросы. «Будьте добры предъявить свои документы, товарищ. Что вы здесь делаете? Когда вышли с работы? Вы всегда идете домой этой дорогой?» – и так далее, и тому подобное. Ходить по непривычному маршруту не возбраняется, но полицию помыслов это точно насторожит.

Внезапно улица пришла в смятение. Со всех сторон раздались крики предостережения. Люди ныряли в дверные проемы, словно кролики. Чуть впереди Уинстона молодая мать выскочила из дома, выхватила из лужи малыша, обернула передником и тут же шмыгнула обратно. Из боковой улочки выбежал человек в мятом, будто жеваном, костюме и кинулся к Уинстону, встревоженно тыча в небо.

– Паровик! – заорал он. – Хоронись, начальник! Бабах сверху! Ложись!

Паровиками пролы почему-то называли ракетные боеголовки. Уинстон поспешно упал ничком. Пролы в таких делах редко ошибаются. У них какое-то особое чутье, которое срабатывает за несколько секунд до удара, хотя ракеты ле-

тят быстрее звука. Уинстон накрыл голову руками. От взрыва содрогнулся тротуар, на спину дождем посыпался легкий мусор. Поднявшись, он обнаружил на одежде осколки ближайшего окна.

Уинстон пошел дальше. Ракета разворотила несколько домов метрах в двухстах впереди. В небе висел столб черного дыма, в клубах пыли возле развалин собиралась толпа. Тротуар завалила куча штукатурки с ярко-красным пятном посередине. Подойдя ближе, Уинстон разглядел на куче оторванную человеческую кисть. Если не считать окровавленного среза, побелевшая рука выглядела словно гипсовый слепок. Отшвырнув обрубок ногой в канаву, Уинстон свернул направо, чтобы разминуться с толпой.

Через три-четыре минуты он вышел из района падения ракеты, за пределами которого убогая жизнь трущоб кишела как ни в чем не бывало. Время приближалось к двадцати часам, и питейные заведения для пролов (те называли их пабами) ломались от посетителей. Грязные двухстворчатые двери беспрестанно открывались и закрывались, изнутри несло мочой, древесными опилками и кислым пивом. В углу возле выступающей стены сгрудились три прола: тот, что в центре, держал сложенную газету, а двое других заглядывали ему через плечо. Издалека лиц не разобрать, зато позы выражали полную сосредоточенность. Казалось, пролы обсуждали какую-то очень важную новость. Когда Уинстону оставалось до них несколько шагов, троица внезапно разделилась, и двое

принялись яростно спорить, того и гляди пустят в ход кулаки.

– Совсем оглох? Говорю же, за четырнадцать месяцев ни один номер с семеркой на конце не выигрывал!

– А вот и нет!

– А вот и да! Дома у меня есть бумажка с номерами за два года! Говорю же, ни один номер с семеркой...

– Семерка выигрывала! Я тот чертов номер помню почти наизусть! Заканчивается на четыре-ноль-семь. В феврале то было, вторая неделя февраля.

– Да иди ты со своим февралем знаешь куда! У меня все черным по белому записано. Говорю же, ни один номер...

– Заглохли! – прикрикнул третий.

Обсуждалась Лотерея. Пройдя метров тридцать, Уинстон обернулся. Пролы все еще увлеченно спорили. Похоже, еженедельная Лотерея с ее огромными выигрышами была единственным общественным событием, живо интересовавшим пролов. Миллионы их только ею и живут: для кого услада, для кого страсть, для кого средство от всех скорбей и болезней. Даже те, кто едва способен читать и писать, блистают сложнейшими расчетами и феноменальной памятью во всем, что касается Лотереи. Продажами всевозможных систем, прогнозов и талисманов промышляет целая группировка. Уинстон не имел к Лотерее никакого отношения: ею занималось министерство благополучия – просто ему было известно (на деле про то осведомлены были все в Партии),

что выигрыши по большей части мнимые. Выплачиваются только мизерные суммы, а обладатели крупных призов – лица вымышленные. В отсутствие сообщения между разными частями Океании устроить это нетрудно.

Но если и есть надежда, то она в пролах. Этой истины и будем придерживаться. Облеченная в слова, она звучит вполне разумно, когда видишь людей, спешащих мимо по тротуару, она становится испытанием веры. Улица, на которую Уинстон свернул, пошла под уклон. Район выглядел смутно знакомым, неподалеку вроде бы находилась внутригородская магистраль. Впереди раздался гомон голосов. Крутой поворот, и лестница вывела в проулок, где лавочники торговали привядшими овощами. Уинстон понял, куда забрел: проулок ведет на магистраль, за следующим поворотом, минутах в пяти ходьбы, та самая лавка старьевщика, где он купил книгу с пустыми листами для дневника. Чуть поодаль находится писчебумажный магазинчик, где он приобрел ручку и чернила.

На верхней ступеньке Уинстон помедлил. В дальнем конце проулка притулился захудалый маленький паб с как бы заиндевевшими (на самом деле просто заросшими пылью) окнами. Глубокий старик с усами, как у таракана, скрюченный, но весьма бодрый, толкнул двойные двери и вошел внутрь. Уинстону пришло в голову, что ему лет восемьдесят, значит, Революцию встретил уже немолодым, он и его сверстники – последняя связь с исчезнувшим миром капитализ-

ма. В самой Партии осталось мало тех, чьи взгляды сложились до Революции. Старшее поколение по большей части кануло в массовых чистках пятидесятых и шестидесятых, а немногие уцелевшие запуганы до такой степени, что полностью отступились от прежних взглядов. Если кто из ныне живущих и способен рассказать правду об условиях жизни в начале века, так это прол. Внезапно Уинстону вспомнился фрагмент из школьного учебника истории, который он переписал в дневник, и у него возникла безумная идея. Нужно отправиться в паб, познакомиться с тем стариком и расспросить его хорошенько: «Расскажите о своем детстве. Как вам тогда жилось? Лучше или хуже, чем сейчас?»

Торопливо, боясь передумать, он спустился по ступеням и пересек узкую улочку. Чистое безумие! Как водится, никакого прямого запрета на посещение пабов и разговоры с пролами не существовало, но за такое сумасбродство наверняка придется ответить. Если нагрянет патруль, можно сослаться на внезапную слабость, хотя вряд ли ему поверят. Уинстон толкнул двери, и в лицо ударила вонь кислого пива. Когда он вошел, гомон голосов снизился примерно вполовину. Все воззрились на синий комбинезон партийца. Игра в дартс в конце паба замерла секунд на тридцать. Старик, за кем следовал Уинстон, стоял у стойки, препираясь с барменом, дородным, упитанным молодым человеком с крючковатым носом и могучими ручищами. Вокруг толпились посетители со стаканами в руках, наблюдая за происходящим.

– Я ж с тобой вполне вежливо, по-людски, – недовольно бурчал старик, воинственно расправляя плечи. – А ты, кровосос, мне про то, что во всей твоей клятой забегаловке не сыщется кружка в пинту?

– Что, черт, за название такое пинта? – подался вперед бармен, упершись пальцами в стойку.

– Ишь ты! Бармен называется, а что такое пинта – не знает. Пинта – это полкварты, четыре кварта – галлон. Мож, тебя еще и алфавиту придется учить?

– Никогда не слыхал о таком, – отрезал бармен. – Литр и пол-литра, мы только в таких подаем. Стаканы на полке прямо перед вами.

– Хочу пинту! Мог бы и нацедить старику. В мое время никаких клятых литров и помину не было.

– В ваше время, папаша, все жили на деревьях, – заявил бармен, бросив взгляд на посетителей.

Те взревели от смеха, и неловкость, вызванная приходом Уинстона, вроде бы исчезла. Усатый старик побагровел. Он отвернулся, бормоча себе под нос, и врезался в Уинстона. Тот бережно взял его под руку.

– Позвольте вас угостить, – предложил он.

– Уважь! – обрадовался тот, расправив плечи. Внимания на синий комбинезон Уинстона он, похоже, не обратил. И сварливо добавил: – Пинту! Пинту эля.

Бармен подхватил два пол-литровых бокала, ополоснул в ведре под стойкой и налил темного пива. В пабах пролов не

подавали ничего, кроме пива. Джин им не положен, хотя при желании его можно раздобыть. Игра в дартс возобновилась, компания у стойки заговорила про лотерейные билеты. Об Уинстоне ненадолго забыли. Заметив у окна свободный стол из сосновых досок, он решил расспросить старика там. Конечно, затея ужасно опасная, но телеэкранов в зале нет, Уинстон убедился в том сразу, едва вошел.

– Мог бы и пинту мне поставить, – проворчал старик, устраиваясь с бокалом. – Пол-литра маловато, не напиваешься. А целый литр слишком много, потом не набегаешься. Не говоря уж про цену.

– Со времен вашей молодости многое, должно быть, изменилось, – осторожно начал Уинстон.

Взгляд бледно-голубых глаз прошелся от мишени для дартс к стойке, от нее к двери туалета, словно старик ожидал увидеть перемены прямо в пабе.

– Пиво было лучше, – наконец проговорил он. – И дешевле! Я когда молодым был, мягкое пиво... – мы его крепышом звали – было по четыре пенса за пинту. Это до войны, конечно.

– До какой войны? – спросил Уинстон.

– До всех войн, – уклончиво ответил старик. Он поднял бокал и снова распрямил плечи. – Ну, твое здоровье!

Заостренный кадык на тощем горле на удивление шустро заходил вверх-вниз, и пиво исчезло. Уинстон сбегал к стойке и вернулся еще с двумя бокалами. Похоже, старик забыл о

своём преудубеждении против целого литра.

– Вы намного меня старше, – заговорил Уинстон. – Наверное, стали взрослым задолго до моего рождения и помните, каково жилось в старину, до Революции. Мои сверстники знают о тех временах только из книг, но правду ли там пишут? Хотел бы узнать ваше мнение. В учебниках по истории говорится, что жизнь до Революции была совершенно другой. Страшная, невообразимая бедность, несправедливость, угнетение. В Лондоне огромные массы людей голодали с рождения до смерти, половина из них ходила босиком. Работали по двенадцать часов в день, в девять лет бросали школу, спали по десять человек в комнате. А вместе с тем очень немногие, всего несколько тысяч – их капиталистами звали, – жили богато и владели всем чем можно. Занимали роскошные дома с тридцатью слугами, разъезжали на автомобилях и в запряженных четверкой лошадей каретах, пили шампанское, носили цилиндры...

Старик внезапно оживился.

– Цилиндры! – воскликнул он. – Забавно, что ты про них вспомнил. Я вчера же тоже... невесть почему. Подумалось, уж сколько лет их не видать! Пропали прям. Я последний раз такой надевал на похоронах невестки. Когда точно, не скажу, лет пятьдесят тому. Не свой, ты ж понимаешь, напрокат брал для церемонии.

– Дело вовсе не в цилиндрах, – терпеливо сказал Уинстон. – Эти капиталисты вместе со своими адвокатами, ду-

ховенством и прочими, кто при них кормился, владели всем миром. Все существовало только ради их блага. Вы, обычные люди, рабочие, были их рабами. Они могли делать с вами все что угодно. Могли отправить в Канаду как скот, могли спать с вашими дочерьми, могли приказать выпороть вас плетками-девятихвостками. Перед ними приходилось снимать шапку. Каждый капиталист разгуливал с оравой лакеев, которые...

Старик снова встрепенулся.

– Лакеи! – воскликнул он. – Давненько не слышал! Лакеи! Помню-помню! Черт знает сколько лет назад... В общем, по воскресеньям я хаживал в Гайд-парк речи послушать. Армия спасения, римские католики, евреи, индусы – кого туда только не заносило. И вот один парень... имени не скажу, но как говорил – заслушаешься! Спуску им не давал. Лакеи, кричал он, лакеи буржуазии! Холуи правящего класса! Паразиты! Как только не костерил. И гиены! Точно, гиенами тоже называл. Само собой, это про партию лейбористов, ты ж понимаешь.

Уинстона не покидало ощущение, что говорят они о разном.

– Меня интересует другое, – сказал он. – Свободнее ли вам живется, чем тогда? С вами лучше обращаются? В прежние времена богачи, правящая верхушка...

– Палата лордов, – задумчиво пробурчал старик.

– Ну да, она самая, если угодно. Я вот о чем: с вами об-

ращались свысока просто потому, что они богатые, а вы бедный? К примеру, правда ли, что капиталистов надо было называть сэрами и снимать перед ними кепку?

Старик крепко задумался и отпил четверть бокала.

– Да, – ответил он. – Им нравилось, когда ты честь отдавал. Знак уважения как бы. Сам-то я был против, но тоже так делал. Приходилось, ты ж понимаешь.

– А считалось ли в порядке вещей... я сам прочел в учебнике истории... часто ли богачи и их слуги сталкивали вас с тротуара в канаву?

– Разок было дело, – кивнул старик. – Помню как вчера! В вечер Лодочной гонки... любили они покуражиться после гонки... столкнулся я с одним таким на Шафтсбери-авеню. Настоящий джентльмен: сорочка парадная, цилиндр, черное пальто. Идет, вишь, зигзагами, ну, я в него ненароком и врезаюсь. Орет мне: не видишь, куда прешь? А я ему: думаешь, весь клятый тротуар купил? Он мне: не дерзи, не то башку откручу. А я ему: ты пьяный, щас полиции тебя сдам! Хотите верьте, хотите нет, хватает он меня за грудки и толкает чуть ли не под автобус. Ну а я-то тогда молодой был, уж и навешал бы ему, если б...

Уинстон беспомощно сник. Память старика – просто груда хлама. Хоть целый день расспрашивай, толку никакого. История Партии может быть правдой отчасти, а может и целиком. Он сделал последнюю попытку:

– Видимо, я неясно выразился. Вот что я хочу сказать: вы

живете очень давно, половина жизни прошла до Революции. К примеру, в тысяча девятьсот двадцать пятом вы уже были взрослым. Вам как помнится, в двадцать пятом жилось лучше или хуже? Если выбирать, вы когда хотели бы жить, тогда или сейчас?

Старик, задумчиво глядя на мишень, медленно осушил бокал. Заговорил он философски снисходительно, словно смягчился от пива:

– Знаю, чего ты ждешь. Мол, скажу, что обратно хочу молодым стать. Многие так и скажут. В молодости и здоровья хватает, и сил. Как до моих-то лет добираться, уж никакого здоровья нет. Ноги еле ходят, мочевой пузырь замучил. За ночь по шесть-семь раз встаю. Обратно же, старику свои радости! Никаких тех забот. Никаких баб не надо, а это великое дело. Я с бабой уж лет тридцать не путался, поверишь? Того больше – и желания не было.

Уинстон откинулся к подоконнику. Продолжать не имело смысла. Он собрался взять еще пива, и вдруг старик поднялся и поспешно зашаркал к пропахшей мочой части паба. Лишние пол-литра дали о себе знать. Уинстон посидел, глядя в пустой стакан, и едва заметил, как ноги снова вынесли его на улицу. Лет через двадцать на простой вопрос: «Как жилось до Революции?» – не сможет ответить никто. По сути, на этот вопрос уже некому отвечать: немногие уцелевшие с тех времен не способны сравнить две эпохи. Помнится миллион ненужных вещей: ссора с напарником, поиски

потерянного велосипедного насоса, выражение лица давно умершей сестры, клубы пыли ветреным утром семьдесят лет назад, – зато все главные факты из поля зрения выпадают. Когда откажет память, а письменные свидетельства заменят подделками, когда это произойдет, то все поверят Партии, что условия жизни улучшились, ведь будет не с чем сравнивать...

Внезапно ход мыслей Уинстона резко оборвался. Он остановился и поднял взгляд. Узкая улица с темными магазинчиками среди жилых домов, прямо над головой – облезлые металлические шары, некогда позолоченные. Знакомое место. Ну конечно! Уинстон стоял возле лавки старьевщика, где купил свой дневник.

Его охватил страх. После той опрометчивой покупки он дал себе слово никогда не возвращаться в лавку. И все же стоило впасть в раздумья, как ноги сами принесли его сюда. Дневник Уинстон завел как раз для того, чтобы избавиться от подобных самоубийственных порывов. Тем не менее заметил, что, несмотря на поздний час – было около двадцати ноль-ноль, – лавка открыта. Чем маячить перед входом, лучше зайти внутрь, рассудил Уинстон. Если спросят, скажет, что искал бритвенные лезвия.

Хозяин лавки подвесил зажженную керосиновую лампу, от которой исходил резкий, но какой-то мирный запах. Книжнику было лет шестьдесят, тело хрупкое и сутулое, нос длинный и крупный, искаженные толстыми линзами очков

глаза смотрели ободряюще. Волосы почти седые, зато брови густые и черные. Очки, спокойные хлопотливые движения, потертый пиджак из черного бархата придавали ему интеллигентный вид: то ли литератор, то ли музыкант. Голос его звучал мягко, словно вылинял, и выговор не так резал ухо, как у большинства пролов.

– Я узнал вас еще на тротуаре! Вы тот джентльмен, который купил альбом для девушек. Бумага там красивая, конечно. Ее называли «верже сливочного цвета». Такой больше не делают – сколько? – лет пятьдесят, пожалуй. – Он посмотрел на Уинстона поверх очков. – Ищите что-нибудь особенное или просто поглядеть зашли?

– Мимо проходил, – неохотно признался Уинстон. – Ничего конкретного я не ищу.

– Вот и хорошо, – сказал хозяин, – потому что предложить мне нечего. – Он виновато развел руками. – Сами видите, в лавке хоть шаром покати. Между нами говоря, торговля антиквариатом умирает. Спроса нет, предложения тоже. С годами мебель поломалась, фарфор и стекло разбились. Металлические изделия по большей части пошли в переплавку. Латунных подсвечников я не видел уже много лет.

Крохотную лавку и впрямь загромождал старый хлам, ничего мало-мальски ценного. Всю полезную площадь вдоль стен занимали пыльные рамы для картин, на окне стояли лотки с гайками и болтами, сточенными стамесками, перочинными ножиками со сломанными лезвиями, потускнев-

шими наручными часами, даже не пытавшимися прикинуть-ся исправными, и прочим старьем. Лишь столик был отведен под более стоящие: лакированные табакерки, агатовые брошки и тому подобную мелочь, – среди которых могло отыскаться что-то интересное. Уинстон заметил какую-то гладкую штуку, нежно мерцавшую при свете лампы, и взял в руки.

Это был тяжелый кусок стекла – округлый с одной стороны и плоский с другой, образующий полусферу. И в цвете, и в фактуре присутствовала необычайная мягкость, свойственная дождевой воде. В середине находился какой-то причудливый розовый завиток, напоминающий розу или актинию.

– Что это? – восхищенно спросил Уинстон.

– Коралл, – ответил старик. – Должно быть, с Индийского океана. Раньше их заливали прозрачным стеклом. Изготовлено не менее ста лет назад или даже больше, судя по виду.

– Красивая вещица, – проговорил Уинстон.

– Красивая, – одобительно кивнул старик. – Сегодня это мало кто ценит. – Он прочистил горло. – Что ж, могу уступить за четыре доллара. Помню, когда-то за подобную вещицу давали восемь фунтов – сколько это не скажу, но очень много. Впрочем, кому сейчас нужны подлинные старинные диковинки?

Уинстон немедленно отсчитал деньги и сунул заветную вещицу в карман. Его привлекла не столько ее красота,

сколько возможность обладать предметом из совершенно другой эпохи. Гладкое, похожее на дождевую воду стекло разительно отличалось от нынешнего. Особое очарование таилось в полной бесполезности этой безделушки, хотя судя по весу, ее использовали в качестве пресс-папье. Карман она оттягивала сильно, зато почти не выпирала. При встрече с патрулем подобный предмет мог и скомпрометировать: все старое и тем более красивое неизменно вызывало подозрения.

Получив четыре доллара, старик заметно оживился. Уинстон понял, что мог бы сторговать вещь за три, а то и за два доллара.

– Не желаете взглянуть на комнату наверху? – предложил хозяин. – Вещей там немного, конечно. Если пойдем, понадобится свет.

Он зажег еще одну лампу, медленно поднялся по крутым стершимся ступенькам, прошел по короткому коридорчику и открыл дверь в комнату, выходящую окнами не на улицу, а на мощный булыжником двор и лес дымоходных труб. Расставленная мебель придавала комнате жилой вид. На полу лежала ковровая дорожка, на стенах висела пара картин, у камина стояло глубокое, потрепанное кресло. На полочке над ним тикали старинные часы с циферблатом на двенадцать цифр. Почти четверть комнаты занимала огромная кровать с голым матрасом.

– Мы тут жили, пока жена не умерла, – сообщил старик,

как бы извиняясь. – Сейчас я понемногу распродаю мебель. Прекрасная кровать из красного дерева, только бы клопов вывести... Хотя вы, наверное, сочтете ее излишне громоздкой.

Он держал лампу высоко, освещая всю комнату, и в теплом тусклом свете она выглядела на удивление уютно. У Уинстона мелькнула шальная мысль, что ее можно снять всего за несколько долларов в неделю. Идея, конечно, дикая, но комната пробудила в нем чувство ностальгии, что-то вроде памяти предков. Он легко представил, каково это: сидеть в кресле у открытого огня, закинув ноги на каминную решетку, и ждать, пока закипит чайник; совершенно один, в полной безопасности, без лишних глаз и приказов с телеэкрана, без лишних звуков, кроме пения чайника и мирного тиканья часов.

– Здесь нет телеэкрана! – невольно вырвалось у него.

– Ну да, – кивнул старик, – и не было никогда. Слишком дорого. Да и зачем он мне? Поглядите-ка лучше на тот славный складной столик в углу! Конечно, если надумаете использовать откидные доски, петли надо бы заменить.

В другом углу стоял маленький книжный шкаф, к которому Уинстона неодолимо влекло. Увы, сплошной хлам. В свое время книги методично выискивали и уничтожали, и эти рейды проделали в кварталах пролов такие же бреши, как и везде. Вряд ли во всей Океании уцелела хоть одна книга, изданная до шестидесятого года. Старик поднес лампу к

картине в палисандровой раме, висевшей сбоку от камина, напротив кровати.

– Если вас интересуют старинные гравюры... – ненавязчиво начал он.

Уинстон подошел к репродукции. Это была гравировка на стали: впереди овальное здание с прямоугольными окнами и маленькой башенкой, на заднем плане – ограда и статуя. Уинстон задержал взгляд. Вроде бы место знакомое, только статуи он не помнил.

– Рама прикручена к стене, – сказал старик. – Если хотите, могу и снять.

– Я знаю это здание, – наконец проговорил Уинстон. – От него остались одни руины. В середине улицы возле Дворца правосудия.

– Верно. Неподалеку от Королевского суда. Его разбомбили много лет назад. Когда-то там была церковь Святого Климента Датского. – Старик виновато улыбнулся, словно сказал нелепость, и добавил: – Динь-дон, апельсины и лимон, с колокольни гудит Сент-Клемент...

– Как-как? – удивился Уинстон.

– Ах, это... Был такой стишок в моем детстве. Дальше не помню, только концовку: «Вот свечка, на пути в кроватку светить, а вот и палач идет – тебе головку с плеч рубить!» Мы под это танцевали. Дети поднимают руки над головой, ты идешь между ними, а на словах «вот и палач» они тебя хватают. В середине стишка просто перечисляются названия

церквей Лондона – не всех, только самых главных.

Уинстон задумался, в каком веке могли построить ту церковь. Определить возраст лондонских строений непросто. Все крупные и величественные, если выглядят более-менее современно, автоматически считаются построенными после Революции, а древние на вид относят к неведомому периоду под названием Средневековье. Якобы за время существования капитализма люди не добились ничего. Изучать историю по архитектуре ничуть не легче, чем по книгам. Статуи, надписи, мемориальные плиты, названия улиц – все, что могло бы пролить свет на прошлое, целенаправленно переделывают.

– Не знал, что это церковь, – сказал Уинстон.

– На самом деле их осталось много, хотя им нашли другое применение. Так вот, детский стишок... как там дальше? Вспомнил!

Динь-дон, апельсины и лимон,  
С колокольни гудит Сент-Клемент.  
За тобой три фартинга,  
В ответ бряцает Сент-Мартин...

Больше не помню. Фартингом называли мелкую монетку, вроде нашего цента.

– А где был Сент-Мартин? – спросил Уинстон.

– Да он и сейчас стоит. Это на площади Победы, рядом с картинной галереей. Здание с треугольным крыльцом и ко-

лоннами, там еще много-много ступенек.

Уинстон прекрасно знал это место. Там находился Музей пропаганды, в котором выставляли модели ракет и плавучих крепостей, устраивали сцены из восковых фигур, изображавших зверства врага, и тому подобное.

– Раньше ее называли церковь Святого Мартина, что в полях, – добавил старик, – хотя никаких полей вокруг я не припоминаю.

Покупать картину Уинстон не стал. Слишком несуразное приобретение, к тому же домой ее нести нельзя, разве что из рамы вынуть. Он задержался еще немного и поболтал со стариком, которого звали вовсе не Викс (как значилось на вывеске лавки), а Чаррингтон. Мистер Чаррингтон, как выяснилось, был вдовцом шестидесяти трех лет и жил здесь уже три десятилетия. За минувшие годы он так и не удосужился поменять вывеску, хотя и собирался. Во время разговора Уинстон крутил в голове полузабытый стишок:

Динь-дон, апельсины и лимон,  
С колокольни гудит Сент-Клемент.  
За тобой три фартинга,  
В ответ бряцает Сент-Мартин...

Удивительно, произносишь строчки про себя и слышишь звон колоколов забытого Лондона минувших дней, который все еще существует где-то, только его так просто не узнать. Казалось, одна призрачная колокольня вступает вслед за

другой. Насколько Уинстон помнил, слышать церковные колокола ему не доводилось ни разу.

Уинстон попрощался с мистером Чаррингтоном наверху и спустился по лестнице один, чтобы старик не увидел, как он оглядывает улицу, прежде чем выйти. Он уже решил, что после долгого перерыва, скажем, через месяц, рискнет заглянуть сюда еще раз. Пожалуй, это ничуть не опаснее, чем прогуливать вечера во Дворце культуры. После покупки дневника ему вообще не следовало бы сюда возвращаться, к тому же он не знал, можно ли доверять хозяину лавки. И все-таки...

Да, подумал Уинстон, вернусь. Он будет и дальше покупать всякое чудное старье, возьмет гравюру Сент-Клемента, вынет из рамы и отнесет домой, спрятав на груди. Вытащит из памяти мистера Чаррингтона весь стишок. Даже безумная идея снять комнату над лавкой больше не казалась такой уж опасной. От восторга Уинстон совсем потерял осторожность и шагнул на тротуар, не выглянув в окно. Он принялся напевать под нос стишок, положив его на сочиненную им самим мелодию:

Динь-дон, апельсины и лимон,  
С колокольни гудит Сент-Клемент.  
За тобой три фартинга,  
В ответ бряцает...

Внезапно сердце его превратилось в ледышку, живот

скрутило. Метрах в десяти он заметил фигуру в синем комбинезоне. Та самая девушка из департамента беллетристики – с темными волосами! Смеркалось, но Уинстон сразу ее узнал. Она посмотрела ему прямо в глаза и быстро прошла мимо как ни в чем не бывало.

Уинстон буквально остолбенел. Наконец кое-как взял себя в руки, свернул вправо и побрел прочь, хотя дом находился в другой стороне. Во всяком случае, один вопрос разрешился. Девушка явно за ним следит. Наверное, кралась от самой работы, иначе что ей делать тем же вечером на той же маленькой улочке вдали от партийных кварталов? Таких совпадений не бывает! Какая разница, служит она в полиции помыслов или просто проявляет похвальную бдительность, выслуживаясь перед Партией... Довольно и того, что она за ним следит. Наверное, и у паба его видела.

Идти было трудно. При каждом шаге о бедро бился лежавший в кармане кусок стекла, и Уинстона так и подмывало закинуть его подальше. Особенно мучил живот... Через пару минут Уинстон понял, что умрет, если не добежит до туалета, но в таких районах общественных уборных нет. Наконец спазм прошел, оставив после себя тупую боль.

Улица уперлась в тупик. Уинстон постоял, размышляя, куда податься, и повернул обратно. Внезапно он сообразил, что девушка прошла мимо него минуты три назад, бегом ее еще можно было бы догнать, а потом в укромном местечке размозжить череп булыжником. В принципе, сгодился бы и

кусок стекла, что в кармане... Но он тут же отказался от этой затеи: сама мысль о физическом усилии была невыносима. Сил не осталось ни бежать, ни бить. К тому же девушка молодая и крепкая, значит, способна за себя постоять. Еще он подумал, не поспешить ли ему в ДК, чтоб просидеть до закрытия и получить хотя бы частичное алиби на вечер. Нет, тоже невозможно. Нужно поскорее добраться домой, сесть и успокоиться.

К себе Уинстон вернулся в двадцать два с чем-то. До того как погасят свет, оставалось часа полтора. Он отправился на кухню и залпом проглотил почти полную чашку джина «Победа». Затем сел за стол в нише, вынул из ящика дневник, но открывать не стал. С телеэкрана мерзкий женский голос верещал патриотическую песню. Уинстон посмотрел на мрачную обложку альбома, безуспешно пытаясь не обращать внимания на мерзкие звуки.

Приходят всегда в ночи. Разумнее всего заранее покончить с собой. Несомненно, некоторые так и поступают. Многие исчезнувшие на самом деле совершили самоубийство. Чтобы убить себя в мире, где оружия или надежного яда не достать, надо обладать отчаянным мужеством. Просто удивительно, насколько бесполезны с биологической точки зрения боль и страх, ведь предательское тело всегда впадает в оцепенение именно в тот момент, когда требуется приложить особые усилия. Действуй Уинстон быстро, так мог бы заставить темноволосую замолчать навсегда, но в том-то и

проблема: перед лицом опасности он утратил способность действовать. Как ни странно, в критический момент приходится сражаться вовсе не с внешним врагом, а с собственным телом. Даже сейчас, несмотря на джин, тупая боль в животе мешала Уинстону мыслить ясно. Видимо, такое происходит при всех подвигах или трагедиях. На поле битвы, в камере пыток, на тонущем корабле забываешь, за что борешься, тело раздается до тех пор, пока не заполнит собой вселенную, и даже если ты не парализован страхом и не кричишь от боли, то жизнь сводится к ежеминутной борьбе с голодом, холодом или бессонницей, с изжогой или ноющим зубом.

Уинстон открыл дневник. Необходимо записать хоть что-нибудь. Женщина на телеэкране затянула новую песню: ее голос терзал мозг, словно зазубренный осколок стекла. Уинстон настраивался думать об О'Брайене, кому предназначался дневник, но вместо этого воображал, что произойдет, когда до него доберется полиция помыслов. Хорошо, если убьют сразу. Смерть неизбежна, хотя прежде (вслух такое не обсуждали, просто знали – и все) тебе предстоит следственная рутинная ползание по полу, вопить о пощаде, слышать треск сломанных костей, зубы выплевывать, слипшиеся от крови волосы бояться тронуть...

Зачем терпеть, если конец один? Почему нельзя вычеркнуть из жизни несколько дней или недель? От разоблачения не ушел никто, признались все до единого. Помыслокриминал равносителен смертному приговору. Тогда к чему этот

ужас, который ничего не меняет?

Уинстон снова попытался вызвать в памяти образ О'Брайена, и ему почти удалось. «Мы встретимся там, где нет темноты», – пообещал однажды О'Брайен. Уинстон знал, что это означает, или так ему казалось. Там, где нет темноты – воображаемое будущее, которое человеку увидеть не дано, зато в него можно верить и чувствовать свою причастность. Увы, бьющий по ушам голос с телеэкрана оборвал поток мыслей. Уинстон сунул в рот папиросу. На язык тут же высыпалась половина табака, горькая пыль, едва отплюешься. Образ О'Брайена вытеснил Большой Брат. Уинстон вынул из кармана монетку и принялся разглядывать, как и несколько дней назад. Чеканное лицо взирало на него тяжелым, спокойным, мудрым взглядом, а вот что за улыбка пряталась в темных усах? И тут свинцовым погребальным звоном его настигли слова:

ВОЙНА ЕСТЬ МИР  
СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО  
НЕЗНАНИЕ ЕСТЬ СИЛА

# Часть вторая

## I

В середине утра Уинстон покинул рабочее место, чтобы сходить в туалет.

По длинному, ярко освещенному коридору навстречу двигалась одинокая фигурка, та самая темноволосая девушка. С их случайной встречи возле лавки старьевщика прошло четыре дня. Девушка подошла ближе, и Уинстон увидел, что ее правую руку держит перевязь того же цвета, что и комбинезон. Вероятно, поранилась, вращая огромный калейдоскоп для набора романтных сюжетов. В департаменте belle-tristitiki такие травмы происходили часто.

Не дойдя до него метра четыре, девушка споткнулась и упала ничком. Громко вскрикнула от боли, похоже, задела раненую руку. Уинстон резко остановился. Девушка поднялась на колени. Лицо ее сделалось молочно-желтым, на его фоне губы казались алыми. В умоляющем взгляде, устремленном на Уинстона, читался скорее страх, нежели боль.

В сердце Уинстона шевельнулось странное чувство. Вот перед ним враг, кто пытается его убить... и в то же время перед ним стоявшее на четвереньках человеческое существо, страдающее от боли. Он непроизвольно метнулся ей

навстречу, чтобы помочь. Когда девушка упала на перевязанную руку, он ощутил ее боль как свою.

– Сильно ушиблись? – спросил.

– Ерунда, руку задела. Сейчас пройдет!

Девушку била дрожь непонятного волнения, лицо ее заливала бледность.

– Ничего не сломали?

– Нет, просто больно.

Она протянула Уинстону другую руку, и он помог ей подняться. Бледность почти сошла: девушке явно полегчало.

– Ерунда, – повторила она. – Задела больное запястье. Спасибо, товарищ!

И девушка вновь зашагала по коридору как ни в чем не бывало. Все заняло с полминуты, не больше. Привычка не выказывать чувств превратилась почти в инстинкт, к тому же девушку угораздило споткнуться прямо перед телеэкраном. Тем не менее Уинстону едва удалось скрыть удивление: за те пару-тройку секунд, пока их руки соприкасались, незнакомка умудрилась что-то сунуть ему в ладонь. Вне всякого сомнения, сделала она это нарочно. Заходя в туалетную комнату, он сунул полученное в карман и ощупал: клочок бумаги, сложенный вчетверо.

Пока Уинстон стоял у писсуара, ему удалось развернуть листок. Очевидно, послание. Войти в кабинку и поскорее прочитать, что там написано, было бы ужасной ошибкой: наблюдение за трансляцией из туалетов велось особенно тща-

тельно.

Он вернулся за рабочий стол, сел и небрежно бросил записку среди других бумаг, надел очки и придвинул ближе речеписец. «Пять минут, – велел себе Уинстон, – хотя бы пять минут!» Сердце оглушительно стучало в груди. К счастью, сейчас он трудился над длинным перечнем цифр, который особого внимания не требовал.

Записка наверняка политического содержания. Насколько Уинстон мог судить, вариантов всего два. Первый, наиболее вероятный: девушка – агент полиции помыслов, как он и опасался. Непонятно, почему полиция помыслов решила доставить послание подобным образом, но на то наверняка имелись свои причины. Значит, в записке либо угрозы, либо требование явиться к ним лично, либо приказ покончить с собой, либо же это ловушка. Впрочем, могла быть и другая возможность, которая не давала ему покоя: послание исходит не от полиции помыслов, а от подпольной организации. Вдруг Братство действительно существует? Вдруг девушка в нем состоит? Мысль, несомненно, абсурдная, и все же она пришла Уинстону в голову, едва бумажка легла ему в ладонь. Другое объяснение, куда более вероятное, появилось у него лишь пару минут спустя. И теперь, хотя разум говорил, что послание наверняка означает смерть, Уинстон продолжал надеяться, несмотря ни на что. Сердце колотилось как бешеное, и ему едва удавалось сдерживать дрожь в голосе, когда он диктовал новые данные в речеписец.

Уинстон скатал законченный фрагмент в трубочку и сунул в пневмопочту. Прошло восемь минут. Он поправил очки на носу, вздохнул и подвинул к себе следующее поручение, поверх которого лежал клочок бумаги. Развернув записку, написанную крупными печатными буквами, он прочел:

Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.

Уинстон так опешил, что не сразу сообразил бросить компромат в дыру памяти. Он прекрасно знал, как опасно проявлять чрезмерный интерес, и все ж перечитал записку еще раз, чтобы убедиться.

Остаток утра работалось тяжело. Мало того, что пришла целая серия мелких поручений, которые требовали сосредоточенности, так еще Уинстон едва сдерживал смятение перед телеэкраном. Внутри его бушевало пламя. Обед в душевной, людной, шумной столовой превратился в настоящую пытку. Он надеялся посидеть за едой в одиночестве, но не повезло: рядом плюхнулся придурок Парсонс, чей запах пота почти перешиб резкую вонь тушеного мяса, и принялся без умолку болтать о подготовке к Неделе ненависти. Особенно он распинался о двухметровой голове Большого Брата из папье-маше, что мастерила его дочурка с отрядом Разведчиков. Из-за шума расслышать Парсонса не получалось, и Уинстон постоянно переспрашивал, из-за чего дурацкие фразы сослуживца бесили еще сильнее. Лишь раз удалось мельком увидеть темноволосую: она сидела в дальнем конце столовой с двумя другими девушками и Уинстона как бы не

заметила. Больше смотреть в ту сторону он не осмелился.

Во второй половине дня полегчало. Сразу после обеда прислали необычное и сложное поручение, ради которого пришлось отложить в сторону остальные дела. Требовалось фальсифицировать производственные отчеты двухлетней давности таким образом, чтобы дискредитировать члена Центра Партии, попавшего в опалу. В подобных делах Уинстон изрядно поднаторел, и ему удалось выбросить темноволосую из головы на два с лишним часа. Потом в памяти снова всплыло ее лицо, и его охватило неудержимое желание побыть одному. Такой неожиданный поворот требовалось осмыслить. Сегодня Уинстону предстояло провести вечер в Доме культуры. Он быстро проглотил в столовой безвкусный ужин, затем поспешил в ДК, где принял участие в напыщенной клоунаде под названием «дискуссионная группа», сыграл две партии в настольный теннис, выпил несколько порций джина и просидел полчаса на лекции «Ангсоц применительно к шахматам». Душа его изнывала от скуки, и все же впервые за долгое время Уинстону не захотелось отлынивать от вечера в ДК. Стоило увидеть: «Я тебя люблю», – как в нем вспыхнуло желание выжить, и риск по мелочи потерял смысл. И лишь в двадцать три часа, уже дома, лежа в темноте, которая спасает даже от телеэкрана, если молчишь, Уинстон смог предаться размышлениям.

Перед ним стояла чисто физическая задача: связаться с девушкой и договориться о встрече. Уинстон больше не счи-

тал, что она заманивает его в ловушку. Судя по неподдельному волнению, с каким она вручила записку, это вовсе не так. Вполне очевидно, что незнакомка перепугалась до смерти, чего и следовало ожидать. Мысль пренебречь признанием он даже не рассматривал. Всего пять ночей назад Уинстону хотелось проломить девушке голову камнем, но нынче это не имело значения. Он думал о юном, нагом теле, привидевшемся ему во сне. Раньше он считал ее обычной дурочкой, у кого голова забита ложью и ненавистью, а тело подобно льду. При мысли, что он может ее потерять, что белое, упругое тело от него ускользнет, Уинстона бросило в жар. Лишь бы не передумала! Нужно связаться с ней поскорее! Увы, внешние препятствия выглядели практически непреодолимыми. Как сделать ход, если тебе уже поставили мат? Куда ни повернись, повсюду за тобой следят телеэкраны. На самом деле все возможные способы пришли Уинстону в голову еще при получении записки, но теперь, когда у него появилось время подумать, он перебирал их один за другим, словно хирург инструменты перед операцией.

Разумеется, встреча вроде сегодняшней вряд ли возможна. Работай девушка в департаменте документации, так труда б не составило, однако Уинстон смутно представлял, где расположен департамент беллетристики, и никак не мог придумать подходящий предлог, чтобы туда зайти. Знай он, где она живет и во сколько заканчивает работу, мог бы нагнать ее по пути домой. Пытаться проследить за ней опасно: для

этого придется слоняться возле министерства, и его сразу заметят. Посылать письмо по почте тоже не вариант: вся корреспонденция вскрывается. На самом деле сейчас мало кто пишет письма. Люди пользуются почтовыми открытками с отпечатанными готовыми фразами, где надо вычеркнуть лишние. В любом случае Уинстон не знал имени девушки, не говоря уже об адресе. Наконец он решил, что самое безопасное место – столовая. Если удастся застать ее в одиночестве, где-нибудь в середине зала, не слишком близко к телеэкранам и не в полной тишине, то, если эти условия совпадут хотя бы ненадолго, можно обменяться парой слов.

Всю следующую неделю его жизнь походила на беспокойный сон. Назавтра девушка вошла в столовую перед самым свистком, зовущим к работе. Вероятно, ее перевели в более позднюю смену. Они разошлись, даже не взглянув друг на друга. Через день она появилась в обычное время, но села с тремя коллегами прямо под телеэкраном, потом в течение трех отвратительных дней не приходила вообще. Тело и разум Уинстона стали невыносимо чувствительны, он ощущал себя настолько прозрачным, что каждое движение, звук, взгляд, слово, которое он произносил или слышал, причиняли мучительную боль. Ее образ преследовал его даже во сне. Дневник он совсем забросил. Если Уинстону и удавалось забыть, то лишь в работе, да и то минут на десять. Он понятия не имел, что случилось с незнакомкой. Спросить было не у кого. Она могла испариться, могла покончить с собой,

ее могли перевести в другой конец Океании. Самое худшее и вероятное: она просто передумала и его избегает.

На следующий день темноволосая появилась. Руку больше не держала перевязь, лишь запястье укрывал пластырь. Уинстон испытал такое облегчение, что несколько секунд не мог отвести от нее глаз. На другой день ему почти удалось с ней заговорить. Когда он вошел в столовую, девушка сидела за столом довольно далеко от стены и совсем одна. Обед только начался, свободных мест хватало. Очередь продвигалась вперед, пока Уинстон не дошел почти до кассы, и вдруг застопорилась: кто-то принялся громко возмущаться, что не получил свою таблетку сахара. Девушка все еще сидела одна, когда Уинстон взял свой поднос и двинулся к ней. Он медленно шел, отыскивая свободное место за соседними столами. До цели оставалось метра три. Еще пара секунд и... «Смит!» – окликнули его сзади. Уинстон сделал вид, что не слышит. «Смит!» – опять оклик, уже громче. Увы, пришлось обернуться. Блондин с глуповатым лицом по имени Вилшер, которого он едва знал, с улыбкой указывал на свободное место возле себя. Отказать было бы небезопасно. После того как его узнали, нельзя было подсесть к одиноко сидящей девушке. Слишком заметно. Он опустился рядом с глупо улыбающимся сослуживцем, растянув губы в дружелюбной улыбке. А мысленно рисовал себе, как всаживает кирку прямо в лыбящуюся морду. Через несколько минут все места за столом девушки уже заняли.

Вероятно, она заметила его маневры и намек поняла. На следующий день Уинстон пришел в столовую пораньше. Конечно же, она сидела примерно на том же месте и снова одна! В очереди перед ним стоял юркий, похожий на жучка коротышка с плоским лицом и маленькими пронырливыми глазками. Отойдя от кассы с подносом, Уинстон увидел, как коротышка ринулся напрямик к столу девушки. Надежды вновь рухнули. Дальше по ряду пустовало еще одно место, но что-то в облике настырного недомерка говорило о том, что он предпочтет устроиться с максимальным комфортом за более пустым столом. Сердце Уинстона сковало льдом: пока не застанет ее одну, поговорить им не удастся. Вдруг раздался ужасный грохот. Коротышка упал на четвереньки, поднос отлетел в сторону, по полу растекались суп и кофе. Бросив на Уинстона злобный взгляд, словно это он подставил ему подножку, растяпа поднялся. Впрочем, на том все и кончилось. Уже через пять секунд Уинстон с бухающим в груди сердцем сидел за вожденным столом.

Даже не взглянув на девушку, Уинстон снял тарелки с подноса и приступил к еде. Заговорить следовало немедленно, пока к ним никто не подсел, но Уинстона сковал страх. С тех пор как они столкнулись в коридоре, прошла неделя. Она могла передумать – да что там, наверняка передумала! Подобная авантюра обречена на провал: в реальной жизни так всегда и бывает. Пожалуй, Уинстон уклонился бы от разговора, однако внезапно завидел вдали Эмплфорта, поэта с

волосатыми ушами, который брел по залу в поисках свободного места. Эмплфорт по-своему симпатизировал Уинстону и непременно сел бы рядом, если бы заметил. На все про все оставалась минута, не больше. И Уинстон, и девушка мерно пережевывали пищу – жидкую фасолевую похлебку, смахивающую на суп. Уинстон заговорил тихим шепотом. Они черпали ложками водянистую жижу, не поднимая глаз, и обменивались короткими фразами, произнося их без всякого выражения.

– Когда освободишься?

– В восемнадцать тридцать.

– Где встретимся?

– Площадь Победы, памятник.

– Слишком на виду.

– Сольемся с толпой.

– Условный знак будет?

– Нет. Не подходи, если рядом никого. На меня не смотри, держись поближе, и все.

– Во сколько?

– В девятнадцать ноль-ноль.

– Ладно.

Эмплфорт не заметил Уинстона и сел где-то еще. Больше они не разговаривали и даже не смотрели друг на друга, насколько это вообще возможно для людей за одним столом. Девушка быстро доела свой обед и ушла, а Уинстон остался покурить.

На площади Победы Уинстон появился раньше назначенного времени и бродил кругами у подножия огромной рифленой колонны, которую венчала статуя Большого Брата. Вождь смотрел на юг – туда, где сокрушил евразийские самолеты (несколько лет назад это были востазийские самолеты) в Битве за Авиабазу-1. На улице перед ним стояла конная статуя, изображавшая Оливера Кромвеля. Девушка опаздывала уже на пять минут. Уинстона вновь охватил страх: не придет, наверное, передумала! Он медленно прогулялся по северной части площади и с мрачным удовлетворением опознал бывшую церковь Святого Мартина, чьи колокола некогда пели: «За тобой три фартинга». Потом он заметил у памятника девушку – она читала или делала вид, что читает надпись на плакате вокруг колонны. Пока людей мало, подходить к ней слишком опасно: со всех сторон площадь окружают телеэкраны. Внезапно слева раздался рев голосов и грохот тяжелой техники, набежали толпы людей. Девушка проворно обогнула каменных львов у основания монумента и побежала со всеми. Уинстон последовал за ней. Судя по крикам, мимо везли под конвоем евразийских военнопленных.

Южную сторону площади уже блокировала плотная толпа. Обычно Уинстон избегал мест скопления людей, но сейчас пихался, толкался, лез в самую гущу. Вскоре он очутился на расстоянии вытянутой руки от девушки перед здоровенным пролом и его не менее необъятной женщиной, вероят-

но, женой, которая встала намертво. Уинстон подергался из стороны в сторону и мощным рывком умудрился вклинить-ся между парочкой. Он словно попал в жернова из плоти, грозившие размолоть его в труху, и все же прорвался, лишь слегка вспотев. Он таки пробился к девушке! Они стояли плечом к плечу, глядя прямо перед собой.

По улице медленно двигалась длинная вереница грузовиков, в кузовах которых по углам застыли вооруженные солдаты с каменными лицами. Меж ними сгрудились низенькие желтокожие пленные в потрепанной зеленой униформе. Грустные монголоидные лица безучастно взирали на толпу. При тряске на ухабах раздавался лязг металла: все пленные были скованы кандалами. Глядя мельком на проезжающие мимо грузовики, Уинстон касался плеча и локтя девушки. Ее щека была так близко, что он чувствовал тепло. Она тут же взяла ситуацию в свои руки, как тогда в столовой, и заговорила тем же бесцветным голосом, едва шевеля губами. Тихое бормотание почти заглушало шум толпы и грохот грузовиков.

– Слышишь меня?

– Да.

– Сможешь выбраться в воскресенье?

– Да.

– Тогда запоминай! Поедешь с вокзала Паддингтон...

Девушка расписала ему маршрут с поразительной военной точностью: полчаса на электричке, выйти со станции на-

лево, пройти два километра по дороге до ворот без верхней перекладины, потом по грунтовке через поле, затем по заросшей травой тропинке между кустов, до сухого дерева, покрытого мхом. Такое чувство, что в голове у нее была карта.

– Запомнил? – наконец шепнула она.

– Да.

– Сверни влево, потом вправо и снова влево. Ворота без верхней перекладины.

– Когда?

– Около пятнадцати. Может, придется ждать. Я приду другим путем. Все запомнил?

– Да.

– Теперь скорее уходи!

Этого она могла бы и не говорить, только пока выбраться из толпы им вряд ли удалось бы. Мимо все ехали грузовики, люди продолжали глазеть на пленных. Поначалу раздавались крики и свист (то бушевали члены Партии), потом стихли и они. Преобладало в основном любопытство. На иностранцев, хоть из Евразии, хоть из Востазии, глазели как на невиданных зверей. Жителям Океании доводилось их видеть лишь в качестве военнопленных, да и то мельком. Никто не знал, что случилось с ними дальше. Некоторых за военные преступления вешали на площадях, остальные просто исчезали – скорее всего, в трудовых лагерях. Круглолицых монголоидов сменили более привычные европеоиды – грязные, бородатые, изможденные. Уинстон чувствовал их

взгляды, иногда неожиданно пристальные. Колонна подходила к концу. В последнем грузовике стоял заросший по самые брови старик, привычно скрестив запястья перед собой. Уинстон понял, что пора расходиться, и вдруг почувствовал, как девушка нащупала его руку и слегка сжала.

Вряд ли это длилось более десяти секунд, и все же он успел запомнить ее кисть в мельчайших подробностях. Уинстон ощупал длинные пальцы, ровные ногти, натруженные ладони, гладкую кожу запястья. И тут он спохватился, что не обратил внимания, какого цвета у девушки глаза. Скорее всего, карие, хотя у темноволосых людей встречаются и синие. Но повернуть голову и удостовериться было бы немислимой глупостью. Так они и стояли, тайком держась за руки посреди массы людских тел, глядя прямо перед собой, а вместо глаз девушки на Уинстона из косматых глазниц скорбно взирали глаза старика-военнопленного.

## II

Уинстон шагал по дорожке в пятнах света и тени, ступая в золотые лужицы там, где расступались ветви. Под деревьями слева дикие гиацинты затянули землю синей дымкой. Теплый воздух нежно ласкал кожу. Из глубины леса доносилось воркование вяхирей. Было второе мая...

Он пришел чуть пораньше, трудностей с дорогой не возникло. Судя по всему, девушка имела большой опыт в таких делах, и Уинстон боялся гораздо меньше, чем следовало бы при подобных обстоятельствах. Пожалуй, в выборе надежного места ей можно доверять, хотя на природе расслабляться стоит не больше, чем в Лондоне. Разумеется, на телеэкран здесь не наткнешься, зато могут быть микрофоны, которые способны записывать и распознавать голоса, к тому же путешествовать в одиночку считается подозрительным. Хотя для перемещений менее ста километров штамп в паспорте не нужен, на железнодорожных станциях иногда дежурят патрули, проверяют документы у всех членов Партии и задают каверзные вопросы. Сегодня патрули Уинстону не попались, от станции он шел, сторожась, оглядываясь, убеждаясь в отсутствии слежки. В электричку набилось полно пролов, радовавшихся по-летнему теплой погоде. В деревянном вагоне, где ехал Уинстон, расположилось многочисленное семейство, начиная от беззубой прабабки и кончая месячным

младенцем, которое собралось провести воскресный денек у родни в деревне и, как с готовностью объяснили Уинстону, прикупить на черном рынке немного масла.

Узкая дорожка расширилась, и вскоре Уинстон вышел на петлявшую среди кустов тропу, о которой говорила девушка. Часов у него не было, но по ощущениям до пятнадцати еще оставалось время. Дикие гиацинты росли густым ковром. Он присел и начал собирать цветы, отчасти чтобы скоротать ожидание, отчасти загоревшись странной идеей вручить букет девушке. Он набрал целую охапку и вдохнул тонкий, сладковатый аромат, как вдруг за спиной хрустнул сушчок. Уинстон продолжил неторопливо собирать гиацинты. Либо это девушка, либо за ним все-таки следили. Обернуться значило признать вину, а потому он сорвал еще один цветок и еще. И тут на плечо ему опустилась легкая рука.

Уинстон поднял взгляд. Девушка покачала головой, давая понять, что разговаривать нельзя, раздвинула кусты и зашагала по узкой тропинке прямо в лес. Судя по тому, как привычно она обходила болотистые участки, ей доводилось бывать здесь не раз. Уинстон следовал за ней, все еще сжимая в руках букет. Поначалу он испытал облегчение, но теперь, глядя на ее стройное, сильное тело, на затянутый на бедрах алый пояс, особенно остро ощутил свою неполноценность. Ему казалось, что девушка вот-вот обернется, смерит его взглядом и отвергнет. После лондонской копоты упоительно-свежий воздух и зелень леса ошеломили Уинстона. Уже

по пути со станции, под лучами майского солнца он почувствовал себя грязным и тщедушным, жалким узником четырех стен. Ему пришло в голову, что девушка впервые видит его при свете дня и на просторе. Они подошли к упавшему дереву, о котором она говорила. Девушка перепрыгнула через ствол и раздвинула кусты, стоявшие плотной стеной. За ними оказалась крошечная полянка, поросшая травой и окруженная высокими молодыми деревцами.

– Вот мы и пришли, – произнесла она.

Он стоял к ней лицом на расстоянии нескольких шагов. И все же не смел приблизиться.

– Болтать по дороге я не рискнула, – продолжила она, – вдруг там микрофон спрятан? Сомневаюсь, но кто знает. Всегда есть шанс, что этот свинтух опознает тебя по голосу. Здесь-то мы в безопасности.

У него все недоставало мужества подойти к ней. Лишь ту-по переспросил:

– В безопасности?

– Да. Погляди на эти деревца! – Их окружали молодые ясени, проросшие из пней некогда срубленных деревьев. – Стволы слишком тонкие, микрофон в таких не спрячешь. К тому же я бывала тут раньше.

Девушка стояла перед Уинстоном очень прямо, с чуть ироничной улыбкой, наверное, удивлялась, почему он медлит. Дикие гиацинты посыпались на землю. Он подошел и взял ее за руку.

– Представляешь, я только сейчас разглядел, какого цвета у тебя глаза! – Они были карие, довольно светлого оттенка, обрамленные темными ресницами. – Теперь, при свете, ты все еще можешь на меня смотреть?

– Легко.

– Мне тридцать девять. Есть жена, от которой никак не избавиться. Вдобавок у меня варикоз и пять вставных зубов.

– Плевать, – заявила девушка.

Еще секунда и... даже не скажешь, чей порыв был первым... они оказались в объятиях друг у друга. Поначалу Уинстон не ощущал ничего, кроме полного неверия. Юное тело жалось к нему, копна темных волос касалась его лица... и да! это она запрокинула голову... и вот уж он целует ее полные красные губы. Она обняла его шею, уже звала его милым, ненаглядным, любимым. Он потянул ее к земле и не встретил ни малейшего сопротивления: мог делать с ней все что угодно. Только, по правде-то, не было в нем никаких чувств, кроме довольства близостью. Его переполняли неверие и гордость. Происходящее чаровало, но никакого физического влечения не было. В чем истинная причина – слишком ли все скоро, не то молодость и красота девушки напугали, не то чересчур уж он привык к жизни без женщин, – он не знал. Девушка поднялась, вынула из волос гиацинт. Села рядом, обвив рукою его талию.

– Не переживай, милый. Спешить некуда. У нас впереди весь день. Отличное укрытие, правда? Я набрела на него, ко-

гда однажды заплутала в турпоходе. Если сюда кто и зайдет, услышим за сотню метров.

– Как тебя зовут?

– Джулия. А как тебя, я знаю – Уинстон, Уинстон Смит.

– Как вызнала?

– Вызнавать, милый, я умею, полагаю, получше тебя. Расскажи, что ты думал про меня до того дня, когда я записку тебе сунула?

У Уинстона никакого позыва не было ей лгать. Признаться в худшем сейчас было сродни признанию в любви.

– Видеть тебя не мог. Хотелось взять тебя силой, а потом убить. Две недели назад я всерьез подумывал размозжить тебе голову булыжником! Если и вправду хочешь знать, воображал, что ты как-то связана с полицией помыслов.

Девушка радостно рассмеялась, приняв его признание за восхищение ее маскировкой.

– Только не полиция помыслов! Ведь правда же ты так не думал?

– Ну, может, и не совсем так. Только взгляни на себя: вся такая юная, свежая, здоровая, вся из себя активистка... Ты ж понимаешь, я и решил, что наверное...

– Я достойный член Партии! Чиста и в помыслах, и в делах. Транспаранты, демонстрации, лозунги, соревнования, турпоходы – вся эта похабень! И ты думал, будь у меня хоть четверть шанса, я разоблачу тебя как помыслокреминал и подведу тебя под казнь?

– Вроде того. Многие девицы, знаешь ли, таковы.

– Это все из-за этой гадости! – воскликнула Джулия, сорвав с себя алый пояс Юношеской антисекс-лиги и забросив его на куст. Потом, словно прикосновение к талии напомнило ей о чем-то, сунула руку в карман и достала маленькую палочку шоколада. Разломив ее, половинку дала Уинстону. Уже по запаху он понял, что это совсем не обычный шоколад. Серебристая упаковка, гладкая и блестящая поверхность... Простой шоколад тусклый, легко крошится и по вкусу напоминает дым от горящего мусора. Впрочем, пару раз Уинстону доводилось пробовать настоящий шоколад. Аромат будил в нем сильное, в дрожь бросающее воспоминание, но вот о чем, вспомнить он не мог.

– Где раздобыла? – спросил он.

– На черном рынке, – равнодушно бросила она. – Вообще-то, и я из таких же, если посмотреть. Спортивная. Была командиром отряда Разведчиков. Волонтерствую по три вечера в неделю в Юношеской антисекс-лиге. Часы потратила на расклейку их паршивой гнуси по всему Лондону. На демонстрациях всегда одно древко транспаранта тащу. Всегда бодр-весела, ни от чего не уваливаю. Вопи всегда с толпой вместе – так я это называю. Иначе никак не уцелеть.

Первый кусочек шоколада растаял у Уинстона на языке. Вкус был восхитительный. Только по грани сознания все еще маячило воспоминание, чувства будило тревожные, но никак не желало обрести четкую форму, словно замеченный

краем глаза предмет. Он гнал его прочь, понимая лишь, что это память о каком-то поступке из тех, что и рад бы исправить, но не в силах.

– Ты очень молода, – заговорил Уинстон. – Лет на десять, а то и пятнадцать моложе меня. Что ты нашла в таком мужчине, как я?

– Было в твоём лице что-то такое. Подумала, стоит рискнуть. Я легко распознаю людей не от мира сего. Как тебя увидела, сразу поняла: ты против *них*.

Под *ними* явно имелась в виду Партия, и прежде всего Центр Партии, о каком она говорила с такой неприкрытой ненавистью, что Уинстону делалось не по себе, даром что он понимал, что здесь они в безопасности, если вообще такое хоть где-то возможно. Что поражало его, так это грубость ее речи. Ругаться членам Партии не полагалось, сам Уинстон крайне редко позволял себе ругательства, по крайней мере, вслух. Джулия, похоже, была не в силах помянуть Партию, особенно Центр Партии, без слов, которые в глухих переулках мелом на заборах пишут. Неприятия у него это не вызвало. Просто было еще одним признаком ее бунта против Партии и всего с нею связанного, казалось даже вполне естественным и полезным, вроде фырканья лошади на гнилое сено. Они выбрались с лужайки и брели, обняв друг друга за талию, по тропинке в пятнистой сени деревьев. Уинстон заметил, насколько податливей стало ее тело без алого пояса. Разговаривали только шепотом: вне лужайки, уверяла Джу-

лия, лучше не рисковать. Наконец подошли к опушке роши. Джулия его остановила:

– Не выходи! За открытым пространством могут наблюдать. Под защитой ветвей мы в безопасности.

Они стояли в тени кустов орешника. Их лица согрел солнечный свет, сочившийся сквозь листву. Уинстон смотрел на расстилающееся впереди поле и вдруг понял, что место ему знакомо. Старый, поросший невысокой травой выгон, изрытый кроличьими норами, с вьющейся тропинкой и редкими кротовинами. На другом конце – запущенная живая изгородь, торчащие ветви вязов с густыми листьями напоминают пышные женские прически и тихонько покачиваются на ветру. Наверняка рядом струится чистый ручей, где в зеленых заводях под ивами плавают ельцы.

– Тут случайно нет ручья неподалеку? – прошептал он.

– Да, ручей есть, на краю соседнего поля. В нем водятся рыбы, причем огромные! Они лежат в заводях под ивами и машут хвостами.

– Это ведь Золотая страна, ну, почти... – пробормотал он.

– Что такое Золотая страна?

– Так, ничего. Просто пейзаж, который мне иногда снится.

– Гляди! – шепнула Джулия.

Метрах в пяти, почти на уровне их лиц на ветку сел дрозд. Вероятно, не заметил людей: те держались в тени, он был на солнце. Птица расправила, затем аккуратно сложила крылья, опустила головку, словно выражая почтение дневному све-

тилу, и разразилась трелью. В притихшем полуденном воздухе звук разносился с поразительной громкостью. Уинстон с Джулией замерли, прижавшись друг к другу. Мелодия лилась не утихая, с изумительными вариациями, без единого повтора, словно дрозд решил блеснуть своей виртуозностью. Иногда он умолкал на несколько секунд, расправлял и складывал крылья, потом надувал крапчатую грудку и снова взрывался трелью.

Уинстон наблюдал за ним с невольным уважением. Вот дрозд, для кого, зачем поет он? Рядом ни самки, ни соперника. Что заставляет птицу сидеть на краю глухого леса и изливать свою мелодию в никуда? Может, здесь все-таки упрятан микрофон? Их с Джулией тихого шепота он не улавливает, а вот пение дрозда – вполне. Может, на другом конце сидит похожий на жучка коротышка и внимательно слушает – *вот это* слушает... Постепенно мелодия вытеснила из сознания Уинстона все мысли. Она вливалась в него сплошным потоком, смешиваясь с солнечным светом, сочившимся сквозь густую листву. Уинстон перестал думать и отдался на волю чувств. Талия девушки была мягкой и теплой. Он развернул Джулию к себе, она прильнула к нему упругим и податливым, как вода, телом. Их губы слились воедино, и это совсем не походило на те жадные поцелуи, какими они обменивались прежде. Когда лица их разошлись, они вдвоем глубоко вздохнули. Дрозд перепугался и упорхнул, шумно трепеща крыльями.

Уинстон прижался губами к ее уху.

– *Сейчас!* – прошептал он.

– Не здесь, – шепнула в ответ девушка. – Вернемся в укрытие. Там безопаснее.

И они поспешили обратно на лужайку, не обращая внимания на треск сухих сучьев под ногами. Стоило же оказаться в кольце молодой поросли, как она повернулась к нему. Оба дышали часто, но в уголках ее рта вновь играла улыбка. И да! – все было почти так, как во сне Уинстона. Почти так же порывисто, как ему и виделось, девушка сорвала с себя одежду, а когда отшвырнула ее в сторону, то именно тем бесподобным жестом, который, казалось, отправлял в небытие всю цивилизацию. Тело ее ослепительно белело на солнце. Какое-то время Уинстон на него не смотрел: не мог отвести глаз от веснушчатого лица с легкой, дерзкой улыбкой. Уинстон опустился перед ней на колени и взял ее за руки.

– У тебя прежде такое бывало?

– Конечно. Сотни раз... ну, по крайности, множество раз.

– С партийцами?

– Да, всегда с членами Партии.

– И с членами Центра Партии?

– Нет, только не с этими свиньями! Хотя среди них полно таких, кто при случае своего не упустит. Не такие уж и святоши, какими выставляются!

Сердце Уинстона забилося чаще. Она занималась этим много раз, ему хотелось, чтобы счет шел на сотни, на ты-

сячи! Все, что свидетельствовало о развращенности нравов, наполняло его безумной надеждой. Кто знает, может, Партия давно прогнила и культ усердия и самоотречения – мишура, скрывающая порок. Если бы он мог заразить их всех проказой или сифилисом, то сделал бы это с превеликой радостью! Лишь бы они гнили, слабели, распадались на части!

Уинстон потянул ее вниз, и они оказались на коленях лицом к лицу.

– Послушай, чем больше мужчин у тебя было, тем больше я тебя люблю! Понимаешь?

– Да, вполне.

– Ненавижу чистоту, ненавижу праведность! Пусть добродетель исчезнет вовсе! Я хочу, чтобы все были развращенными до мозга костей.

– Тогда я подхожу тебе, милый. Я как раз такая!

– Ты любишь этим заниматься? Не только со мной, я про сам процесс...

– Обожаю!

Именно это он и хотел услышать. Не любовь к одному человеку, а животный инстинкт, примитивное, незамысловатое желание. Именно эта сила способна разорвать Партию на части. Он напрягся, тело девушки вжалось в траву, среди рассыпавшихся диких гиацинтов. На этот раз ему не мешало ничто... Наконец их дыхание выровнялось, они отпрянули друг от друга в приятной истоме. Солнце припекало жарче. Обоим хотелось спать. Уинстон потянулся к сброшенной

одежде и прикрыл девушку комбинезоном.

Через полчаса он проснулся, сел и принялся разглядывать веснушчатое лицо Джулии, все еще мирно дремавшей, подложив ладонь под щеку. Красавицей ее не назовешь, разве что губы... Если присмотреться, то вокруг глаз уже заметны морщинки. Короткие волосы необычайно густые и мягкие. Он спохватился, что не знает ни ее фамилии, ни где она живет.

Молодое, здоровое тело, такое беспомощное во сне, пробудило в нем жалость и желание защитить. Но бездумная нежность, возникшая в кустах орешника, когда они слушали пение дрозда, так и не вернулась. Уинстон сдвинул комбинезон и принялся разглядывать ее гладкий белый бок. В прежние времена, подумал он, мужчина смотрел на женское тело, находил его желанным, и этого было достаточно. Теперь же не существовало ни чистой любви, ни чистого желания. Чувства утратили чистоту, потому что все замешано на страхе и ненависти. Их объятия превратились в битву, оргазм – в победу. Их близость – как удар по Партии, акт не любви, а политики.

### III

– Мы можем прийти сюда еще раз, – сказала Джулия. – Вообще-то, использовать одно и то же укрытие дважды неопасно, нужно только выждать месяц или два.

Проснувшись, она повела себя совсем иначе: стала настоящей и деловой, оделась, повязала алый пояс и принялась планировать дорогу домой. Уинстон решил целиком положиться на нее, отдав должное ее практичности, которой ему явно не хватало, и исчерпывающему знанию окрестностей Лондона, обретенному в бесчисленных пеших походах. Обратный маршрут совершенно отличался от того, каким он прибыл сюда, и оканчивался на другой железнодорожной станции. «Никогда не возвращайся домой тем же путем, каким вышел», – веско заметила девушка. Она решила уйти первой, велев Уинстону выждать полчаса.

Джулия назвала место, где они могли бы встретиться после работы через четыре дня: рынок под открытым небом в бедном квартале, людный и шумный. Она побродит среди торговых рядов, делая вид, что ищет шнурки или нитки. Если вокруг все чисто, она высморкается, тем самым дав ему знак подойти. Если нет, то Уинстон пройдет мимо, не обращая на нее внимания. Если повезет, в толпе им удастся поговорить минут пятнадцать и условиться о следующей встрече.

– Теперь мне пора, – сообщила Джулия, когда он повторил

все указания. – Мне надо вернуться к девятнадцати тридцати и два часа раздавать листовки Юношеской антисекс-лиги. Черт бы ее побрал! Помоги отряхнуться. Веточек в волосах нет? Точно? Тогда до встречи, любовь моя!

Она бросилась в его объятия, смачно поцеловала в губы, потом протиснулась сквозь заросли молодых деревьев и почти бесшумно исчезла в лесу. Даже сейчас Уинстон не знал ни ее фамилии, ни адреса. Впрочем, это не имело значения, потому что они все равно не смогли бы встретиться в городе или затеять переписку.

Так получилось, что больше они на лесную лужайку не вернулись. За весь май им удалось предаться любви лишь однажды. Джулия привела Уинстона в другое укрытие – на колокольню разрушенной церкви в опустевшей деревне, куда тридцать лет назад упала атомная бомба. Место хорошее, но дорога была очень опасной. Остальное время они встречались лишь на улицах, каждый вечер на разных, и проводили вместе меньше часа. В городе получалось хоть как-то поговорить. Бредя по тротуару в толпе прохожих, не глядя друг на друга и не сближаясь, они вели странную, прерывистую беседу, которая вспыхивала и гасла подобно лучу маяка: умолкала при виде партийца в форме или телеэкрана, через несколько минут возобновлялась с середины фразы, обрывалась при расставании в условленном месте и на следующий день продолжалась почти без вступления.

Похоже, Джулия к такому общению привыкла, называ-

ла его «беседами в рассрочку». Еще она умела необычайно искусно говорить, не двигая губами. Среди месяца вечерних свиданий им лишь раз удалось поцеловаться. Они молча шли по переулку (Джулия никогда не разговаривала вдали от главных улиц), как вдруг раздался оглушительный грохот, земля содрогнулась, воздух потемнел, и Уинстон пришел в себя, лежа на боку, контуженный и перепуганный. Наверное, неподалеку упала ракета. Совсем рядом, в нескольких сантиметрах от себя Уинстон увидел смертельно бледное, белое как мел лицо Джулии. Даже губы побелели. Мертва! Он прижал девушку к себе и неожиданно принялся целовать живое теплое лицо, поцеловал и ощутил тепло живых губ. Но в губы все время лезла какая-то гадость, какой-то порошок. Оба их лица густо покрыла пыль от штукатурки...

Бывали вечера, когда они приходили на место свидания, а потом вынуждены были шагать мимо, не подавая знака друг другу, потому что из-за угла выходил патруль или над головами зависал вертолет. Помимо всех опасностей хватало и прочих сложностей. Уинстон работал шестьдесят часов в неделю, Джулия и того больше, их выходные зависели от нагрузки в министерстве и совпадали нечасто. В любом случае, у Джулии редко выдавался совершенно свободный вечер. Она тратила невероятное количество времени на лекции и демонстрации, на раздачу листовок Юношеской антисекс-лиги и подготовку транспарантов для Недели ненависти, на сбор средств для Кампании за экономию и про-

чие мероприятия. Оно того стоит, говорила Джулия, ведь это маскировка. Следуя маленьким правилам, можешь нарушать большие. Она даже убедила Уинстона посвятить один из свободных вечеров сборке боеприпасов, которой занимались на добровольной основе особенно рьяные члены Партии. И вот раз в неделю Уинстон проводил четыре невыносимо скучных часа за скручиванием металлических деталей, собирая взрыватели в насквозь продуваемой, плохо освещенной мастерской, где стук молотков уныло сливался с бравурными маршами, льющимися с телеэкранов.

Когда они встретились на колокольне, то восполнили пробелы в своей беседе. День стоял жаркий. Воздух в маленьком квадратном помещении над колоколами был горячим и спертым, невыносимо воняло голубиным пометом. Они много часов просидели на пыльном, усыпанном ветками полу, время от времени вставая, чтобы бросить взгляд через бойницы и убедиться, что никто не идет.

Джулии было двадцать шесть. Она жила в общежитии с тридцатью девушками («Там все ими провоняло! До чего же я ненавижу женщин!») и работала, как понял Уинстон, на станках для написания романов в департаменте беллетристики. Ей нравилась ее работа, которая в основном сводилась к обслуживанию мощного, но капризного электромотора. Особым умом Джулия не отличалась, зато любила работать руками и прекрасно разбиралась в технике. Она могла описать весь процесс создания романа, начиная с общего

указания, спущенного комитетом по планированию, и кончая шлифовкой текста в бюро правки. Но конечный продукт ее не интересовал. «Не очень-то меня чтение занимает», – говорила она. Книги были всего лишь продукцией, которую следовало производить, вроде джема или шнурков.

У Джулии не сохранилось воспоминаний о времени до начала шестидесятых, единственные рассказы о жизни до Революции она слышала от дедушки, который исчез, когда ей было восемь. В школе она возглавляла хоккейную команду и два года подряд выигрывала кубок по гимнастике. Перед тем как вступить в Юношескую антисекс-лигу, Джулия командовала отрядом Разведчиков и исполняла обязанности секретаря отделения в Молодежной лиге. Благодаря безупречной репутации ее в свое время даже направили в *порносек* – подразделение в департаменте беллетристики, занимавшееся производством дешевой порнографии для пролов. Меж собой сотрудники называют его публичным домом, заметила Джулия. Целый год она помогала выпускать книжонки в запечатанных пакетах с такими названиями, как «Рассказы о порке» или «Ночь в школе для девочек», для продажи из-под полы, причем пролетарская молодежь наивно принимала их за противоправную продукцию.

– И на что похожи эти книги? – полюбопытствовал Уинстон.

– Отвратная чушь! На самом деле они очень скучные. Сюжетов всего шесть, их немного перекраивают, и все. Разуме-

ется, я работала только на калейдоскопах, а не в бюро правки, куда уж мне, ведь я не литераторша.

Уинстон с изумлением узнал, что все сотрудники *порносека*, кроме начальников отделов, – девушки. Считалось, что контролировать мужские половые инстинкты сложнее, нежели женские, поэтому мужчины рискуют больше, подвергаясь разлагающему влиянию порока, с которым приходится иметь дело.

– Представляешь, туда даже замужних не берут!

Почему-то девушки всегда считаются чище, чего не скажешь про Джулию. Первая любовная связь случилась у нее в шестнадцать с шестидесятилетним членом Партии, который потом покончил с собой, чтобы избежать ареста.

– И правильно сделал, иначе из него вытрясли бы и мое имя.

С тех пор были и многие другие. Джулия относилась к жизни просто. Ты хочешь поразвлечься, *они*, то есть Партия, хотят тебе помешать, и ты нарушаешь их правила как можешь. Джулия находила вполне естественным, что *они* пытаются лишить тебя удовольствий, а ты пытаешься не попасться. Она ненавидела Партию, о чем говорила, совершенно не стесняясь в выражениях, но при этом вовсе ее не критиковала. Она ничуть не интересовалась партийной идеологией, если только та не касалась ее личной жизни. Уинстон заметил, что Джулия почти не использует новослов – кроме тех словечек, что вошли в повседневный обиход. Она никогда

не слышала о Братстве и не верила в его существование: по ее мнению, любой организованный мятеж был полной глупостью, потому как заранее обречен на провал. То ли дело нарушать правила и оставаться в живых! Уинстон задавался вопросом, сколько же среди молодого поколения таких, как она, выросших в мире Революции и не знающих другой жизни; таких, кто принимает Партию как нечто неизменное, не бунтуют против ее авторитета, а просто стараются увильнуть, как кролик от собаки.

О браке они не заговаривали. О том можно было и не мечтать. Ни один комитет не позволил бы им пожениться, даже если бы удалось как-нибудь избавиться от Кэтрин, жены Уинстона.

– Какой она была, твоя жена? – спросила Джулия.

– Она была... знаешь слово *добродум*? Оно означает человека, который придерживается общепринятых убеждений.

– Нет, не слыхала, зато люди такие попадались.

Уинстон начал рассказывать ей историю своей женитьбы, но Джулия его перебила. Она описала ему все так, словно видела собственными глазами: и как Кэтрин цепенела от прикосновений, и как отталкивала его изо всех сил, одновременно сжимая в объятиях. С Джулией говорить о таком оказалось легко: в любом случае, воспоминания о Кэтрин давно перестали ранить и вызывали лишь неприязнь.

– Пожалуй, я бы смирился, если бы не один нюанс, – признался Уинстон и рассказал о бесстрастном ритуале, кото-

рый Кэтрин практиковала раз в неделю. – Сама его ненавидела, но ее было не унять. И название придумала... ни за что не догадаешься какое!

– Наш долг перед Партией, – довольно хмыкнула Джулия.

– Откуда ты знаешь?

– Я тоже училась в школе, милый. Беседы о сексе раз в месяц для тех, кто старше шестнадцати. Плюс Юношеское движение. Нам втирают эту дичь годами. Пожалуй, во многих случаях оно и срабатывает, но сказать наверняка трудно: люди такие ханжи!

И Джулия пустилась в рассуждения, оседлав любимого конька – она обожала говорить про свою сексуальность. Стоило коснуться этой темы, как она проявляла недюжинную проницательность. В отличие от Уинстона она давно постигла скрытый смысл полового пуританства Партии. Дело не только в том, что половой инстинкт создает целый мир, который неподвластен Партии и потому должен быть уничтожен. Важно другое: половое воздержание провоцирует массовую истерию, которую легко преобразовать в военную лихорадку и поклонение вождю.

– В любовных утехах расходуешь энергию, под конец ты счастлив – и плевать тебе на все остальное. Им это крайне невыгодно. Им нужно, чтоб тебя прямо-таки распирало от избытка энергии. Вся эта ходьба строем туда-сюда, скандирование и размахивание флагами – просто замена сексу. Если ты доволен жизнью, то зачем тебе возбуждаться на Боль-

шого Брата, Трехлетние планы, Двухминутку ненависти и прочую похабень?

А ведь она права, думал Уинстон. Между целомудрием и идеологическим догматизмом связь самая прямая и непосредственная. Иначе как Партии поддерживать необходимый градус страха, ненависти и слепой доверчивости, как не обуздав какой-нибудь мощный инстинкт и не направив его в нужное русло? Половое влечение опасно для Партии, и Партия обратила его в свою пользу. То же самое они проделали и с родительским инстинктом. Упразднить семью им не удалось, поэтому любовь к детям на старый лад даже поощряется. В то же время детей постоянно настраивают против собственных родителей, учат шпионить и доносить о любых отклонениях. Семья превратилась в продолжение полиции помыслов и стала механизмом, при помощи которого каждый человек день и ночь окружен осведомителями, знающими его очень близко.

Внезапно он снова подумал о Кэтрин. Она точно сдала бы его полиции помыслов, не будь слишком глупа, чтобы распознать инакомыслие. Уинстон вспомнил о ней еще и благодаря удушающей жаре, из-за которой на лбу выступила испарина. И он принялся рассказывать Джулии о том, что произошло или, скорее, едва не произошло в другой жаркий день одиннадцать лет назад.

Это случилось через три-четыре месяца после их женитьбы, во время пешего похода где-то в Кенте. Они отстали от

группы всего на пару минут, потом свернули не туда и очутились на краю мелового карьера. Высота обрыва была метров двадцать, на дне лежали валуны. Вокруг никого, куда идти – непонятно. Кэтрин тут же ударилась в панику. Отстать от шумной толпы пусть даже на миг казалось ей серьезным проступком. Она хотела вернуться тем же путем и начать поиски в другой стороне. И тут Уинстон обратил внимание на кустики вербейника в расщелине скалы прямо под ними. Как ни странно, от одного корня росли фиолетовые и красные цветы. Такого он никогда не видел и окликнул Кэтрин, чтобы она тоже посмотрела. «Кэтрин, погляди, какие цветочки! Вон у той глыбы внизу. Ты видишь, что они разного цвета?» Она уже собралась уходить, но вернулась, хотя и с недовольным видом. Даже склонилась над обрывом, чтобы посмотреть, куда он указывал. Уинстон встал позади нее и придерживал за талию. И внезапно до него дошло, что они совершенно одни. Ни людей, ни птиц. В таком месте вряд ли установлен скрытый микрофон, а если и есть, то уловит лишь крик. Стоял жаркий полдень, солнце палило вовсю, струйки пота щекотали лицо. И тут его осенило...

– Зачем ты ее не пихнул хорошенько? – спросила Джулия. – Я б пихнула.

– Да, милая, ты бы так и сделала. Я тоже, будь тогда тем человеком, что сейчас. Или нет... Сложно сказать наверняка.

– Жалеешь?

– Да. Лучше бы я ее столкнул.

Они сидели, прижавшись, на пыльном полу. Уинстон при-тянул девушку к себе, она положила голову ему на плечо. Приятный запах ее волос перебивал вонь голубинового помета. Джулия очень молода, подумал Уинстон, все еще ждет чего-то от жизни и не понимает, что столкнуть неподходящего человека со скалы вовсе не выход.

– На самом деле это ничего бы не изменило.

– Тогда чего ж ты жалеешь, что не пихнул?

– Потому только, что предпочитаю положительное отрицательному. В этой игре нам не выиграть. Что-то из упущенного лучше другого – вот и все.

Он почувствовал, как дернулось ее плечо: Джулия всегда возражала, когда он говорил что-то похожее. Она не принимала закон природы, по которому одиночка всегда обречен на поражение. Нельзя сказать, чтобы она не понимала, что сама обречена, что рано или поздно полиция помыслов ее схватит и убьет, но другой частью сознания верила, что так или иначе можно создать свой тайный мирок и жить в нем как тебе угодно. Нужны всего лишь удача, сметливость и отвага. Она не понимала, что счастья не существует, что победа случится лишь в далеком будущем, через много-много лет после твоей смерти, что стоит объявить войну Партии – и ты уже труп.

– Мы мертвецы, – вздохнул Уинстон.

– Пока еще не померли, – прозаично заметила Джулия.

– Не телесно. Полгода, год... допустим, лет пять. Я боюсь смерти. Ты молода, потому должна бояться ее больше моего. Само собой, мы постараемся оттягивать это сколько только сможем. Только разница невелика. Пока человеческие существа остаются человечны, смерть и жизнь одно и то же.

– А-а, бредятина! Тебе с кем больше переспать хотелось бы, со мной или со скелетом? Неужто нет тебе радости живым быть? Нет радости чувствовать: это я, это моя рука, это моя нога, я суший, я целый, я живой! Разве *это* тебя не радует?

Резко повернувшись, она прильнула к его груди. Сквозь комбинезон он почувствовал ее груди, зрелые, но твердые. Казалось, ее тело делилось с ним своею молодостью и решимостью.

– Это меня радует.

– Так перестань талдычить про смерть! А теперь, милый, послушай, нужно договориться, когда мы в следующий раз увидимся. Можно вернуться в то местечко в роще – мы дали ему порядочно отдохнуть. Только на этот раз тебе придется добираться другим путем. Я уже все распланировала! Сядешь на электричку... погоди, сейчас изображу схему.

Как всегда практичная, Джулия разровняла пыль на полу, дернула веточку из голубиного гнезда и принялась чертить.

## IV

Уинстон обвел взглядом убогую комнатку над лавкой мистера Чаррингтона. У окна стояла огромная кровать, застеленная рваными одеялами, с валиком без чехла в изголовье. На каминной полочке тикали старинные часы с двенадцатью числами на циферблате. В углу, на раздвижном столике, мягко отсвечивало в полутьме купленное им в прошлый раз стеклянное пресс-папье.

На каминной решетке стояли выдавшая виды керосиновая плитка, кастрюлька и две чашки, которыми его снабдил мистер Чаррингтон. Уинстон зажег горелку и поставил воду кипятиться. Он принес целую упаковку кофе «Победа» и таблетки сахарина. Стрелки часов показывали семь двадцать: на самом деле было девятнадцать двадцать. Она придет к девятнадцати тридцати.

Блажь, блажь, твердило ему сердце, сознательная, напрасная, самоубийственная блажь. Из всех преступлений, которые мог совершить член Партии, именно это сложнее всего скрыть. Как ни странно, впервые мысль явилась ему как видение, подсмотренное в стеклянном пресс-папье. Как он и предвидел, мистер Чаррингтон охотно пошел навстречу: пара лишних долларов его только обрадовала. То, что комната нужна, как стало ясно, для любовных свиданий, его, по видимому, ни шокировало, ни оскорбило. Хозяин смотрел

вдаль, говорил обтекаемыми фразами, причем настолько деликатно, что его присутствие почти не ощущалось. Уединения уголок, заметил он, очень большая ценность. Время от времени каждому потребно место, где можно побыть в одиночестве. И когда такое место находится, то любому, кто о том знает, обычная вежливость велит держать это знание при себе. Более того, добавил он, едва не тая в воздухе, у дома есть два входа, один из них с заднего двора, выходящего в проулок.

Под окном кто-то пел. Уинстон выглянул, прячась за тонкой занавеской. Июньское солнце стояло еще высоко, и по залитому светом двору между корытом и бельевыми веревками разгуливала громадная толстуха в переднике из дерюги, могучая, как нормандская колонна, и красными ручищами развешивала квадратные белые тряпки, в которых Уинстон признал подгузники. Всякий раз, освободив рот от порции прищепок, она распевала мощным контральто:

То была мимолетная блажь.  
Миновала она, как весна,  
Но мечты и любовный кураж  
В моем сердце уже навсегда!

Эта мелодия не давала Лондону покоя несколько недель. Подобные песни поставлял для пролов департамент музыки. Без участия человека слова компоновались на станке под названием версификатор. Но женщина пела с такой душой, что

дрянная штамповка превращалась в нечто вполне приятное. Уинстон слышал пение женщины, скрип ее башмаков, крики детей на улице и отдаленный гул транспорта, однако в отсутствие телеэкрана в комнате стояла непривычная тишина.

Блажь, блажь, блажь, снова подумал он. Через несколько недель пользования комнатой их наверняка поймают. Но искушение обзавестись собственным укрытием неподалеку, с крышей над головой, было слишком велико. После свидания на колокольне встретиться им больше не удалось. В преддверии Недели ненависти рабочие часы резко увеличили. До нее оставался месяц, но масштабные, сложные приготовления обернулись для всех дополнительной нагрузкой. Наконец оба одновременно выкроили полдня и договорились вернуться на лесную лужайку. Вечером накануне сошлись на улице, снова в толпе. Уинстон старался не смотреть на Джулию, но заметил, что она бледнее обычного.

– Все отменяется, – пробормотала она, убедившись, что говорить безопасно. – Я про завтра.

– Что?

– Завтра не смогу.

– Почему?

– Те самые дни начались раньше.

На миг Уинстон пришел в ярость. За месяц знакомства природа его желания значительно преобразилась. Вначале в близости с Джулией подлинной чувственности не было. Их первое соитие было скорее актом воли. После второго ра-

за все изменилось. Запах ее волос, вкус губ, касание кожи запали в него, пропитали самое воздух вокруг. Джулия стала для него плотской потребностью, тем, чего он не только желал, но и на что право имел. Когда она сказала, что не сможет прийти, Уинстон заподозрил измену. Внезапно толпа притиснула их друг к другу, руки случайно встретились. Она быстро сжала его пальцы, не страстно, но нежно. И Уинстон понял: с подобным разочарованием сталкивается любой женатый мужчина. Его затопила безграничная, доселе не испытанная им нежность. Захотелось, чтобы они были женаты уже лет десять, чтобы ходили по улицам, не таясь и не испытывая страха, болтали о ерунде и покупали всякие хозяйственные мелочи. Больше всего хотелось, чтобы у них появилось какое-нибудь место, где можно оставаться вдвоем, необязательно предаваясь плотским утехам при каждой встрече. Вообще-то мысль снять комнату у Чаррингтона возникла у него не сразу, а на следующий день. Джулия согласилась неожиданно легко. Оба прекрасно знали, что это чистой воды безумие, намеренный шаг к могиле. Сидя на краю кровати, Уинстон снова подумал о подвалах министерства любви. Просто удивительно, как ужас, тебе предопределенный, то всплывает в сознании, то исчезает. За этим неизбежно последует смертный исход, как за числом 99 следует 100. Избежать нельзя, можно лишь оттянуть, и все же человек раз за разом планомерно, сознательно укорачивает отведенное ему время.

И тут на лестнице раздались быстрые шаги. В комнату влетела Джулия с коричневой сумкой из грубого холста, с которой Уинстон иногда видел ее у министерства. Он попытался обнять девушку, но та нетерпеливо увернулась.

– погоди. Сначала посмотри, что я достала! Ты притащил гадкую «Победу»? Так я и думала! Прячь обратно, сегодня она нам не понадобится. Гляди сюда!

Джулия, встав на колени, распахнула сумку, вывалила на пол несколько гаечных ключей и отвертку, которые лежали сверху. Под ними обнаружили аккуратные бумажные пакеты. Первый вызвал у Уинстона странное и в то же время знакомое чувство. Внутри было что-то тяжелое, похожее на песок и с легкостью проминавшееся под пальцами.

– Неужели сахар? – удивился он.

– Настоящий! Это тебе не сахарин! А вот хлеб... белый хлеб, не наша гадость!.. и баночка джема. Вот банка молока... Лучше погляди сюда! Вот чем я особенно горжусь! Пришлось завернуть в мешковину, потому что...

Джулия могла бы не объяснять, почему так тщательно упаковала содержимое пакета. Комнату заполнил крепкий, насыщенный запах кофе, сразу напомнивший Уинстону о детстве. Он и сейчас иногда улавливал его в коридоре или в уличной толпе, но лишь на краткий миг, потом захлопывалась дверь или порыв ветра уносил дразнящий запах прочь.

– Кофе, – прошептал Уинстон, – настоящий кофе!

– Кофе для Центра Партии. Тут целый килограмм!

– Как тебе удалось такое раздобыть?

– Все для партийных шишек. Эти свинтухи себе ни в чем не отказывают! Разумеется, их подавальщики и прочие слуги тоже люди, так что приворовывают и... Гляди, у меня и чая немного есть!

Уинстон сел на корточки с ней рядом и оторвал уголок пакета.

– Настоящий чай. Не смородиновые листья.

– Чаю теперь много. Кажется, они захватили Индию, – пояснила Джулия. – Послушай, милый. Мне надо, чтоб ты на пару минут отвернулся. Присядь на кровать с той стороны, только к окну не близко. И не оборачивайся, пока не скажу!

Уинстон рассеянно наблюдал за двором через тюлевую занавеску. Женщина с красными руками все еще сновала между корытом и бельевыми веревками. Она вынула изо рта две прищепки и с чувством пропела:

Говорят, что время лечит все,  
Говорят, все забудется без труда,  
Но улыбки и слезы свежи еще,  
В моем сердце они навсегда!

Похоже, она всю дурацкую песню наизусть знает. Мелодичный, наполненный светлой грустью голос плыл в душистом летнем воздухе. Такое чувство, что толстуха готова развешивать подгузники и распевать дурные песенки хоть тысячу лет, только бы июньский вечер продолжался вечно и за-

пасы белья не кончались. Внезапно Уинстон понял: ему ни разу не доводилось слышать, чтобы член Партии пел в одиночку, просто так. Это сочли бы странным поступком, опасным и эксцентричным, вроде привычки разговаривать с самим собой. Вероятно, люди поют лишь в том случае, если стоят на пороге нищеты.

– Теперь поворачивайся, – велела Джулия.

Уинстон обернулся и едва ее узнал. Он ожидал увидеть Джулию голой, но та осталась в одежде. С ней произошла гораздо более удивительная перемена. Скорее всего, девушка тайком сбегала в магазинчик в пролских кварталах и купила целый набор косметики. Она густо накрасила красным губы, нарумянила щеки, напудрила нос и даже что-то такое сделала с глазами – они стали еще ярче. Макияж был наложен не очень умело, но в этом Уинстон разбирался слабо. Ему никогда не доводилось видеть партийную женщину с косметикой на лице. Изменение в облике Джулии поразило его до глубины души. Всего пара мазков в нужных местах – и она стала не только красивее, но и гораздо женственнее. Короткая стрижка и мальчишеский комбинезон впечатления ничуть не портили. Обняв Джулию, он вдохнул синтетический запах фиалок. Уинстон вспомнил полумрак кухни в цоколе и шербатый рот проститутки. Джулия использовала те же духи, но это неважно.

– И духи! – воскликнул он.

– Да, милый! Знаешь, что еще я придумала? Раздобуду

где-нибудь настоящее женское платье и надену вместо этих гадких брюк! Стану носить чулки и туфли на каблуках! В этой комнате я буду женщина, а не член Партии!

Они разделись и улеглись на огромную кровать красного дерева. В присутствии Джулии Уинстон разделся донага впервые. До сих пор он слишком стеснялся своего бледного и щуплого тела, варикозных вен на ногах и пятен обесцвеченной кожи на голени. Постельного белья не было, зато потертое одеяло на ощупь оказалось гладким, матрас – большим и упругим. «Тут, конечно, полно клопов, только кому какое дело?» – заметила Джулия. Двухспальные кровати давно стали редкостью и сохранились лишь в домах пролов. В отличие от Джулии Уинстону в детстве довелось поспать на такой. Вскоре они ненадолго задремали. Когда Уинстон проснулся, стрелки часов подобрались почти к девяти. Он не пошевелился, чтобы не потревожить Джулию, чья головка лежала на изгибе его руки. Косметика размазалась по лицу и по подушке, но легкий след румян еще подчеркивал красоту ее скул.

В изножье кровати упал желтый луч заходящего солнца и осветил камин, где выкипала вода в кастрюльке. Женщина под окном петь перестала, с улицы доносились крики детворы. Уинстон задумался о том, считалось ли в упраздненном прошлом нормальным валяться в постели просто так, прохладным летним вечером, предаваться любви без одежды, когда захочется, разговаривать о чем захочется и

не чувствовать ни малейшего желания встать, только лежать и слушать доносящиеся с улицы мирные звуки. Неужели было время, когда такое считалось нормальным?.. Джулия проснулась, потерла глаза и, опершись на локоть, глянула на керосинку.

– Половина воды выкипела, – заметила она. – Сейчас встану и приготовлю кофе. У нас остался час. Во сколько выключают свет в твоём доме?

– В двадцать три тридцать.

– В общежитии на полчаса раньше, и вернуться нужно заранее, иначе... А ну убирайся вон, грязная тварь! – Джулия вдруг перегнулась через край кровати, схватила ботинок и по-мальчишески ловко швырнула в угол, прямо как словник в Гольдштейна на Двухминутке ненависти.

– Что там? – удивленно спросил Уинстон.

– Крыса. Я видела, как она высунула свой мерзкий нос. За панелью нора. В любом случае, я ее хорошенько напугала.

– Крысы! – ужаснулся Уинстон. – В этой комнате!

– Они повсюду, – равнодушно проговорила Джулия, ложась обратно. – У нас в общежитии даже по кухне разгуливают. Некоторые районы Лондона просто кишат ими. Ты знал, что они нападают на детей? Да еще как! Женщины не рискуют оставлять младенцев даже на пару минут. В кварталах пролов водятся огромные серые крысы. Самое противное, что эти твари всегда...

– *Перестань!* – вскрикнул Уинстон, плотно зажмурив гла-

за.

– Миленкий, так ты побледнел! Что с тобой? Тебя тошнит от них?

– Из всех ужасов мира ужаснее... крыса!

Джулия прижалась к нему и обвила руками и ногами, словно пытаясь успокоить теплом своего тела. Уинстон не сразу рискнул открыть глаза. Несколько мгновений ему казалось, будто вернулся кошмар, всю жизнь преследовавший его. Этот сон повторялся, мало меняясь. Уинстон стоит перед стеной мрака, а по ту сторону... нечто невыносимо страшное. Он всегда знал, что там, хотя ни за что бы себе не признался. С невероятными усилиями он, может, даже вытянул это на свет... Сделать этого никогда не успевал – просыпался. Слова Джулии вернули его в тот кошмар, потому он ее и оборвал.

– Прости, – сказал Уинстон, – пустое. Просто не люблю крыс.

– Не волнуйся, милый, скоро мы от этих тварей избавимся. Перед уходом я заткну дыру мешковиной, а в следующий раз принесу немного алебаstra и заделаю ее как следует.

Панический ужас отступил и вскоре забылся. Стыдясь своей слабости, Уинстон прислонился к спинке кровати. Джулия выбралась из постели, надела комбинезон и сварила кофе. Исходящий от кастрюльки аромат был таким насыщенным и дразнящим, что они поскорее закрыли окно, чтобы никто не пришел на запах. Сахар придал напитку шелко-

вистую мягкость, о какой Уинстон почти забыл после многих лет употребления сахари́на. Сунув одну руку в карман и держа хлеб с джемом в другой, Джулия прохаживалась по комнате и походя разглядывала книжный шкаф, соображала, как лучше починить раздвижной столик, садилась в потертое кресло, пробуя, насколько оно удобное, и со снисходительным изумлением рассматривала нелепые часы с двенадцатью цифрами. Она принесла на кровать стеклянное пресс-папье, чтобы разглядеть при свете. Уинстон забрал у нее вещицу, замороженный гладким, прозрачным словно дождевая вода стеклом.

– Как думаешь, для чего она? – спросила Джулия.

– Вряд ли эта штука вообще использовалась по назначению. Чем она мне и нравится. Просто фрагмент истории, которую забыли перекромсать. Послание из прошлого столетней давности, нужно только суметь его прочесть.

– А вон та картина, – она кивнула на противоположную стену, – ей тоже сто лет?

– Думаю, побольше. Сотни две, точнее не скажу: в наши дни определить возраст предметов невозможно.

Джулия подошла ближе.

– Отсюда эта тварь и высунула нос, – указала она, пнув деревянную обшивку под картиной. – Что за место? Где-то я его видела.

– Церковь, по крайней мере, раньше была церковью и называлась Сент-Клемент. – Уинстон вспомнил обрывок стиш-

ка, рассказанный Чаррингтоном, и ностальгически продекламировал:

Динь-дон, апельсины и лимон,  
С колокольни гудит Сент-Клемент.

К его удивлению, Джулия завершила куплет:

За тобой три фартинга,  
В ответ бряцает Сент-Мартин...  
А Олд-Бейли звонит, вторя в такт:  
Заплати-ка должок, дружок...

– Не помню, что там дальше, но концовка такая:

Вот свечка, на пути в кроватку светить,  
А вот и палач идет – тебе головку с плеч рубить!

Строчки сошлись, словно отзыв и пароль. Впрочем, после строчки про Олд-Бейли должен быть еще один стих. Надо при случае попытаться старика Чаррингтона, может, и вспомнит.

– Кто тебя научил? – спросил Уинстон.

– Мой дедушка. Он исчез, когда мне было восемь... Интересно, что такое лимон? Апельсины я видела. Это круглые оранжевые фрукты с толстой кожурой.

– Лимоны помню, – признался Уинстон. – В пятидесятые

их было много. Они такие кислые, что от одного запаха зубы сводит.

– Под картиной наверняка полно клопов, – заявила Джулия. – Как-нибудь я ее сниму и хорошенько отмою. Нам скоро уходить. Увы, краску с лица пора смывать. Скукотища! Надо потом стереть с тебя помаду.

Уинстон полежал еще немного. В комнате темнело. Он повернулся к свету и принялся смотреть в стеклянное пресс-папье. Неиссякаемый интерес вызывал даже не кусочек коралла, а внутренняя часть стекла. В нем таилась огромная глубина – и в то же время было воздушно-прозрачно. Словно поверхность – небосвод, а под ним крошечный мирок со своей атмосферой. Уинстону казалось, что он может попасть внутрь, что он уже внутри, вместе с кроватью красного дерева и раздвижным столиком, с часами и гравюрой на стене. Пресс-папье было комнатой, коралл – жизнями Джулии и его собственной, навеки влитыми в сердце стеклянного кристалла.

## V

Сайм пропал. Утро настало, но на работе он так и не появился. Некоторые недалёковидные сотрудники даже отметили его отсутствие. На следующий день о нем не упомянул никто. На третий день Уинстон пошел в вестибюль департамента документации взглянуть на доску объявлений. Там висел отпечатанный список Шахматного комитета, в котором состоял Сайм. Вроде бы тот же самый (никого не вычеркнули), но на одно имя короче. Все понятно: Сайм перестал существовать, его вообще никогда не было.

Началась невыносимая жара. В покоем на лабиринт министерстве отсутствие окон и кондиционеры обеспечивали прохладу, зато снаружи тротуары обжигали подошвы, а в метро в час пик стояла ужасная вонь. Приготовления к Неделе ненависти шли полным ходом, и сотрудники всех министерств работали сверхурочно. Требовалось организовать демонстрации, митинги, военные парады, лекции, выставки, киносеансы, телепрограммы; установить трибуны, развесить портреты, придумать лозунги, написать песни, распустить слухи, подделать фотографии. Подразделение Джулии в департаменте беллетристики с производства романов перебрали на серию брошюр о кровавых бесчинствах. Уинстон в добавление к своим обычным обязанностям проводил долгие часы за просмотром старых выпусков «Таймс», перекра-

ивая и приукрашивая новости, которые собирались процитировать в выступлениях. Поздно ночью, когда по улицам бродили толпы буйных пролов, атмосфера в городе царила весьма зловещая. Ракеты взрывались чаще обычного, взбавок вдалеке слышались чудовищные разрывы, и по Лондону ползли самые нелепые слухи.

Уже сочинили и принялись вовсю транслировать новую музыкальную тему грядущей Недели, так называемую «Песню ненависти». Дикарский, лающий ритм, ничуть не похожий на музыку, напоминал стук барабана, рев тысячи глоток под топот марширующих ног наводил ужас. Пролам она сразу полюбилась и теперь звучала на полуночных улицах, соперничая со все еще популярной в народе песенкой «То была мимолетная блажь». Детишки Парсонсов день и ночь наигрывали ее до одури на расческе, обернутой туалетной бумагой. Вечера Уинстона были заняты как никогда. Команды добровольцев под началом Парсонса готовили улицу к Неделе ненависти: малевали плакаты, шили флаги и устанавливали для них на крыше крепежи; рискуя жизнью, перекидывали между домами веревки, чтобы повесить растяжки с лозунгами. Парсонс похвалялся, что на один их «Дворец Победы» пошло четыреста квадратных метров флагов. Погрузившись в родную стихию, он пребывал в неумном восторге. Из-за жары и горячки труда вечерами он сменял комбинезон на шорты и распахивал ворот на рубашке. Парсонс метался туда-сюда, толкал, тянул, пилил, орудовал молотком, распе-

вал, веселил подопечных дружескими наставлениями и всеми складками своего тела источал поистине неисчерпаемые запасы едкого, бьющего в нос пота.

Внезапно повсюду появился новый плакат высотой три-четыре метра. Без текста, просто чудовищная фигура евразийского солдата с безучастным монголоидным лицом, шагающего вперед в огромных сапогах с автоматом в руках. С какого ракурса ни посмотри, мушка оружия, увеличенная в несколько раз, смотрела прямо на тебя. Количество плакатов, прилепленных на все свободные места всех стен, даже превзошло число портретов Большого Брата. На обычно равнодушных к войне пролов напал приступ патриотизма. Словно поддавшись всеобщему угару, ракеты стали убивать больше людей. Одна, попав в переполненный зрителями кинотеатр в Степни, погребла под обломками сотни человек. Все население района вышло на долгие, затянувшиеся похороны, которые плавно перетекли в митинг возмущения. Другая ракета попала на пустырь, облюбованный детворой для игр, и десятки детей разорвало на куски. Последовали массовые демонстрации протеста: спалили чучело Гольдштейна, сотни плакатов с евразийским солдатом порвали в клочья и сожгли, заодно разграбили несколько магазинов. Потом пронесся слух, что ракетные боеголовки с помощью радиоволн направляют шпионы, и пожилую пару, которую подозревали в иностранном происхождении, заперли в доме и спалили живьем.

Изредка встречаясь в комнате над лавкой Чаррингтона, Джулия с Уинстоном открывали окно настежь и лежали на кровати голыми в надежде на вечернюю прохладу. Крыса больше не возвращалась, зато клопы в жаре размножились чрезвычайно. Джулию с Уинстоном это мало заботило, комната все равно казалась им раем. Придя, они посыпали все перцем, купленным на черном рынке, сбрасывали одежду, предавались похотливым ласкам, ненадолго забывались сном, а пробуждаясь, обнаруживали, что клопы уже в боевых порядках и готовы к контратаке.

Четыре, пять, шесть... семь свиданий было у них в июне. Уинстон бросил привычку накачиваться джином в течение дня: больше не испытывал в нем потребности. Он поправился, варикозная язва затянулась, оставив коричневое пятно выше щиколотки, приступы кашля по утрам прекратились. Жизнь больше не казалась ему невыносимой, корчить рожи телеэкрану или громко ругаться больше не хотелось. Теперь, когда у них было надежное убежище, почти свой дом, Уинстона с Джулией не тяготили ни редкость, ни краткость общения. Главное, что у них есть комнатка над лавкой старьевщика. Знать, что убежище существует, было все равно что в нем находиться. Комната стала для них целым миром, пластом прошлого, в котором разгуливали вымершие животные.

Мистера Чаррингтона Уинстон тоже считал реликтом другой эпохи. И всегда останавливался поболтать пару ми-

нут с хозяином. Видимо, старик выходил на улицу редко, да и клиентов у него почти не было. Он вел призрачное существование между крохотной темной лавкой и еще более крохотной и темной кухней, где готовил себе еду и слушал невероятно древний граммофон с огромной трубой. Возможности поговорить он, похоже, всегда радовался. Расхаживая среди своих грошовых товаров в бархатном пиджаке и в очках с толстыми стеклами на длинном носу, Чаррингтон смахивал скорее на коллекционера, чем на лавочника. С вялым энтузиазмом он указывал на какой-нибудь хлам: фарфоровую пробку для бутылки, раскрашенную крышечку от утраченной табакерки, дешевый медальон с локоном давно умершего младенца – и никогда не уговаривал Уинстона купить, просто показывал, ожидая от него лишь восхищения. Разговаривать со стариком было все равно что слушать перезвон старой музыкальной шкатулки. Ему удалось извлечь из памяти еще несколько фрагментов забытых стихов: про двадцать четыре черных дрозда, про корову с обломанным рогом, про гибель бедного Петушка Робина. «Просто подумалось, что вас это может заинтересовать», – замечал он с ироничным смешком и выдавал очередную пару строк. Увы, он так и не вспомнил ничего целиком.

Любовники понимали (более того, мысль эта никогда не покидала их), что так не может продолжаться вечно. Временами факт надвигающейся гибели казался им не менее осязаемым, чем кровать, на которой они лежат, и они прижима-

лись друг к другу с безысходной чувственностью – так сраженная проклятием душа тянет к себе последыш удовольствия за несколько минут до гибельного боя часов. Они чувствовали, что в этой комнате ничто не сможет им навредить. Добираться сюда было трудно и опасно, зато тут их ждало надежное убежище вроде того, какое Уинстон увидел в глубине пресс-папье. Ему казалось, что стоит проникнуть в сердце стеклянного мира, и время остановится. Часто они предавались мечтам. О побеге – их удача никогда не закончится, их любовная связь навсегда останется тайной. Или что Кэтрин умрет – и Уинстону с Джулией с помощью ловких маневров удастся пожениться. О том, как они вместе покончат с собой. Или исчезнут, изменятся до неузнаваемости, научатся разговаривать с пролским акцентом, устроятся работать на фабрику и проживут всю жизнь в каком-нибудь глухом закоулке. Увы, оба знали, что это вздор и спасения нет. Не собирались осуществлять даже единственный более-менее реальный план – самоубийство. Цепляться за жизнь день за днем, месяц за месяцем, растягивать настоящее, у которого нет будущего, представлялось им неодолимым инстинктом, похожим на тот, что заставляет легкие делать следующий вдох до тех пор, пока не иссякнет воздух.

Иногда они заговаривали об активном участии в восстании против Партии, хотя понятия не имели, как сделать первый шаг. Даже если мифическое Братство действительно существует, попасть в него трудно. Уинстон рассказал Джулии

о непонятных узах, связывавших, казалось, его и О'Брайена, о своем порыве просто подойти к нему, объявить себя врагом Партии и потребовать помощи. Как ни странно, Джулию такой поступок вовсе не поразил своей безрассудностью. Она привыкла судить о людях по лицам, и ей казалось вполне естественным, что Уинстон счел О'Брайена заслуживающим доверия благодаря одному перехваченному им взгляду. Более того, она считала само собой разумеющимся, что каждый или почти каждый втайне ненавидит Партию и готов нарушить правила, если только его не поймают. При этом она отказывалась верить, что разветвленная, организованная оппозиция существует. Сказки про Гольдштейна и его подпольную армию, говорила она, просто ложь, которую Партия сочинила для своих нужд, а людям приходится притворяться, будто верят. Бесчисленное количество раз на партийных собраниях и стихийных демонстрациях Джулия во весь голос требовала казни людей, чьи имена слышала впервые и в чьи преступления ничуть не верила. На публичных судебных процессах она примыкала к отрядам Молодежной лиги, которая окружала суды с утра до ночи, и скандировала вместе со всеми «Смерть предателям!». На Двухминутках ненависти она всегда превосходила остальных, выкрикивая оскорбления в адрес Гольдштейна. При этом весьма смутно представляла, кто такой Гольдштейн и какой именно доктрины он придерживается. Джулия выросла после Революции и не застала идеологических баталий пятидесятых и шестиде-

сятых. Самое представление о независимом политическом движении лежало за пределами ее воображения. В любом случае, Партия непобедима. Она будет всегда и всегда будет той же самой. Бунтовать против нее можно лишь путем тайного непослушания или, самое большее, совершая отдельные акты насилия вроде убийств и закладывания бомб.

В некотором смысле Джулия была гораздо проникательнее Уинстона и менее восприимчива к партийной пропаганде. Однажды он походя упомянул войну с Евразией и немало удивился, когда она спокойно бросила, что никакой войны не ведется. Ежедневно падающие на Лондон ракеты, по мнению Джулии, запускало само правительство Океании, «просто чтобы держать людей в страхе». Такое даже не приходило ему в голову. Еще Джулия вызвала у него зависть, признавшись, что на Двухминутках ненависти едва сдерживает хохот. При том она критически оценивала учение Партии лишь тогда, когда оно затрагивало ее личную жизнь. Часто она согласно принимала официальную мифологию, просто потому что разница между правдой и вымыслом казалась ей несущественной. К примеру, она со школы верила, что самолеты изобрела Партия. Когда Уинстон учился в школе, Партия претендовала на изобретение вертолета; десятью годами позднее, когда училась Джулия, Партия заявила свои права на самолет, а еще через десять лет наверняка присвоит себе и изобретение парового двигателя. Узнав, что самолеты летали задолго до Революции, она ничуть не удивилась. В конце

концов, какая разница, кто именно изобрел самолет? Гораздо бóльшим потрясением для Уинстона стало другое: она не помнила, что четыре года назад Океания воевала с Востазией и находилась в мире с Евразией. Считая войну обманом, Джулия даже не заметила, что имя врага изменилось. «По мне, мы всегда воевали с Евразией», – уклончиво проговорила она. Уинстона это напугало. Самолеты изобрели задолго до ее рождения, но резкая смена врага случилась всего четыре года назад, уже после того как она стала взрослой. Они проспорили с четверть часа, и в конце Уинстону удалось заставить ее вспомнить, что прежде врагом была Востазия, а не Евразия. Только для нее это представлялось несущественным. «Да какая разница? – нетерпеливо воскликнула Джулия. – Одна мерзкая война следует за другой, и все знают, что новости в газетах сплошное вранье!»

Иногда он говорил с ней о департаменте документации и наглых подлогах, которые там совершались. Такое ее тоже едва ли трогало. При мысли, как именно ложь замещает правду, Джулия вовсе не чувствовала, что под ней разверзается бездна. Уинстон рассказал ей историю про Джонса, Аронсона и Резерфорда и про клочок газеты, который ненадолго попал ему в руки. На Джулию это впечатления не произвело. Сначала она вообще не поняла, в чем суть.

– Они твои друзья?

– Нет, мы даже не были знакомы. Они состояли в Центре Партии. К тому же они гораздо старше меня и родились за-

долго до Революции. Я знал их только в лицо.

– Тогда к чему так переживать? Подумаешь, людей всю дорогу уничтожают!

Уинстон попытался ей объяснить:

– Это особый случай. Дело не в том, что их уничтожили. Неужели ты не понимаешь, что прошлое, начиная со вчерашнего дня, фактически упразднено? Если оно где-то и остается, то лишь в немногочисленных предметах, с какими не поговоришь, вроде того куска стекла на полке. Мы почти ничего не знаем ни о Революции, ни о годах перед ней. Все записи подделаны или уничтожены, все книги перепечатаны, все картины переписаны, все статуи и здания переименованы, все даты изменены. И этот процесс продолжается день за днем, минута за минутой. История остановилась! Не существует ничего, кроме бесконечного настоящего времени, в котором Партия всегда права. Я знаю, что прошлое сфальсифицировано, но никогда не смогу ничего доказать, хотя сам принимаю в этом участие. После того как дело сделано, доказательств не остается. Единственное свидетельство – у меня в голове, и я вовсе не уверен, что хоть один человек кроме меня помнит то же самое. Лишь раз в жизни ко мне в руки попало настоящее, твердое доказательство, причем спустя много лет после самого события!

– И какая тебе с того польза?

– Никакой, потому что я сразу его сжег. Если бы это случилось сегодня, я бы его сохранил.

– А я бы нет! – возразила Джулия. – Я готова рискнуть ради чего-нибудь стоящего, а не ради клочка старой газеты! И потом, что бы ты с обрывком сделал?

– Может, и ничего. Но это было подлинное свидетельство, оно могло бы посеять сомнения, отважся я его кому-то показать. Вряд ли за свои жизни мы в силах хоть что-то изменить, однако со временем будут возникать узлы сопротивления, люди станут объединяться в маленькие группы, те постепенно разрастутся и даже оставят после себя записи, чтобы следующие поколения смогли продолжить наше дело, а не начинать с нуля.

– Нет у меня интереса, милый, к следующим поколениям. Мой интерес – *мы*.

– Ты бунтарка лишь ниже пояса!

Джулия сочла замечание чрезвычайно остроумным и восторженно кинулась Уинстону на шею.

Нюансы доктрины Партии ничуть не интересовали ее. Стоило Уинстону заговорить о принципах ангсоца, двоемыслии, непостоянстве прошлого, отрицании объективной реальности, используя лексику новослова, как Джулии становилось непонятно и скучно. О такой ерунде, признавалась, она предпочитает не задумываться. Каждому ясно, что это чушь, так зачем переживать по пустякам? Главное – понимать, когда следует кричать «ура», а когда «смерть предателям», остальное неважно. Когда же Уинстон углублялся в подобные темы, то, к его досаде, Джулия просто засыпала.

Она принадлежала к тем счастливым, кто способен уснуть всегда и везде. В общении с нею Уинстон понял, насколько легко изображать идеологический догматизм, не имея ни малейшего представления о догматах. Наиболее успешно Партия навязывает свое мировоззрение тем, кто не в силах его постичь. Такие люди готовы мириться с любым, даже самым вопиющим насилием над действительностью, ибо никогда в полной мере не осознают всю чудовищность происходящего и не особо интересуются, чем и как живет общество, они просто не замечают, что творится вокруг. Непонимание сохраняет им рассудок. Они глотают все подряд, и это не причиняет им ни малейшего вреда, поскольку не задерживается в головах – так птица глотает кукурузное зерно целиком, а то проходит сквозь ее тело неусвоенным.

## VI

Наконец-то случилось! Уинстону казалось, что он ждал этого момента всю жизнь.

Он шел по длинному коридору министерства и почти добрался до места, где Джулия сунула ему записку, как вдруг почувствовал за спиной чье-то присутствие. Человек вежливо кашлянул, словно собирался заговорить. Уинстон замер и обернулся. То был О'Брайен.

Наконец-то они встретились без свидетелей, но теперь Уинстону хотелось убежать сломя голову. Сердце едва не выпрыгнуло из груди, язык отнялся. О'Брайен непринужденно подошел, по-дружески коснулся плеча Уинстона и зашагал с ним рядом. Говорил он подчеркнуто серьезно и учтиво, что выгодно отличало его от большинства членов Центра Партии.

– Давно надеюсь с вами побеседовать, – заметил он. – Прочел вчера в «Таймс» вашу статью на новослове. Насколько понимаю, у вас к нему научный интерес?

К Уинстону вернулось, хоть и не полностью, самообладание.

– Едва ли научный, – ответил он. – Я всего лишь дилетант. Да и сфера не моя: никогда не имел ничего общего с конструированием языка.

– Зато пишете вы весьма изящно, – похвалил О'Брайен. –

И это не только мое мнение. Недавно я беседовал с вашим приятелем, кто, конечно же, спец в этом. Никак не припомню его имя...

Сердце Уинстона болезненно сжалось. Тут и гадать нечего: намек был на Сайма. Но Сайм не просто умер, его уничтожили, сделали *безличностью*. Любое упоминание о нем смертельно опасно. Замечание О'Брайена наверняка задумано как сигнал, как кодовое слово. Маленький *помыслокриминал* делал их обоих сообщниками. Они продолжали шагать по коридору, и вдруг О'Брайен остановился. Со странным, обезоруживающим дружелюбием, которое ему всегда удавалось вложить в этот жест, он поправил очки на носу и признался:

– На самом деле я хотел сказать, что заметил в вашей статье пару слов, которые вышли из употребления. Впрочем, это случилось совсем недавно. Вы уже видели десятое издание «Словника новослова»?

– Нет, – ответил Уинстон. – Не знал, что оно уже вышло. У себя в *депдоке* мы все еще пользуемся девятым.

– Насколько мне известно, десятое издание выйдет не раньше чем через несколько месяцев. Однако сигнальные экземпляры уже отпечатаны. У меня тоже есть. Не хотите ли как-нибудь взглянуть?

– Очень хочу, – ответил Уинстон, поняв, к чему тот клонит.

– Некоторые усовершенствования весьма остроумны. Со-

кращено количество глаголов – вам это, наверное, особенно интересно. Дайте подумать, может, отправить вам словник с курьером? Боюсь, я о таких мелочах постоянно забываю. Или лучше сами заглянете ко мне в удобное для вас время? Подождите, позвольте я вам запишу свой адрес.

Они стояли перед телеэкраном. О’Брайен с рассеянным видом ощупал карманы, достал блокнотик в кожаной обложке и золотую перьевую ручку. Прямо перед экраном, чтобы наблюдавшие за ними по ту сторону видели все, он написал адрес, вырвал страничку и протянул Уинстону.

– По вечерам я обычно дома, – сказал он. – Если нет, «Словник» вам отдаст мой слуга.

И О’Брайен ушел, оставив Уинстона с клочком бумаги, который на этот раз можно было не прятать. Тем не менее он тщательно запомнил адрес и пару часов спустя бросил его в дыру памяти вместе с мусором.

Говорили они самое большее пару минут. Их случайная встреча могла означать только одно: О’Брайен хотел, чтобы Уинстон узнал его адрес. Кроме как по прямому запросу получить эту информацию нигде. «Если хочешь увидеться, найдешь меня здесь», – дал понять О’Брайен. Возможно, в «Словнике» Уинстона ждало тайное послание. В любом случае, в одном он мог быть твердо уверен: подпольная организация действительно существует, и ему наконец удалось на нее выйти.

Уинстон знал, что рано или поздно явится на зов О’Брай-

ена. Может, завтра же, может, спустя некоторое время – он пока не решил. Происходящее стало логическим следствием процесса, начатого много лет назад. Первый шаг – тайный, невольный помысел, второй – ведение дневника. Он перешел от помыслов к словам, а теперь и от слов к поступкам. Последний шаг – то, что произойдет в министерстве любви. Уинстон принял свою судьбу. Начало уже включало конец. И это здорово пугало, пугал, точнее, привкус смерти. В нем словно меньше жизни осталось. Еще в разговоре с О’Брайеном, когда до него дошел смысл сказанного, все тело его охватил озноб. Ощутил, как с каждым шагом все больше уходит в могильную сырость, и ничуть не легче было оттого, что он всегда знал: перед ним могила, и она поджидает его.

## VII

Уинстон проснулся в слезах. Джулия сонно к нему прильнула и невнятно пробормотала:

– Что с тобой?

– Мне приснилось... – начал он и умолк, не в силах облечь чувства в слова. Сон всколыхнул в нем воспоминание, всплывшее в сознании через несколько секунд после пробуждения.

Уинстон лежал на спине с закрытыми глазами, переживая свой сон. Огромный, яркий сон, в котором перед ним расстилалась вся жизнь, словно пейзаж летним вечером после дождя. Действие происходило внутри пресс-папье: поверхность стекла была небесным куполом, и все заливал чистый, мягкий свет, позволяющий видеть на необычайно большие расстояния. Весь сон занимало (по сути, из этого он и состоял) поведение матери Уинстона, а еще увиденное им тридцать лет спустя в фильме о войне поведение еврейской женщины, что пыталась укрыть маленького мальчика от пуль за миг до того, как очередь с вертолета разорвала обоих в куски.

– А знаешь, – сказал он, – я до сих пор я был уверен, что убил свою мать!

– Зачем ты ее убил? – сонно прошептала Джулия.

– Не убивал я ее. Не буквально.

Вспомнилось, как во сне видел маму в последний раз,

вскоре после пробуждения в памяти всплыли все подробности. Эту память Уинстон гнал из своего сознания много лет. Точную дату он бы не назвал, хотя вряд ли ему было меньше десяти лет, возможно, даже двенадцать. К тому времени отец уже исчез, когда именно, Уинстон не помнил. Больше помнилась напряженная, тревожная обстановка тех дней: приступы паники из-за постоянных авианалетов и укрытие в подzemке, повсюду руины, непонятные прокламации на углах улиц, бригады молодых людей в одинаковых рубашках, огромные очереди у булочных, громкая стрельба вдали... и самое главное, постоянное чувство голода. Целыми днями он вместе с другими мальчиками рылся в мусорных баках, выбирая капустные кочерыжки, картофельные очистки, порой даже черствые обгорелые корки, с которых они тщательно соскребали золу. Дети ждали на обочине, пока мимо проедут грузовики, везущие корм скоту, – на ухабах те подпрыгивали, и на дорогу иногда падал жмых.

Когда исчез отец, мама не выказала ни удивления, ни сильного горя, но с ней произошла внезапная перемена: из нее словно душу вынули. Даже Уинстон понимал, что она ждет чего-то неминуемого. Мама делала все, что полагалось: готовила еду, стирала белье, чинила одежду, застилала постель, подметала пол, вытирала пыль с каминной полки – всегда очень медленно и без лишних усилий, словно манекен для рисования, который движется сам по себе. Ее крупное, статное тело пребывало в спячке: целыми часами мама

неподвижно сидела на кровати, баюкая младшую сестренку Уинстона, крошечную, болезненную девочку лет двух-трех, с похожим на обезьянью мордашку лицом. Очень редко она обнимала сына, крепко прижимала к себе и долго молчала. Несмотря на свой юный возраст и эгоизм, он понимал: это связано с тем, о чем не говорят вслух и что вот-вот должно произойти.

Уинстон помнил комнату, в которой они жили: темную, затхлую, наполовину занятую кроватью с белым стеганым покрывалом. В камине была газовая конфорка кольцом, рядом полка с едой, на лестничной площадке висела коричневая фаянсовая раковина, одна на несколько семей. Он помнил статную фигуру матери, склонившуюся над конфоркой и мешавшую что-то в кастрюльке. Больше всего помнился вечный голод и яростные, жадные ссоры за столом. Уинстон постоянно клянчил у матери еду, кричал и топал ногами (помнились даже истерические нотки в его голосе, который начал ломаться раньше времени и временами вдруг глухо басил), а иногда добавлял слезливой истерии, пытаясь получить долю больше положенной. Мама уступала с готовностью, принимая как должное, что мальчику нужно больше еды, однако сколько бы она ему ни давала, он непременно требовал еще. Всякий раз она умоляла его не быть себялюбцем, помнить, что маленькая сестренка больна и ей тоже нужна еда. Без толку. Уинстон вопил от ярости, вырывал у нее из рук кастрюльку и половник, хватал куски из чужих тарелок. Он

знал, что объедает мать с сестрой, но ничего не мог с собой поделаться, ему даже казалось, что он имеет на это полное право, словно непрестанно урчащий от голода живот его оправдывал. Между приемами пищи, если мамы не было поблизости, он шарил в скудных припасах на полке с едой.

Однажды им выдали шоколадный паек, чего не случалось уже много недель или даже месяцев. Он прекрасно помнил ту драгоценную плитку весом в две унции (в то время еще мерили унциями), которую следовало разделить на троих поровну. Внезапно Уинстон услышал себя со стороны: низкий, басовитый голос требовал себе весь шоколад. Мама велела не жадничать. Долго и нудно препирались – с криками, нытьем, слезами, возражениями, уговорами. Кроха-сестричка, цеплявшаяся за мать, как обезьянка, смотрела на него огромными, скорбными глазами. В конце концов мама отломала три четверти плитки и отдала Уинстону, а сестре сунула оставшийся кусочек. Та взяла его с отрешенным видом, словно не знала, что это такое. Уинстон смерил ее взглядом, потом внезапно бросился к сестре, вырвал из ее ручонки шоколадку и метнулся к двери.

– Уинстон, Уинстон! – кричала ему вслед мать. – Вернись! Отдай сестре ее шоколад!

Он замер на месте, но в комнату не вернулся. Мама смотрела с тревогой. Сестра сообразила, что чего-то лишилась, и жалобно заплакала. Мама обняла ее, прижала к груди, и Уинстон понял: сестра умирает. Он опрометью бросился вниз по

лестнице, судорожно сжимая в кулаке липкий шоколад.

Больше он мать не видел. Сложив шоколад, Уинстон слегка устыдился и бродил по улицам несколько часов, пока голод не погнал его обратно. Вернувшись домой, он обнаружил, что мама исчезла. В то время это уже стало в порядке вещей. Из комнаты не пропало ничего, кроме матери и сестры. Они не взяли с собой никакой одежды, даже мамин плащ. До сегодняшнего дня Уинстон так и не узнал, умерла мама или нет. Вполне возможно, ее отправили в трудовой лагерь. Сестру могли поместить, как и Уинстона, в колонию для беспризорников (их называли исправительными центрами), которых из-за гражданской войны стало очень много, либо увезли в лагерь вместе с матерью, либо же просто бросили где-нибудь умирать.

Сон так и стоял у него перед глазами, особенно заботливый, успокаивающий жест матери, в каком и заключался главный смысл. Уинстон вспомнил другой сон, что приснился ему два месяца назад. Точно так же, как и на убогой кровати с белым покрывалом, мама сидела, прижимая к себе дитя, в тонущем корабле, далеко внизу, и погружалась все глубже и глубже, глядя ему в глаза сквозь толщу темнеющей воды.

Он рассказал Джулии историю исчезновения своей матери. Не открывая глаз, она перевернулась на другой бок и устроилась поудобнее.

– Так и знала, что ты был гаденыш, – буркнула Джулия. –

Все дети такие.

– Да, но смысл истории в ином...

По дыханию было ясно, что Джулия засыпает. Уинстону очень хотелось поговорить о матери. Судя по тому, что помнилось, вряд ли она была женщиной необыкновенной, тем более умной, хотя при этом отличалась некоторым благородством и праведностью, потому что руководствовалась своими собственными принципами. Ее чувства принадлежали только ей и не поддавались влиянию извне. Маме бы в голову не пришло, что действие, которое не венчает успех, лишено смысла. Если любишь человека, то любишь до конца, и если тебе нечего ему дать, то даешь ему любовь. Когда шоколада не осталось, мать обняла дитя. Ничего не изменилось, шоколада больше не стало, это не отсрочило ни смерть ребенка, ни ее смерть, но по-другому она бы не смогла. Беженка в лодке тоже укрыла ребенка, что защищало от пуль не лучше, чем лист бумаги. Самое ужасное в том, что Партия совершенно обесценила простые человеческие позывы и чувства, а затем лишила людей всякой возможности влиять на материальный мир. В железных тисках Партии уже неважно, чувствуешь ты что-то или нет, действуешь или воздерживаешься от действия. Что бы ни случилось, ты исчезнешь, и ни о тебе, ни о твоих действиях уже никто не узнает. Тебя просто извлекают из потока истории. Всего пару поколений назад люди не считали это важным, потому что не пытались менять историю. Ими двигали личные привязанности,

которые не ставились под сомнение. Тогда по-настоящему ценились человеческие взаимоотношения, и абсолютно беспомощный жест, объятие, слеза, слово, сказанное умирающему, значили очень многое. Люди не были преданы партии, стране или идее, они были преданы друг другу. Внезапно Уинстон осознал, что пролы вовсе не презренные существа и не инертная масса, которая когда-нибудь пробудится от спячки и изменит мир. Пролы остались людьми. Они не ожесточились сердцем. Сохранили примитивные чувства, которым Уинстону приходилось учиться, прилагая усилия. Размышляя так, он случайно вспомнил, как несколько недель назад увидел на тротуаре оторванную руку и пинком отбросил ее в канаву, словно капустную кочерыжку.

– Пролы остались людьми, – сказал он вслух. – А мы – нет...

– Почему? – спросила проснувшаяся Джулия.

Уинстон задумался.

– Тебе не приходило в голову, что лучше всего нам было бы уйти отсюда и больше не встречаться никогда?

– Да, милый, и не раз. Но я от тебя не уйду!

– Пока нам везло, однако скоро все может закончиться. Ты молода, выглядишь вполне нормальной и невинной. Будешь держаться подальше от таких, как я, проживешь еще лет пятьдесят.

– Нет. Я уже все продумала. Куда ты, туда и я. Не падай духом! Выживать я умею хорошо.

– Неизвестно, сколько еще нам осталось провести вместе: полгода, год. Под конец нас точно разлучат. Представляешь, как будет одиноко? Как только нас возьмут, мы не сможем помочь друг другу ничем! Если я признаюсь, тебя расстреляют, если откажусь признаться, тебе все равно не жить. Ничто из того, что я могу сделать, сказать или не сказать, не отсрочит твою смерть больше чем на пять минут. Ни один из нас не будет знать, жив другой или мертв. Мы будем совершенно бессильны. Важно останется лишь одно: не предать друг друга – хотя и это мало что изменит.

– Коль ты заговорил о признании, – заметила Джулия, – так мы оба признаемся как миленькие. Признаются все и всегда. Под пытками чего только не сделаешь!

– Признание – еще не предательство. Неважно, что ты скажешь или сделаешь, важны лишь чувства. Если им удастся заставить меня разлюбить тебя, это и будет настоящим предательством.

Джулия задумалась.

– Не удастся, – наконец проговорила она. – Тебя могут заставить сказать все – *все* что угодно, – но им никак не заставить тебя в это поверить. В голову тебе им не влезть.

– Ты права, – согласился Уинстон, слегка обнадеженный. – Такое им не по силам. Чувствуешь, что остался человеком, несмотря ни на что, значит, ты победил.

Он вспомнил про вечно работающий телеэкран, недреманное око и ухо. Пусть шпионят день и ночь, главное – не те-

рять голову, тогда их можно перехитрить. При всей своей ухищренности они так и не научились читать чужие мысли. Впрочем, если попадаешь им в руки, то ситуация меняется. Никому не известно, что именно происходит в министерстве любви, хотя догадаться несложно: пытки, наркотики, чувствительные приборы, улавливающие малейшие реакции тела, постепенное нервное истощение из-за невозможности уснуть, одиночества и усердных допросов. В любом случае, фактов не скроешь. Они могут всплыть в ходе дознания, их можно вытянуть под пыткой. Если твоя цель не в том, чтобы выжить, а в том, чтобы остаться человеком, то какая разница? Над чувствами они не властны: тебе и самому их не изменить, даже если захочется. Они могут вызнать в мельчайших подробностях, что ты сделал или сказал, но в твой внутренний мир им хода нет.

## VIII

Наконец-то им удалось!

Уинстон с Джулией стояли в длинной, мягко освещенной комнате. Звук телеэкрана был прикручен до полусшепота, толстый синий ковер под ногами казался мягким, как бархат. В дальнем конце кабинета за столом с лампой под зеленым абажуром сидел О'Брайен, зарывшийся в бумаги. Когда слуга провел Уинстона с Джулией, тот даже не потрудился поднять взгляд.

Сердце Уинстона буквально выпрыгивало из груди, и он сомневался, что сможет заговорить. В голове крутилась единственная мысль: наконец-то, наконец-то им удалось! Прийти сюда было крайне опрометчиво, тем более явиться вдвоем; впрочем, добирались они разными маршрутами и встретились только на пороге. Им потребовалось немалое мужество, чтобы войти в подобное место. Простые партийцы редко навещают кварталы, где живут члены Центра Партии, не говоря уже о том, чтобы посещать их апартаменты. Сама атмосфера многоквартирного дома, богатое убранство и просторные помещения, непривычные запахи хорошей еды и дорогого табака, бесшумные и невероятно быстрые лифты, снующая туда-сюда прислуга в белых пиджаках – буквально все здесь заставляло чувствовать себя лишними. Хотя у Уинстона был хороший предлог для визита, его

на каждом шагу преследовал страх, что внезапно из-за угла возникнет охранник в черной униформе, потребует предъявить документы и укажет на выход. Однако слуга О'Брайена пустил их без возражений. Это был темноволосый коротышка в белом пиджаке; судя по ромбовидному, лишенному всякого выражения лицу, он вполне мог иметь китайские корни. Коридор, по которому он провел посетителей, устилал мягкий ковер, на стенах – кремовые обои и белые панели, причем восхитительно чистые. Уинстон даже не помнил, доводилось ли ему видеть коридор, где стены не засалены от частых прикосновений.

О'Брайен держал в руке лист бумаги и внимательно изучал. Массивное лицо, склоненное таким образом, что становилась четко видна линия носа, выглядело одновременно внушительным и умным. Секунд двадцать он сидел неподвижно, затем придвинул к себе речеписец и отчеканил сообщение на гибридном жаргоне министерств:

«Пункты один запятая пять, запятая семь одобрены полностью точка предложение в пункте шесть дваждыплюс нелепо на грани помыслокриминала отменить точка прекратить контрпродуктивную практику заранее плюсполно оценивать производственные издержки точка конец сообщения».

Он неторопливо поднялся и пошел к ним, беззвучно ступая по толстому ковру. После того как хозяин закончил говорить на новослове, строгости в нем немного убавилось,

но вид оставался мрачным, словно его оторвали от важного дела. Уинстон вдобавок к ужасу испытывал и обычное смущение: он понял, что вполне мог глупейшим образом ошибиться. С чего он вообще взял, что О'Брайен политический заговорщик? Из доказательств у него лишь перехваченный взгляд и двусмысленное замечание, остальное же домыслы, вызванные сном. Слишком поздно притворяться, что он пришел за «Словником новослова», ведь как тогда объяснить присутствие Джулии? Проходя мимо телеэкрана, О'Брайен задумчиво остановился, протянул руку и нажал на выключатель. Раздался резкий щелчок, голос умолк.

Джулия ойкнула, не в силах скрыть удивления. Несмотря на приступ паники, Уинстон тоже не смог удержать язык за зубами.

– Вы можете его отключить!

– Могу, – кивнул О'Брайен, – есть у нас такая привилегия.

Теперь он стоял напротив Уинстона с Джулией. Его массивное тело возвышалось над ними, выражение лица оставалось непонятным. Он явно ждал, когда Уинстон заговорит, но о чем говорить? Даже сейчас шансы были велики, что он просто занятой человек, который сердито недоумевает, зачем его оторвали от важного дела. Все молчали. После выключения телеэкрана в комнате повисла мертвая тишина. Тянулись тягостные секунды. Уинстон с трудом выдерживал тяжелый взгляд О'Брайена. Внезапно мрачное лицо смягчилось, выдав намек на улыбку, и О'Брайен поправил очки при-

вычным жестом.

– Мне сказать или вы сами?.. – спросил он.

– Я сам, – с готовностью подхватил Уинстон. – Вы его действительно выключили?

– Да, все отключено. Мы одни.

– Мы пришли сюда, чтобы... – Он помедлил, осознав неясность своих мотивов. Не имея представления, какой именно помощи ждать от О'Брайена, Уинстон не мог словами выразить, зачем пришел. И все же продолжил, хотя и понимал, насколько неубедительно и напыщенно это звучит: – Мы считаем, что существует некий заговор, некая тайная организация, действующая против Партии, и вы в ней состоите. Мы хотим в нее вступить. Мы враги Партии. Мы не верим в принципы ангсоца. Мы помыслокриминалы и прелюбодеи. Я рассказываю вам это потому, что мы предаем себя в ваши руки. Если вам угодно, чтобы мы изобличили себя еще в чем-то, то мы готовы.

Уинстон умолк и глянул через плечо, почувствовав, что дверь открылась. Как и следовало ожидать, желтолицый слуга вошел без стука. Он держал в руках поднос с графином и бокалами.

– Мартин один из нас, – бесстрастно выговорил О'Брайен. – Неси напитки сюда, Мартин. Поставь на круглый столик. Нам хватает стульев? Тогда давайте присядем и спокойно поговорим. Себе тоже возьми стул, Мартин. Это по делу, так что пока можешь не притворяться слугой.

Коротышка расположился вольготно и в то же время подобострастно, с видом лакея, которому дарована привилегия. Уинстон наблюдал за ним краем глаза. Его поразил человек, всю жизнь играющий роль и страшющийся скинуть привычную маску даже на миг. О'Брайен взял графин за горлышко и наполнил бокалы темно-красной жидкостью. В Уинстоне всколыхнулись смутные воспоминания: то ли на стене, то ли на рекламном щите он когда-то видел сделанную из электрических лампочек огромную бутылку, и огоньки двигались верх-вниз, словно переливая ее содержимое в бокал. Если смотреть сверху, то жидкость казалась почти черной, однако в графине выглядела рубиновой. Запах был кисло-сладкий. Джулия подняла бокал и с любопытством понюхала.

– Это называется вино, – сообщил О'Брайен с легкой улыбкой. – Несомненно, вы читали о нем в книгах. Боюсь, до Масс Партии оно почти не доходит. – Он снова посерьезнел и поднял бокал. – Полагаю, нам следует начать с того, чтобы выпить за здоровье нашего вождя. За Эммануэля Гольдштейна!

Уинстон поднял бокал с готовностью. О вине он читал и давно мечтал попробовать. Как и стеклянное пресс-папье или полузабытые стихи Чаррингтона, оно принадлежало исчезнувшему, романтическому прошлому, старым добрым временам. Почему-то он всегда думал, что на вкус вино должно быть сладким, как смородиновый джем, и сразу кру-

жить голову. Увы, проглотив залпом свою порцию, Уинстон ощутил лишь разочарование. После стольких лет употребления джина он не смог оценить вкус вина.

– Значит, Гольдштейн на самом деле существует? – спросил он, поставив бокал на стол.

– Да, такой человек есть. Только мне неизвестно, где он.

– А заговор... я имею в виду подпольную организацию... тоже есть? Разве ее не придумала полиция помыслов?

– Нет, не придумала. Мы называем ее Братство. Вам не суждено узнать о Братстве ничего, кроме того, что оно существует и вы в нем состоите. К этому я еще вернусь. – Он посмотрел на наручные часы. – Для Масс Партии неразумно выключать телеэкран больше чем на полчаса. Вы, товарищ, – он поклонился Джулии, – уйдете первой. У нас остается около двадцати минут. Как вы сами понимаете, для начала я должен задать ряд вопросов. В общем и целом, на что вы готовы пойти?

– На все, что в наших силах, – заявил Уинстон.

О’Брайен слегка повернулся, чтобы лучше видеть лицо Уинстона. На Джулию он почти не обращал внимания, считая само собой разумеющимся, что Уинстон говорит за обоих. На миг он прикрыл веки и начал задавать вопросы низким, бесстрастным голосом, словно это была обычная рутина, своего рода катехизис, и большую часть ответов он знал заранее.

– Вы готовы отдать свою жизнь?

– Да.

– Вы готовы убивать?

– Да.

– Совершать диверсии, которые могут погубить сотни невинных людей?

– Да.

– Предать свою страну и сотрудничать с иностранными государствами ей в ущерб?

– Да.

– Вы готовы прибегнуть к обману, лжи, шантажу, вы готовы развращать неокрепшие детские умы, распространять наркотики, поощрять проституцию, распространять венерические заболевания, то есть все то, что деморализует и ослабит Партию?

– Да.

– Если, к примеру, в интересах нашего общего дела нужно будет плеснуть серной кислотой в лицо ребенку, вы на это готовы?

– Да.

– Вы готовы лишиться своего подлинного имени и прожить остаток жизни официантом или портовым грузчиком?

– Да.

– Вы готовы покончить с собой, если и когда вам прикажут?

– Да.

– Вы готовы расстаться и больше никогда не видеть друг

друга?

– Нет! – не выдержала Джулия.

Уинстон мучительно долго молчал, прежде чем ответить. Казалось, он лишился дара речи. Язык беспомощно ворочался у него во рту, снова и снова пытаясь выговорить единственный слог то одного, то другого слова. До последнего он и сам не знал, что ответит.

– Нет, – наконец выдавил он.

– Хорошо, что признались, – похвалил О’Брайен. – Нам необходимо знать о вас все.

Он повернулся к Джулии и добавил чуть менее бесстрастным голосом:

– Вы понимаете, что даже если он выживет, то станет совсем другим человеком? Вероятно, нам понадобится дать ему новое имя. Лицо, манера двигаться, форма рук, цвет волос, даже голос могут измениться. Вы сами тоже станете другой. Наши хирурги способны изменять людей до неузнаваемости. Иногда это бывает необходимо. Иногда мы даже прибегаем к ампутации конечностей.

Уинстон невольно бросил взгляд на монголоидное лицо Мартина. Шрамов вроде бы не видно. Джулия побледнела так, что на лице проступили веснушки, но продолжала отважно смотреть на О’Брайена и даже пробормотала что-то в знак согласия.

– Значит, договорились!

На столе стояла серебряная шкатулка с папиросами.

О'Брайен с рассеянным видом подвинул ее гостям, взял себе одну папиросу, поднялся и начал медленно расхаживать взад-вперед, словно на ходу ему лучше думалось. Папиросы были очень хорошие, толстые и плотно набитые, в непривычно шелковистой бумаге. О'Брайен снова бросил взгляд на наручные часы.

– Мартин, тебе лучше вернуться на кухню, – заметил он. – Я включу телеэкран через четверть часа. Посмотри хорошенько на лица этих товарищей и запомни. Тебе предстоит увидеть их не раз, а мне, может, и нет.

Точно так же, как и у входной двери, коротышка смерил Уинстона с Джулией взглядом. В его манере поведения не было и тени любезности. Он запоминал их внешность, не испытывая к ним ни малейшего интереса. Уинстону пришло в голову, что после пластической операции лицо Мартина, похоже, просто не способно менять выражение. Не сказав ни слова, тот вышел и неслышно прикрыл за собой дверь. О'Брайен продолжал ходить взад-вперед, сунув одну руку в карман черного комбинезона, а в другой держа папиросу.

– Понимаете, – проговорил он, – вам придется сражаться в потемках, причем всегда. Вы будете получать приказы и исполнять их, даже не зная зачем. Позже я пришлю вам книгу, из которой вы узнаете истинную природу общества, в котором мы живем, и стратегию его уничтожения. Когда прочтете книгу, станете полноправными членами Братства. Кроме общих целей, за которые мы сражаемся, и своих непосред-

ственных задач вы не будете знать ничего. Я говорю вам, что Братство существует, но не могу сказать, насчитывает оно сотни участников или десять миллионов. По своему личному опыту вы даже не сможете сказать, насчитывает ли оно хотя бы дюжину человек. У вас будет три-четыре контакта, они станут обновляться по мере исчезновения. Поскольку этот контакт для вас первый, он сохранится. Отдавать приказы вам буду я. Если понадобится с вами связаться, то привлеку Мартина. Когда вас в конце концов поймают, вы сознаетесь. Это неизбежно. Однако признаваться вам почти не в чем, кроме ваших собственных поступков. Вы сможете предать лишь горстку не особо важных людей. Вероятно, вам даже меня предать не удастся: к тому времени я сгину или стану другим человеком с другим лицом.

Он продолжал вышагивать взад-вперед по мягкому ковру. Двигался О'Брайен, несмотря на свою грузность, поразительно грациозно. Изящество проскальзывало и в его жестах, в том, как он клал руку в карман, как держал папиросу. В целом он производил впечатление не только силы, но и уверенности, проницательности и остроумия. Как бы серьезно ни выглядел, он ничуть не походил на узколобого фанатика. Даже об убийствах, суициде, венерических заболеваниях, ампутации конечностей и пластических операциях он отзывался с легкой иронией. «Ничего не поделаешь, – казалось, сквозило в его тоне, – мы должны прибегнуть к этим мерам без колебаний. Однако мы вполне обойдемся и без них,

когда жизнь снова будет стоять того, чтобы жить». Уинстона затопила волна восхищения, граничащего с поклонением. На краткий миг призрачный силуэт Гольдштейна отошел на второй план, уступая место О'Брайену. Глядя на его мощные плечи, на суровое, волевое лицо, такое некрасивое и в то же время одухотворенное, просто не верилось, что он может потерпеть неудачу. Такому по плечу раскусить любые уловки противника, любую опасность он видит наперед. Джулия тоже прониклась к нему доверием, забыла про свою папиросу и внимательно слушала.

– До вас наверняка доходили слухи о существовании Братства, – говорил О'Брайен. – Уверен, у вас сложилось о нем свое представление: эдакий параллельный мир, где заговорщики встречаются в подвалах, пишут послания на стенах, опознают друг друга по кодам, паролям или особым жестам. Ничего подобного! Члены Братства держатся поодиночке и почти ни с кем из своих не знакомы. Даже сам Гольдштейн, попади он в руки полиции помыслов, не сможет выдать им полный список организации. Такого списка просто нет! Братство нельзя уничтожить, потому что оно не является организацией в обычном смысле. В его основе лежит идея, а идею уничтожить невозможно. Вы не найдете в нем ни дружбы, ни моральной поддержки, ничего, кроме идеи. Когда вас наконец поймают, вы не получите помощи. Мы никогда не помогаем своим. В лучшем случае, если нам понадобится заставить вас замолчать, можете рассчитывать на

бритву, подброшенную в камеру. Вам придется привыкнуть жить без видимых результатов и без надежды. Вы немного поработаете, вас поймают, вы признаетесь и потом умрете. Вот единственный результат, на который вы вправе рассчитывать. При нашей жизни не произойдет абсолютно никаких значимых изменений. Мы все мертвецы. Настоящая жизнь начнется в далеком будущем, от нас к тому времени останется лишь прах. Неизвестно, когда оно наступит, возможно, через тысячу лет. На данный момент все, что можно сделать, – это понемногу расширять границы здравомыслия. Действовать сообща нельзя. Остается лишь передавать наше знание вовне от человека к человеку, поколение за поколением. Противоборствуя полиции помыслов, действовать иначе просто невозможно.

Он остановился и посмотрел на часы в третий раз.

– Вам пора уходить, товарищ, – обратился он к Джулии. – Погодите! Графин все еще наполовину полон.

О’Брайен разлил вино по бокалам и взял свой за ножку.

– За что пьем на этот раз? – спросил он все с той же легкой иронией. – За бестолковость полиции помыслов? За смерть Большого Брата? За человечество? За будущее?

– За прошлое, – сказал Уинстон.

– Пршлое куда важнее, – серьезно кивнул О’Брайен.

Они осушили бокалы, и Джулия поднялась. О’Брайен достал из верхнего ящика стола коробочку, выдал девушке плоскую белую таблетку и велел положить на язык. Очень

важно, пояснил он, чтобы от нее не пахло вином, потому что лифтеры отличаются изрядной наблюдательностью. Как только дверь за Джулией закрылась, О'Брайен словно забыл о ее существовании. Он прошелся по кабинету и замер.

– Нужно обсудить пару деталей. Полагаю, у вас есть какое-нибудь укромное место?

Уинстон рассказал ему о комнате над лавкой Чаррингтона.

– Пока сгодится. Позже мы для вас что-нибудь подыщем. Такие места нужно менять часто. А пока я пришлю вам *Книгу*, – произнес О'Брайен с особым упором на последнем слове, – я имею в виду книгу Гольдштейна. Мне может потребоваться несколько дней, чтобы найти свободный экземпляр. Их не очень много, как вы понимаете. Полиция помыслов охотится за ними и уничтожает, мы едва успеваем печатать. Впрочем, неважно. Книгу нельзя уничтожить. Даже если погибнет последний экземпляр, мы все равно знаем ее наизусть. Вы ходите на работу с портфелем?

– Обычно да.

– Как он выглядит?

– Черный, очень потертый. С двумя ремешками.

– Черный, два ремешка, очень потертый – хорошо. В ближайшие дни... точную дату не назову... одно из ваших утренних заданий придет с опечаткой, и вы попросите его повторить. На следующий день пойдете на работу без портфеля. На улице вашего плеча коснется прохожий и скажет:

«Кажется, вы уронили портфель». В нем будет лежать книга Гольдштейна. Вернете ее через четырнадцать дней.

Они помолчали.

– У вас есть еще пара минут, – сообщил О’Брайен. – Мы с вами встретимся... если нам суждено встретиться...

Уинстон поднял взгляд.

– Там, где нет темноты? – нерешительно спросил он.

О’Брайен кивнул, ничуть не удивившись.

– Там, где нет темноты, – повторил он, словно поняв намек. – А пока этот момент не настал, вы ни о чем не хотите у меня спросить или чем-нибудь поделиться?

Уинстон задумался. Вопросов у него больше не было и тем более не возникало желания делиться высокопарными сентенциями. Вместо чего-то, напрямую связанного с О’Брайеном или Братством, перед его мысленным взором всплыла и сложилась картинка: темная комната, где его мать провела свои последние дни, комнатка над лавкой Чаррингтона, стеклянное пресс-папье и старинная гравюра в палисандровой раме. Почти по наитию он выпалил:

– Вы случайно не знаете старый стишок, который начинается со слов: «Динь-дон, апельсины и лимон»?

О’Брайен снова кивнул. Подчеркнуто серьезно и в то же время учтиво он завершил строфу:

Динь-дон, апельсины и лимон,  
С колокольни гудит Сент-Клемент.

За тобой три фартинга,  
В ответ бряцает Сент-Мартин...  
А Олд-Бейли звонит, вторя в такт:  
Заплати-ка должок, дружок...  
А Шордич в ответ гудит:  
Отдам, как только подфартит.

– Вы знаете последнюю строчку! – воскликнул Уинстон.

– Да, знаю. А теперь, боюсь, вам пора. И возьмите-ка себе таблетку от запаха.

Уинстон поднялся, О’Брайен протянул ему руку. От его мощной хватки у Уинстона хрустнули кости. В дверях он оглянулся, но О’Брайен мыслями был уже далеко. Он стоял возле телеэкрана, положив руку на выключатель. За ним виднелись письменный стол, лампа с зеленым абажуром, речеписец и проволочные корзины, заваленные бумагами. Инцидент исчерпан, понял Уинстон: через тридцать секунд О’Брайен вновь вернется к своей важной работе, которую ведет на благо Партии.

## IX

Усталость обратила Уинстона в студень. Пожалуй, это внезапно всплывшее в памяти слово обозначало его состояние лучше всего. Такое чувство, словно тело стало не только желеобразным, но и прозрачным: подними руку – и сквозь нее увидишь свет. На Уинстона обрушилась лавина работы, которая выкачала из него всю кровь и лимфу и оставила лишь хрупкий остов из нервов, костей и кожи. Все ощущения обострились до предела: комбинезон натирал плечи, тротуар щекотал ступни, простое сжатие и разжатие пальцев требовало таких усилий, что хрустели суставы.

За пять дней он проработал более девяноста часов, как и остальные в министерстве. Теперь все закончилось, и до завтрашнего утра ему было совершенно нечем заняться: поручения Партии иссякли. Можно провести шесть часов в укрытии, а еще девять – в собственной кровати. Под мягким полуденным солнцем Уинстон медленно побрел по обветшавшей улочке к лавке Чаррингтона, не забывая про патрули, хотя почему-то казалось, что сегодня о них беспокоиться не стоит. При каждом шаге Уинстона бил по колену тяжелый портфель, по ноге бежали мурашки. Внутри лежала книга, полученная шесть дней назад и пока даже не открытая.

На шестой день Недели ненависти, после демонстраций, речей, воплей, песен, транспарантов, плакатов, фильмов, боя

барабанов и визга труб, топота марширующих ног, лязга танковых гусениц по мостовым, рева самолетов, ружейных залпов, после шести дней всего этого буйства, которое в чудовищном оргазме достигало кульминации, когда повальная ненависть к Евразии дошла до такого исступления, что, попадись в руки толпы две тысячи евразийских военных преступников, которых собирались повесить в последний день торжеств, она непременно разорвала бы их на куски, как раз тогда и объявили, что Океания вовсе не воюет с Евразией. Океания воюет с Востазией, а Евразия – союзник.

Разумеется, никто не признал, что ситуация изменилась. Просто вдруг везде и повсюду одновременно стало известно, что враг – Востазия, а не Евразия. В этот момент Уинстон принимал участие в демонстрации на одной из центральных площадей Лондона. Стояла ночь, прожектора ярко освещали белые лица и алые транспаранты. На площадь набилось несколько тысяч человек, включая около тысячи школьников в форме Разведчиков. На обтянутой алой материей трибуне перед толпой выступал оратор из Центра Партии, тщедушный коротышка с непропорционально длинными руками и огромным лысым черепом, на котором торчали редкие пряди длинных волос, – вылитый Румпельштильцхен, злой карлик из сказки. Корчась от ненависти, он сжимал микрофон в одной костлявой руке, а другой угрожающе размахивал над головой. Усиленный динамиками голос громко выкрикивал бесконечный перечень кровавых бесчинств, мас-

совых убийств, мародерства, изнасилований, пыток заключенных, бомбежек мирного населения, лживой пропаганды, ничем не спровоцированной агрессии, нарушенных договоров. Слушать его и не верить было почти невозможно. Толпа раз за разом разражалась гневными воплями, и голос оратора тонул в диком реве тысяч глоток. Яростнее всех орали школьники. Карлик держал речь минут двадцать, когда на помост поспешно влез посыльный и сунул ему записку, которую оратор прочел, даже не сделав паузы. Ни в голосе, ни в поведении оратора, ни в содержании речи не изменилось ровным счетом ничего, но внезапно он стал выкрикивать другие имена. Понимание накрыло толпу волной: Океания воюет с Востазией! Поднялась ужасная суматоха. Транспаранты и плакаты, украшавшие площадь, все неправильные! На половине из них вовсе не те лица. Диверсия! Происки агентов Гольдштейна! Последовала бурная интермедия, во время которой со стен содрали плакаты, транспаранты порвали на куски и растоптали. Юные Разведчики проявили чудеса рвения и ловкости, вскарабкавшись на крыши и срезав растяжки, крепившиеся к дымоходам. Оратор, все еще сжимавший микрофон, сгорбился, потряс кулаком и продолжил речь. Уже через минуту толпу снова всколыхнул дикий рев ярости. Ненависть бурлила, как и прежде, хотя ее объект изменился.

Больше всего Уинстона поразило, как ловко оратор сменил курс на середине фразы: ни паузы, ни нарушения син-

таксиса. Впрочем, сейчас его заботило другое. Во время поднявшейся суматохи, когда толпа срывала плакаты, его хлопнули по плечу, и незнакомый голос произнес: «Кажется, вы обрели портфель». Уинстон рассеянно кивнул, не говоря ни слова. Он знал, что возможность заглянуть внутрь появится не скоро. Как только демонстрация закончилась, он напрямик пошел в министерство правды, хотя было уже почти двадцать три часа. Так поступили все сотрудники, не дожидаясь летевших с телеэкрана приказов.

Океания воюет с Востазией – Океания всегда воевала с Востазией. Большая часть политической литературы совершенно устарела. Всевозможные репортажи и документы, газеты, книги, брошюры, фильмы, фонограммы, фотографии – все следовало молниеносно поправить. Хотя прямой директивы не вышло, все знали: руководство министерства рассчитывает, что в течение недели исчезнут все свидетельства войны с Евразией и союза с Востазией. Фронт работ удручал, особенно учитывая, что вещи нельзя было называть своими именами. Все в департаменте документации работали по восемнадцать часов в сутки с двумя перерывами на трехчасовой сон. Из подвала принесли матрасы и разложили по коридорам, работники столовой сновали туда-сюда с сэндвичами и кофе «Победа». Каждый раз, уходя поспать, Уинстон старательно оставлял свой стол пустым, и каждый раз, когда он приползал обратно, продирая слипшиеся глаза и превозмогая боль, обнаруживал очередную лавину бумажных цилин-

дров, похоронивших под собой речеписец и валившихся на пол, так что первым делом ему приходилось раскладывать их по более-менее аккуратным стопкам, расчищая себе рабочее место. Хуже всего, что его труд ни в коей мере не являлся чисто механическим. Иногда можно было просто заменить одно название на другое, но подробные доклады с места событий требовали особого тщания и изобретательности. Чего стоил один перенос войны в другую часть света со сменой всех географических названий!

На третий день глаза у Уинстона болели невыносимо, очки приходилось протирать каждые пять минут. Он словно сражался с требующей невероятных физических усилий задачей, от какой имеешь право отказаться, но в то же время испытываешь невротическое стремление с ней справиться. Правду он помнил, но его ничуть не тревожило, что каждое слово, которое он бормотал в речеписец, каждый росчерк химического карандаша был намеренной ложью. Как и всех остальных сотрудников министерства, Уинстона чрезвычайно заботило, чтобы подделка получилась качественной. На утро шестого дня поток бумажных трубочек замедлился. За целых полчаса не выпало ничего, потом одна бумажка – и все. Работа пошла на спад повсюду почти одновременно, и по министерству разнесся тайный вздох облегчения. Героическое свершение, о каком нельзя упоминать, завершилось. Теперь ни один человек не смог бы документально подтвердить, что война с Евразией вообще имела место. В двена-

дцать ноль-ноль неожиданно объявили, что все работники министерства свободны до завтрашнего утра. Уинстон взял портфель с книгой, стоявший у него в ногах во время работы и лежавший под ним во время сна, пошел домой, побрился и едва не уснул в ванне, хотя вода была чуть теплой.

С наслаждением похрустывая суставами, он поднялся по лестнице в комнату над лавкой Чаррингтона. Хотя он устал, спать больше не хотелось. Открыв окно, Уинстон зажег керосиновую плитку и поставил воду для кофе. Скоро придет Джулия, а пока можно и почитать. Он сел в замызганное кресло и расстегнул портфель.

Тяжелая книга в черном самодельном переплете, на обложке ни имени автора, ни названия, шрифт слегка кривоватый. Страницы, захватанные по углам, едва держатся, словно книга прошла через много рук. На титульном листе значилось:

## **ЭММАНУЭЛЬ ГОЛЬДШТЕЙН**

### **ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОЛИГАРХИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВИЗМА**

Уинстон начал читать:

# Глава 1

## Незнание есть сила

На протяжении всего известного нам времени и, вероятно, уже с конца неолита, в мире обитали три группы людей: Высшие, Средние и Низшие. Они подразделялись множеством образов, носили бесчисленные наименования, от эпохи к эпохе менялась их относительная численность, равно как и отношения групп между собой, однако сущностная структура общества оставалась неизменной. Даже после самых страшных социальных потрясений и, казалось бы, необратимых перемен восстанавливался и утверждался все тот же порядок – так гироскоп всегда вернется к равновесию, как бы и в какую сторону его бы ни толкали.

Цели этих групп абсолютно несовместимы...

Уинстон прервал чтение. Главным образом чтобы оценить сам факт: он *уже читает* – с удобством и в безопасности. Он совершенно один: нет ни телеэкрана, ни соглядатая у замочной скважины, ни нервного позыва глянуть за спину или прикрыть страницу рукой. В окно врывается ласковый летний ветерок, издалека доносятся детские крики, в комнате стоит полная тишина, не считая тиканья часов, похожего на

стрекот насекомого. Он уселся в кресле поудобнее и положил ноги на каминную решетку. Какое блаженство! Повинуясь внезапному порыву, Уинстон открыл книгу наугад, словно текст ему хорошо знаком, читан-перечитан бесчисленное количество раз, и продолжил чтение с третьей главы.

## **Глава 3**

### **Война есть мир**

Разделение мира на три сверхдержавы стало событием, которое предвидели и ожидали задолго до середины двадцатого века. Россия поглотила Европу, США – Британскую империю, что привело к созданию Евразии и Океании. Третья, Востазия, появилась позднее, после десяти лет беспорядочных боев. Границы между тремя сверхдержавами кое-где произвольны, кое-где меняются в зависимости от военных успехов той или иной стороны, но в общем определяются географическим положением. Евразия занимает север Европейской и Азиатской части континента, от Португалии до Берингова пролива. Океания включает в себя Северную и Южную Америку, острова Атлантики с Британскими островами, Австралию и юг Африки. Востазия, которая по размеру меньше двух других держав и с менее четкими границами на западе, состоит из Китая и стран

к югу от него, Японских островов и большой, хотя и непостоянной территории Маньчжурии, Монголии и Тибета.

В той или иной комбинации три сверхдержавы находятся в состоянии перманентной войны, и так продолжается уже двадцать пять лет. Впрочем, война больше не является решительной борьбой по уничтожению друг друга, как было в начале двадцатого века. Боевые действия ведутся ограниченным числом участников, которые не способны друг друга уничтожить, не имеют материальных причин сражаться и не разделены непримиримыми идеологическими противоречиями, что вовсе не свидетельствует о том, что правила ведения войны или отношение общества к ней стало менее кровожадным или более благородным. Напротив, во всех трех странах не прекращается военная истерия, а такие зверства, как изнасилования, мародерство, массовое уничтожение детей и обращение в рабство, издевательства над военнопленными, которых даже варят в кипятке и хоронят живьем, считаются вполне приемлемыми и даже обоснованными, если их совершают свои, а не враг. Ощутимо война затрагивает очень немногих, в основном обученных специалистов, что приводит к сравнительно небольшому числу жертв. Сражения ведутся на отдаленных границах, о местонахождении которых обычные люди могут лишь догадываться, или на плавучих крепостях, которые охраняют стратегические точки на морских путях.

В центрах государств война проявляется лишь в постоянной нехватке потребительских товаров и в падении баллистических ракет, губящих считанные десятки граждан. Фактически изменился сам характер войны. Точнее, изменения произошли в порядке значимости причин, по которым ведется война. Мотивы, так или иначе вызвавшие мировые войны первой половины двадцатого века, ныне превалируют, они давно общепризнаны и широко используются всеми участниками.

Для понимания природы нынешней войны (несмотря на перегруппировку сил, которая случается раз в несколько лет, ведется одна и та же война), в первую очередь следует осознать, что победа в ней невозможна. Ни одну из трех сверхдержав нельзя победить, даже если против нее объединятся две другие. Соперники равны по силам, специфика их географического положения служит им естественной защитой. Евразию оберегают обширные равнины, Океанию – Атлантический и Тихий океаны, Востазию – плодovitость и трудолюбие ее населения. Материальных причин для разногласий также нет. В контексте самодостаточных государственных экономик, в которых производство и потребление завязаны друг на друга, битва за рынки, основная причина войн прошлого, подошла к концу, а конкуренция за сырье потеряла актуальность, перестав быть вопросом жизни и смерти. В любом случае, территории трех сверхдержав настолько

обширны, что у них есть практически любые необходимые ресурсы. И если уж говорить об экономической цели войны, то это битва за рабочую силу. Между сверхдержавами находится территория, представляющая собой неровный четырехугольник с вершинами в Танжере, Браззавиле, Дарвине и Гонконге, где проживает примерно пятая часть населения планеты. Собственно, за обладание этим густонаселенным регионом и за северную полярную шапку и борются наши три сверхдержавы. На самом деле всю спорную территорию не контролирует никто. Ее части постоянно переходят из рук в руки, и именно шанс захватить тот или иной участок благодаря внезапному вероломству обуславливает бесконечную смену союзников.

На всех спорных территориях имеются залежи полезных ископаемых, на некоторых добывают ценные продукты растениеводства вроде каучука, которые в холодном климате приходится синтезировать, что невыгодно с экономической точки зрения. Но самое главное – практически неисчерпаемый источник дешевой рабочей силы. Тот, кто контролирует экваториальную Африку, страны Ближнего Востока, Южную Индию или Индонезийский архипелаг, также получает десятки или сотни миллионов низкооплачиваемых и трудолюбивых работяг. Жители этих земель, низведенные практически до состояния рабов, постоянно переходят от захватчика к захватчику и расходуются как уголь или нефть в гонке

вооружений, в захвате новых территорий, в контроле над большим количеством рабочей силы, в выпуске большего количества оружия, в захвате новых территорий, и так до бесконечности. Следует отметить, что военные действия редко выходят за пределы спорных территорий. Границы Евразии сдвигаются взад-вперед между бассейном Конго и северным берегом Средиземного моря; острова Индийского и Тихого океанов постоянно захватывает то Океания, то Востазия; линия раздела между Евразией и Востазией в Монголии не бывает стабильной никогда; вокруг Полюса все три сверхдержавы претендуют на огромные территории, которые почти не заселены и не исследованы, однако расстановка сил всегда остается более-менее неизменной, внутренние территории сверхдержав – неприкосновенными. Более того, для мировой экономики труд эксплуатируемых народов в зоне экватора не очень-то и необходим. На благосостоянии планеты их труд не сказывается: все, что они производят, используется в военных целях, а цель войны в том и состоит, чтобы как можно лучше подготовиться к новой войне. Своим трудом поработенное население лишь способствует ускорению темпа непрекращающейся войны. Впрочем, если бы этих рабов не существовало вовсе, ни структура мирового общества, ни процесс, посредством которого оно себя поддерживает, радикально не изменились бы.

Основная цель современной войны (согласно принципам *двоемыслия*, эта цель одновременно

признается и не признается руководством в лице Центра Партии) – расходовать выпускаемую промышленностью продукцию без улучшения уровня жизни населения. В развитых странах проблема избытка товаров широкого потребления возникла уже в конце девятнадцатого века. В наши дни, когда мало кто ест досыта, эта проблема стоит не столь остро и могла бы не возникнуть вовсе даже в том случае, если не были бы искусственно запущены процессы разрушения материальных благ. Мир сегодняшний – весьма убогое, голодное, разоренное место по сравнению с миром, существовавшим до 1914 года, не говоря уже о будущем, которое грезилось людям того времени. В начале двадцатого века практически любой грамотный человек мечтал об обществе невероятно богатом, вольном, добропорядочном и плодотворном, которое обитает в сверкающем стерильном мире из стекла, стали и белоснежного бетона. Наука и техника развивались с поразительной быстротой, и всем казалось, что так будет продолжаться вечно. Однако вышло совсем иначе. Отчасти тому виной обнищание, вызванное длинной чередой войн и революций, отчасти причина в том, что научно-технический прогресс зависит от эмпирического образа мыслей, поэтому стал невозможен в обществе, жизнь которого строго регламентирована. В целом мир теперь гораздо примитивнее, чем пятьдесят лет назад. Некоторые – в свое время отсталые – сферы человеческой деятельности развились, появилась новая техника, так

или иначе связанная с вооружением и полицейским надзором, однако эксперименты и изобретения по большей части прекратились, разрушительные последствия атомной войны пятидесятых годов так и не устранили. Тем не менее опасности, которые таит в себе машина, никуда не делись. С момента появления первых станков всем мыслящим людям стало ясно, что отпала необходимость в тяжелом физическом труде, значит, должно исчезнуть и неравенство. Если машины использовать в этих целях, то голод, перенапряжение, грязь, неграмотность и болезни удастся уничтожить буквально через пару поколений. Фактически в конце девятнадцатого и в начале двадцатого века пришедшая на смену ручному труду автоматизация значительно повысила уровень жизни среднего человека всего за каких-нибудь пятьдесят лет.

При этом стало ясно, что увеличение благосостояния грозит разрушением (более того, в каком-то смысле оно и есть разрушение) иерархического общества. В мире, где все работают неполный рабочий день, едят досыта, живут в доме с ванной и холодильником, имеют свой автомобиль или даже самолет, исчезает самая очевидная и, пожалуй, самая важная форма неравенства. Становясь всеобщим, богатство перестает порождать неравенство социальное. Несомненно, можно представить общество, в котором *богатство* в смысле личного имущества и предметов роскоши распределено равномерно, в то время как *власть* сосредоточена в руках маленькой привилегированной

касты. Однако на практике такое общество оставалось бы стабильным недолго. Если бы отдых, досуг и безопасность были доступны в равной мере всем, то огромные массы людей, чье сознание обычно задурманено нищетой, стали бы грамотными, научились думать своей головой и рано или поздно осознали бы, что привилегированное меньшинство не выполняет никаких функций и от него следует избавиться. В общем, иерархическое общество возможно построить лишь на основе нищеты и невежества. Возвращение к аграрному прошлому, которое грезились мечтателям начала двадцатого века, проблемы не решило бы, поскольку противоречило тенденции к механизации, охватившей почти весь мир; любой индустриально отсталой стране грозили бы военная немощь и подчинение, прямое или косвенное, более развитому противнику.

Как показал опыт конечной стадии капитализма в 1920–1940 годы, держать массы в нищете с помощью искусственного ограничения производства товаров широкого потребления – тоже не выход. Экономике многих стран позволили впасть в стагнацию, земли перестали возделывать, производство простаивало, огромная часть населения лишилась работы и жила лишь на государственные пособия. Это повлекло за собой военную немощь, и поскольку лишения, которые обрушились на народ, были явно ненужными, противостояние власти стало неизбежным. Проблема состояла в том, как заставить шестеренки

промышленности крутиться без увеличения реального богатства мира. Товары должны производиться, но не доходить до потребителя. Единственный способ добиться этого на практике – вести непрерывную войну.

Сущность войны есть уничтожение, причем необязательно человеческих жизней, а продуктов человеческого труда. Война – способ разорвать на куски, отправить в стратосферу или в морские глубины материалы, которые могли бы сделать жизнь масс удобнее и, в долгосрочной перспективе, гораздо осмысленнее. Даже если орудия войны не уничтожаются, их производство позволяет расходовать рабочую силу без изготовления товаров, которые нужно потреблять. Плавучую крепость, к примеру, создают и обслуживают люди, которых хватило бы на постройку сотен грузовых судов. Крепость в итоге устаревает и подлежит утилизации, так и не произведя ничего материально полезного, и вновь огромные ресурсы идут на следующую крепость. В принципе, военные действия всегда планируются таким образом, чтобы поглощать любые излишки, которые остаются после того, как удовлетворены минимальные потребности населения. На практике потребности населения всегда недооценивают, в результате чего существует постоянная нехватка предметов первой необходимости, но на деле это оборачивается большим преимуществом. Проводится целенаправленная политика, суть которой в том, чтобы держать на грани лишений даже привилегированные группы, потому что состояние

тотальной нехватки увеличивает важность маленьких привилегий, тем самым увеличивая разрыв между группами. По стандартам начала двадцатого века даже члены Центра Партии ведут спартанский, многотрудный образ жизни. Тем не менее редкие предметы роскоши, которыми они пользуются в своих просторных, хорошо обставленных апартаментах, одежда из более добротной материи, лучшее качество еды, напитков и табака, два-три слуги, личный автомобиль или вертолет делают их на голову выше Массы Партии, а те, в свою очередь, имеют сходные преимущества по сравнению с совсем обездоленными, которых мы зовем пролами. В обществе царит атмосфера осажденного города, где разницу между богатством и бедностью определяет обладание куском конины. И в то же время осознание того, что идет война и стране угрожает опасность, делает передачу всех прав и полномочий небольшой касте естественным и неизбежным условием для выживания.

Война, как нетрудно понять, приводит к необходимым разрушениям, причем осуществляет их психологически приемлемым способом. В принципе, чтобы избавиться от излишка трудовых ресурсов, можно было бы возводить храмы и пирамиды, рыть и закапывать ямы или даже производить большое количество товаров и потом их сжигать. Однако это обеспечило бы лишь экономическую основу для иерархического общества, оставив в стороне психологическую. И речь здесь идет не о моральном

духе масс, чье миропонимание не имеет значения, пока они заняты непрерывным трудом, а о духе самой Партии. Даже ее рядовой сторонник должен быть компетентен, трудолюбив и способен мыслить в узких рамках; в то же время он должен быть легковерным и невежественным фанатиком, чьи преобладающие настроения – страх, ненависть, слепое поклонение и необузданный восторг. Иначе говоря, его менталитет должен соответствовать состоянию войны. Неважно, идет война на самом деле или нет, и поскольку окончательная победа невозможна, неважно, успешны боевые действия или нет. Главное, чтобы война продолжалась. Расщепление сознания, которого требует от своих членов Партия и которого легче всего достичь в атмосфере войны, распространено практически повсеместно, и чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем отчетливее оно проявляется. Военная истерия и ненависть к врагу особенно сильны именно в Центре Партии. Как руководителю члену Центра Партии необходимо знать, что та или иная сводка с места боевых действий не соответствует действительности, он может понимать, что война – фикция либо же ведется в целях совсем других, чем заявлено, однако это знание легко нейтрализуется с помощью принципа *двоемыслия*. В результате ни один из членов Центра Партии ни на миг не теряет мистической веры в то, что война происходит на самом деле и непременно окончится победой Океании, которая станет бесспорным властителем мира.

Все члены Центра Партии верят в грядущее покорение мира и признают его догмой. Оно случится либо благодаря постепенному захвату все бóльших территорий и достижению подавляющего перевеса в силе, либо благодаря изобретению нового, сверхмощного оружия. Разработки ведутся непрерывно, и это практически единственная сфера деятельности, где может найти себе применение изобретательный и склонный к абстрактному мышлению ум. В современной Океании наука практически прекратила свое существование. В новословии нет понятия «наука». Эмпирический метод мышления, на котором основаны все достижения прошлого, противоречит базовым принципам англо-социализма. Технический прогресс допустим лишь в том случае, если способствует ограничению человеческой свободы. Все полезные ремесла либо перестали развиваться, либо деградировали. Поля обрабатываются с помощью плугов и лошадей, книги пишут станки. Но в вопросах жизненной необходимости, то есть войны и полицейского надзора, эмпирический подход все еще поощряют или смотрят на него сквозь пальцы. Перед Партией стоят две цели: завоевать всю планету и навсегда уничтожить возможность мыслить независимо. Соответственно, насущных задач у Партии тоже две. Первая состоит в том, как против воли человека узнать, о чем он думает, вторая – как убить несколько сотен миллионов людей за считанные секунды. Пока научные изыскания еще ведутся,

это и есть их предметная область. Сегодняшний ученый либо гибрид психолога и инквизитора, который изучает в мельчайших деталях значение мимики, жестов и интонаций голоса и использует для выяснения истины целый ряд средств вроде наркотиков, электрошока, гипноза и физических пыток, либо же он химик, физик или биолог, которого интересуют лишь те сферы его дисциплины, что связаны с умерщвлением людей. Команды экспертов трудятся без устали в огромных лабораториях министерства мира и на экспериментальных станциях в глубине джунглей Бразилии, в пустынях Австралии или на необитаемых островах Арктики. Одни заняты планированием материально-технического обеспечения будущих войн, другие конструируют все более и более крупные баллистические ракеты, мощную взрывчатку и неуязвимую броню; третьи создают новые смертоносные газы или растворимые яды, которые можно производить в промышленных масштабах, чтобы уничтожить растительность на целом континенте, или разводят смертоносных микробов и бактерий, устойчивых к любым антителам; четвертые пытаются придумать транспортное средство, способное двигаться под землей как субмарина под водой, или самолет, которому не нужна дозаправка, как парусному кораблю; пятые изучают еще более незаурядные возможности вроде фокусировки солнечных лучей с помощью линз, расположенных в космосе, использование энергии ядра Земли для создания

искусственных землетрясений и мощных приливных волн типа цунами.

Ни один из этих проектов не осуществится, и ни одна сверхдержава не обретет значительного преимущества перед другими. Самое удивительное, что у всех троих уже есть атомная бомба – оружие гораздо более мощное, чем способны изобрести их сегодняшние ученые. Хотя Партия и приписывает себе ее создание, первые атомные бомбы появились в сороковых годах двадцатого века. Широкое использование началось десятью годами позже, когда сотни бомб сбросили на промышленные центры, в основном в Европейской части России, в Западной Европе и в Северной Америке. Произведенный эффект убедил правящие верхушки всех стран в том, что дальнейшие взрывы полагат конец организованному обществу и, соответственно, их власти. В дальнейшем, хотя никакого официального соглашения никто не подписывал, ядерные бомбежки прекратились. Все сверхдержавы продолжают производить и хранить атомные бомбы в ожидании подходящей возможности, которая, по их мнению, рано или поздно непременно представится. Между тем искусство войны за последние тридцать-сорок лет почти не изменилось. Вертолеты теперь используют чаще, чем раньше, самолеты-бомбардировщики постепенно вытесняются баллистическими ракетами, уязвимый подвижный линкор заменила почти непотопляемая плавучая крепость, но в остальном особых перемен нет.

Танк, подводная лодка, торпеда, пулемет, винтовка и даже ручная граната все еще в ходу. Несмотря на нескончаемые массовые побоища, о которых сообщает пресса, ожесточенные сражения предшествовавших войн, где за считанные недели гибли тысячи и даже миллионы солдат, отошли в прошлое.

Ни одна сверхдержава больше не проводит маневров, которые грозят серьезным поражением. Любая крупная операция, как правило, представляет собой неожиданное нападение на союзника. Стратегия, которой придерживаются или делают вид, что придерживаются, все сверхдержавы, одна и та же: сочетая боевые действия, переговоры, хорошо выверенные предательские удары, взять соперника в кольцо, а потом подписать договор о дружбе и много лет жить с ним в мире, чтобы усыпить бдительность. Тем временем можно стянуть в стратегически важные места ракеты с атомными бомбами и запустить их одновременно, вызвав разрушения настолько смертоносные, что ни о каком ответном ударе не будет и речи. Далее настанет черед другого противника, с которым также заключается договор о дружбе и готовится очередное нападение. Едва ли стоит говорить, что подобная схема – всего лишь несбыточная мечта, осуществить которую невозможно. Более того, боевые действия ведутся исключительно вдоль экватора и вокруг полюса – никаких вторжений на территорию врага не предпринимается. Именно поэтому границы между сверхдержавами выглядят

несколько произвольными. К примеру, Евразия могла бы с легкостью захватить Британские острова, которые с точки зрения географии относятся к Европе, или Океания могла бы передвинуть границу до Рейна или даже до Вислы, однако это нарушило бы негласный, но признаваемый всеми сторонами принцип культурной целостности. Если бы Океания завоевала территории, ранее известные как Франция и Германия, то ей пришлось бы ликвидировать их жителей, что чисто физически весьма затратно, или же ассимилировать население в сто миллионов человек, которое в плане технического развития находится примерно на том же уровне, что и жители Океании. Для сохранения существующего порядка следует исключить всякие контакты граждан с иностранцами, за исключением, в ограниченной степени, военнопленных и цветных рабов. Даже к союзнику всегда следует относиться с подозрением. Не считая военнопленных, обычный гражданин Океании никогда не видит ни евразийцев, ни востазийцев, а владеть иностранными языками ему строго запрещено. Если разрешить контакты с иностранцами, то он узнает, что сходств между ними больше, чем различий, и бóльшая часть того, что о них рассказывали, ложь. Его замкнутый мирок рухнет, и страх, ненависть, уверенность в собственной правоте, которые определяют его моральный дух, могут испариться. Поэтому все стороны прекрасно понимают: как бы часто Персия, Египет, Ява или Цейлон ни переходили из рук в руки, основные границы не должно

пересекать ничто, кроме боеголовок.

В основе этого лежит факт, о котором вслух не говорят, но обязательно учитывают: условия жизни во всех трех сверхдержавках практически одинаковые. В Океании господствует идеология под названием ангсоц, в Евразии – неомошевиизм, в Востазии – культ смерти, хотя более точно было бы перевести его с китайского как «уничтожение своего я». Гражданину Океании не дозволено знать ничего про основные принципы двух других концепций, его учат их презирать, поскольку они суть варварское надругательство над моралью и здравым смыслом. На самом деле все три мало чем отличаются, а социальные системы, которые они поддерживают, вообще идентичны. Везде та же пирамидальная структура, то же поклонение вождю, та же экономика, существующая благодаря непрекращающейся войне и работающая лишь на нее. Отсюда следует, что три сверхдержавки не только не могут завоевать друг друга, но и не получают от этого никаких преимуществ. Напротив, находясь в конфликте, они служат друг для друга подспорьем. Правящие группы всех трех сверхдержав одновременно осознают и не осознают, что творят. Их жизни посвящены завоеванию мира, и в то же время они знают, что война должна продолжаться вечно и без победы. Между тем отсутствие опасности завоевания позволяет отрицать реальность, что является характерной особенностью ангсоца и систем взглядов его противников. Тут следует

напомнить о сказанном выше: став непрерывной, война в корне изменилась.

В прошлом война по определению была событием, которое рано или поздно заканчивалось либо победой, либо поражением. Также война выполняла другую очень важную функцию – она помогала обществу поддерживать связь с действительностью. Во все века правители пытались навязать своим подданным ложные представления о мире, но не могли позволить себе поощрять иллюзии, которые способны ослабить военную мощь страны. Поскольку поражение означало утрату независимости или иные нежелательные последствия, меры предосторожности принимались самые серьезные. Игнорировать естественные процессы нельзя. В философии, религии, этике или политике дважды два может равняться пяти, однако если речь идет о проектировании пушки или самолета, то дважды два четыре и только четыре. Отсталые народы рано или поздно подчинялись более технологически продвинутым, ведь технический прогресс с иллюзиями несовместим. Более того, достижения в настоящем невозможны без оглядки на достижения прошлого, и без хорошего знания истории тут не обойтись. Разумеется, газеты и книги всегда приукрашивали события и излагали их необъективно, но они не идут ни в какое сравнение с нынешней тотальной подтасовкой. Война стояла на страже здравого смысла и, насколько это вообще применимо к правящему классу, служила самым надежным его гарантом. Пока войну можно было

выиграть или проиграть, ни один правящий класс не мог позволить себе полной безответственности.

Если война становится непрерывной, она перестает быть опасной. Исчезает самое понятие военной необходимости. Технический прогресс может остановиться, самые очевидные факты можно отрицать или игнорировать. Как мы уже видели, так называемые научные исследования еще продолжаются, хотя, по сути, они стали бесполезными мечтаниями, и отсутствие результатов уже не имеет значения. Больше не нужны ни технический прогресс, ни боеспособность армии. В Океании эффективно действует и развивается лишь полиция помыслов. Поскольку ни одну сверхдержаву завоевать нельзя, каждая как бы отдельная вселенная, где с сознанием людей можно смело творить все что угодно. Реальность сводится к необходимости удовлетворять бытовые потребности: есть и пить, спать под крышей и одеваться, не проглотить яд, не вывалиться из окна верхнего этажа – и все в таком духе. Разница между жизнью и смертью, между удовольствием и болью все еще существует, но на том и все. Гражданин Океании отрезан и от внешнего мира, и от прошлого, он подобен человеку в межзвездном пространстве, который не знает, где верх, где низ. Правители такого государства обладают абсолютной властью, даже не снившейся ни египетским фараонам, ни римским императорам. Они обязаны следить за тем, чтобы их подданные не мерли от голода в слишком больших количествах, и поддерживать свою

военную технику на том же низком уровне, что и у соперников. Достигнув этого минимума, они могут исказить реальность как им заблагорассудится.

Таким образом, по меркам предыдущих войн, нынешняя война – просто обман. Она подобна поединку между жвачными животными, чьи рога изогнуты под таким углом, что поранить друг друга не могут. Впрочем, при всей своей нереальности война вовсе не бессмысленна: она пожирает избыток потребительских товаров и помогает сохранять особую атмосферу, необходимую для существования иерархического общества. Война, как мы видим, – дело исключительно внутреннее. В прошлом правящие группы всех стран хотя и осознавали общность своих интересов и старались ограничивать степень разрушений, действительно сражались друг с другом, и победитель всегда грабил побежденного. В наши дни правители держав сражаются вовсе не друг с другом. Войну ведет правящая верхушка против своих подданных; цель войны не захватить территорию или предотвратить ее захват противником, а сохранять структуру общества в неизменном виде. Следовательно, само слово «война» вводит в заблуждение. Вероятно, правильнее сказать, что, сделавшись непрерывной, война перестала существовать. Особое давление, которое она оказывала на людей с эпохи неолита и до начала двадцатого века, исчезло, и на смену ему пришло нечто совершенно иное. Если бы вместо того, чтобы друг с другом воевать, три сверхдержавы договорились

жить в мире вечно и оставаться каждая в пределах своих границ, эффект был бы тот же самый, ведь в этом случае каждая оставалась бы замкнутой вселенной, навеки свободной от отрезвляющего влияния внешней опасности. Бессрочный мир есть то же самое, что бессрочная война. В этом, хотя большинство членов Партии понимают его весьма поверхностно, и заключен истинный смысл партийного лозунга «Война есть мир».

Вдалеке прогремел мощный взрыв, и Уинстон прервал чтение. Блаженный настрой, который дарило ему уединение с запретной книгой в комнате без телеэкрана, не ослабевал. Одиночество и безопасность воспринимались на уровне физических ощущений, которые смешивались с усталостью тела, мягкостью кресла, легким дуновением ветерка из открытого окна. Книга глубоко поразила Уинстона или, точнее сказать, рассеяла его сомнения. В каком-то смысле она не поведала ничего нового, но это лишь придавало ей очарования. Она выразила то, что сказал бы сам Уинстон, если бы смог привести в порядок свои разрозненные мысли. Она была продуктом ума, сходного с его собственным, только гораздо более мощного, более методичного и менее запуганного. Лучшие книги, считал Уинстон, рассказывают о том, что тебе и самому известно. Он вернулся к первой главе, и тут на лестнице раздались шаги Джулии.

Уинстон поднялся с кресла ей навстречу. Девушка опустила коричневую сумку для инструментов на пол и бросилась к Уинстону. С их последней встречи прошло больше

недели.

– Книга у меня! – выпалил Уинстон, едва они разомкнули объятия.

– Да ну? Вот и хорошо, – проговорила Джулия без особого интереса, встала на колени перед конфоркой и принялась готовить кофе.

Они не вспоминали о книге, пока не провели в кровати полчаса. К вечеру стало холодать, пришлось накрыться стеганым одеялом. Снизу доносились знакомая песня и шарканье ботинок по каменным плитам двора. Могучая женщина с красными руками, которую Уинстон заметил в свой первый приход, была почти неотъемлемой частью пейзажа. Такое чувство, что она все дни напролет сновала между корытом и бельевыми веревками, то набивая рот прищепками, то распевая слащавую песню. Джулия улеглась на бок и задремала. Уинстон поднял с пола книгу и сел повыше, прислонившись к спинке кровати.

– Мы обязаны ее прочитать, – сказал он. – Ты тоже. Ее должны прочесть все члены Братства.

– Давай лучше ты, – проговорила Джулия, не открывая глаз. – Читай вслух, заодно и объясняй мне по ходу дела.

Стрелки часов показывали шесть, то есть восемнадцать ноль-ноль. Впереди еще часа три-четыре. Уинстон прислонил книгу к коленям и начал читать:

# Глава 1

## Незнание есть сила

На протяжении всего известного нам времени и, вероятно, уже с конца неолита, в мире обитали три группы людей: Высшие, Средние и Низшие. Они подразделялись множеством образов, носили бесчисленные наименования, от эпохи к эпохе менялась их относительная численность, равно как и отношения групп между собой, однако сущностная структура общества оставалась неизменной. Даже после самых страшных социальных потрясений и, казалось бы, необратимых перемен восстанавливался и утверждался все тот же порядок – так гироскоп всегда вернется к равновесию, как бы и в какую сторону его бы ни толкали.

– Джулия, ты не спишь?

– Нет, любимый, я слушаю, продолжай. Это поразительно!

Уинстон продолжил:

Цели их этих групп абсолютно несовместимы.

Цель Высших – оставаться там, где они есть.  
Цель Средних – поменяться местами с высшими.  
Цель Низших (если она у них вообще имеется, поскольку Низшие всегда слишком задавлены тяжким

трудом и редко обращают внимание на то, что лежит за пределами повседневной жизни) – уничтожить все различия и создать общество, в котором все люди равны. Таким образом, на протяжении всей истории человечества идет борьба, в общих чертах повторяющаяся снова и снова. В течение долгого времени Высшим вроде бы удается надежно удерживать власть, но рано или поздно наступает момент, когда они теряют или веру в себя, или способность управлять эффективно, или и то и другое сразу. Тогда их свергают Средние, которые привлекают на свою сторону Низших, придав этому вид борьбы за свободу и справедливость. Достигнув цели, Средние вновь обращают Низших в рабов, а сами становятся высшими. Вскоре новые Средние отделяются от одной из двух групп или от обеих, и все начинается сызнова. Из всех трех групп лишь Низшие никогда не преуспевают в достижении своих целей, даже временно. Вряд ли будет преувеличением сказать, что на протяжении всей истории человечества не произошло никаких изменений в материальном плане. Даже сейчас, в период упадка, среднестатистический человек живет гораздо лучше, чем несколько веков назад, однако ни рост благосостояния, ни смягчение нравов, ни реформы, ни революции ни на йоту не приблизили человеческое равенство. Для Низших любые исторические перемены заключаются одной только сменой имен их хозяев.

К концу девятнадцатого века повторяемость данной

модели стала очевидна для многих наблюдателей. Появились целые школы мыслителей, которые понимали историю как циклический процесс и утверждали, что неравенство есть непреложный закон природы. Разумеется, у этой доктрины всегда хватало последователей, но ныне она претерпела значительные изменения. В прошлом иерархическая структура общества определялась исключительно Высшими. Доктрину проповедовали короли и аристократы, священники, праведы и иные им подобные паразиты, ее суровость смягчалась обещаниями компенсации в загробной жизни. В ходе борьбы за власть Средние всегда прибегали к идеям свободы, справедливости и братства. Теперь же концепция общечеловеческого братства стала подвергаться нападкам со стороны тех, кто еще не занял ключевые посты, но рвался к ним на всех парах. В прошлом Средние устраивали революции под лозунгом равенства и устанавливали новую тиранию, едва свергнув старую. Новые Средние, по сути, провозгласили свою тиранию заранее. Возникший в начале девятнадцатого века социализм стал последним звеном в цепи идей, восходивших к восстаниям рабов времен античности, а потому по-прежнему испытывал сильное влияние утопизма прошлых эпох. Однако с начала двадцатого века его разновидности все более открыто порывали с принципами свободы и равенства. Появившиеся в середине века новые движения: ангсоц в Океании, необольшеизм в Евразии и так называемый культ

смерти в Востазии – осознанно ставили своей целью увековечить *несвободу* и *неравенство*. Разумеется, новые движения выросли из старых и сохраняли некую видимость преемственности как в плане названия, так и в плане идеологии, но их истинной целью было затормозить прогресс и остановить ход истории. Маятник должен был качнуться еще раз и остановиться. Как обычно, Высших сбросили бы Средние, которые затем сами стали бы Высшими, только теперь благодаря осознанной стратегии они смогли бы сохранить свое положение уже навсегда.

Отчасти новые доктрины возникли в результате накопления исторических знаний и роста исторического мышления, которое сформировалось лишь в конце девятнадцатого века. Цикличность истории стала понятной (или казалась таковой), значит, на нее можно влиять. Главная же подоплека заключалась в ином: уже в самом начале двадцатого века всеобщее равенство сделалось технически возможным. Разумеется, люди по-прежнему различались по способностям и разделение функций ставило бы одних в более выгодное положение, нежели других, зато необходимость в различиях классов или уровней благосостояния отпала. В прежние времена классовые различия были не только неизбежны, но и желательны: неравенство являлось платой за цивилизацию. С развитием машинного производства ситуация изменилась. Хотя людям и приходилось заниматься разными видами

деятельности, они вполне могли стоять на равных социальных или экономических уровнях. Таким образом, с точки зрения новых групп, собиравшихся захватить власть, человеческое равенство из идеала, к которому следует стремиться, превратилось в угрозу, которую следует предотвратить. В древности, когда построить справедливое и мирное общество было фактически невозможно, верилось в него легко. Идея земного рая, где люди живут как братья, без законов и тяжкого труда, преследовала человечество тысячи лет. И эта фантазия оказывала определенное влияние даже на тех, кто от исторических перемен только выигрывал. Наследники французской, английской и американской революций отчасти и сами верили в свои пустые слова о правах человека, свободе слова, равенстве перед законом и в какой-то мере даже руководствовались ими. Однако к сороковым годам двадцатого века все основные течения политической мысли сделались авторитарными. Идея земного рая была развенчана как раз тогда, когда стала вполне достижимой. Каждая новая политическая теория, как бы она себя ни именовала, снова призывала к иерархии и общественной регламентации. В свете всеобщего ужесточения взглядов, произошедшего к 1930 году, старые методы, позабытые сотни лет назад (помещение в тюрьму без суда и следствия, использование военнопленных в качестве рабов, публичные казни, выбивание признаний под пытками, взятие заложников, насильственное переселение народов) не только

получили широкое применение, но и нашли своих защитников и даже сторонников среди тех, кто считал себя людьми просвещенными и прогрессивными.

Лишь спустя десять лет гражданских войн, революций и контрреволюций англо и соперничавшие с ним доктрины полностью сформировались как законченные политические теории. Их предвестниками стали различные системы, которые обычно называют тоталитарными, и родившиеся из всеобщего хаоса основные правила мироустройства, очевидность которых уже давно никто не подвергал сомнению, как и то, кому предстоит этим новым миром управлять. Новая аристократия состояла по большей части из чиновников, ученых, инженерно-технического персонала, профсоюзных деятелей, спецов по связям с общественностью, социологов, учителей, журналистов и профессиональных политиков. Этих выходцев из госслужащих среднего класса и верхнего слоя рабочего класса сформировал и свел воедино стерильный мир монополистической промышленности и централизованного правительства. По сравнению со своими предшественниками они были менее алчными и не так сильно любили роскошь, зато им больше хотелось власти, и что самое главное, они прекрасно понимали, что делают, стремясь сокрушить оппозицию. Последнее отличие оказалось ключевым. По сравнению с нынешними режимами все диктатуры прошлого кажутся малодушными и неэффективными. Правящие группы всегда были в той или иной мере

заражены либеральными идеями, на многие проблемы смотрели сквозь пальцы, действовали лишь в случае открытого неповиновения и не интересовались тем, о чем думают подданные. По современным меркам даже средневековая католическая церковь считается терпимой. Отчасти это обусловлено тем, что в прошлом правительство не имело возможности держать граждан под постоянным наблюдением. Впрочем, с изобретением книгопечатания манипулировать общественным мнением стало проще, а кино и радио стали пособниками дальнейшего развития этого процесса. Совершенствование телевидения, создание оборудования, способного одновременно получать и передавать сигналы, прикончили частную жизнь. За любым гражданином или по крайней мере за любым гражданином, заслуживающим внимания, стало возможно вести круглосуточное наблюдение и одновременно пичкать его официальной пропагандой, перекрыв все другие каналы поступления информации. Так впервые реальным стало не только достичь полного подчинения населения воле государства, но и добиться полного единодушия по всем вопросам.

После революционного периода пятидесятых и шестидесятых годов общество, как всегда, разделилось на Высших, Средних и Низших. Однако новые Высшие в отличие от своих предшественников действовали отнюдь не по наитию, они прекрасно знали, как им удержать свои позиции. Давно признано, что единственное надежное основание для олигархии –

это коллективизм. Богатство и привилегии легче всего защищать, если ими владеют совместно. Так называемое «уничтожение частной собственности», случившееся в середине века, по сути, означало сосредоточение собственности в руках более узкого круга лиц, только теперь новыми владельцами стала группа, а не масса индивидов. Порознь ни один член Партии не владеет ничем, кроме личных вещей. Сообща Партия владеет в Океании всем, потому что контролирует все и вся и распоряжается продукцией по своему усмотрению. После Революции ей удалось занять эту господствующую позицию почти без сопротивления, потому что процесс прошел под видом коллективизации. Всегда считалось, что за экспроприацией собственности у капиталистов неизбежно наступит социализм, и капиталистов лишили собственности. У них забрали все: заводы, шахты, землю, дома, транспорт, – и поскольку все это теперь перестало быть частной собственностью, то якобы перешло в разряд собственности общественной. Ангсоц, выросший из социалистического движения и усвоивший его риторику, осуществил главный пункт программы социалистов с результатом, который предвидел и к которому стремился: закрепить экономическое неравенство навсегда.

Впрочем, проблемы сохранения иерархического общества этим не исчерпываются. Существуют лишь четыре причины, по которым правящая группа лишается власти. Либо государство завоевывают извне,

либо управление становится неэффективным и массы поднимают мятеж, либо формируется сильная и недовольная своим положением группа Средних, либо верхушка теряет уверенность в себе и желание править. Эти причины не возникают по отдельности, обычно в той или иной мере наличествуют все четыре. Правящий класс, способный себя от них оградить, останется у власти навеки. По сути дела, определяющим фактором является психологический настрой самого правящего класса.

После середины нынешнего столетия первая опасность фактически исчезла. Каждая из трех сверхдержав, на которые разделился мир, по сути, непобедима и может утратить свою мощь лишь благодаря череде медленных демографических изменений, кои правительство с широкими полномочиями легко предотвратит. Вторая опасность также чисто теоретическая. Массы никогда не восстают сами по себе, тем более из-за того, что их угнетают. Пока не с чем сравнивать, они даже не понимают, что угнетены. В регулярных экономических кризисах прошлого не было никакой необходимости, и ныне их не допускают. Другие потрясения, не менее крупные, случаются и не имеют никаких политических последствий, поскольку выражать недовольство массам не позволяют. Что же касается проблемы перепроизводства, зреющей начиная с перехода от ручного труда к машинному, то она решается с помощью

непрерывной войны (см. главу 3), которая также способствует поднятию общественного морального духа до необходимого уровня. Следовательно, с точки зрения нынешних правителей остаются лишь две опасности: формирование новой группы одаренных, недостаточно загруженных и жадных до власти людей и рост либерализма и нигилизма в их рядах. То есть проблема, так сказать, учебно-воспитательная. Она решается постепенной перековкой сознания правящей группы и большой группы исполнителей сразу под ней. На сознание широких масс достаточно воздействовать лишь в негативном ключе.

Исходя из этого, можно вывести общую структуру общества Океании, если кто с ней еще не знаком. На вершине пирамиды находится Большой Брат – непогрешимый и всемогущий. Любой успех, любое достижение, любая победа, любое научное открытие, все знания, вся мудрость, все счастье, все достоинства проистекают исключительно из его мудрого правления. Большого Брата не видел никто. Он лицо на плакатах, голос с телеэкрана. Мы можем быть абсолютно уверены, что он никогда не умрет, хотя есть серьезные сомнения в том, когда именно он родился. Большой Брат – это личина, в которой Партия являет себя миру. Его роль заключается в том, чтобы фокусировать на себе любовь, страх и поклонение масс, ведь эти эмоции легче испытывать к человеку, нежели к организации. Ниже Большого Брата находится Центр Партии числом в шесть миллионов человек, что составляет менее двух

процентов населения Океании. Ниже Центра Партии находятся Массы Партии, которые можно приравнять к рукам государства, как Центр – к мозгу. Ниже находится тупая популяция, которую мы привыкли называть пролами, составляющая восемьдесят пять процентов населения. Согласно нашей классификации пролы – Низшие, поскольку поработанные жители стран экваториального пояса, переходящие от одного захватчика к другому, не являются постоянным или необходимым элементом структуры.

По замыслу принадлежность к любой из трех групп не является наследственной. Ребенок родителей из Центра Партии не принадлежит к нему по праву рождения. Вступление в любую из двух частей Партии происходит на основании экзамена, который сдают в шестнадцать лет. Также не существует дискриминации ни по расовому, ни по национальному признаку. Евреи, негры, латиноамериканцы занимают самые высокие посты, а руководящих чиновников в регионах всегда набирают из жителей этих регионов. Ни в одной части Океании у жителей не создается впечатления, что они живут в колонии, управляемой из далекой столицы. У Океании вообще нет столицы, и местонахождение номинальной главы державы не известно никому. Если не считать того, что все говорят по-английски и официальным языком является новослов, государство никоим образом не централизовано. Его правителей связывает не кровное родство, а приверженность общей доктрине. Наше общество действительно

стратифицировано, причем весьма жестко, и на первый взгляд расслоение носит наследственный характер.

В отличие от эпохи капитализма или даже доиндустриальной эпохи переход из группы в группу практически невозможен. Между двумя частями Партии определенный обмен ведется, но лишь для того, чтобы исключать слабаков из Центра и обезвреживать честолюбцев из Масс Партии, позволяя им прорваться наверх. Пролетариев в Партию не принимают практически никогда. Самых одаренных, которые могут в будущем поднять бунт, полиция помыслов выслеживает и уничтожает. Однако такое положение вещей не носит постоянный характер и не является делом принципа. Партия не есть класс в привычном смысле этого слова. По сути, она не стремится передавать власть своим детям: если не сыщется иного способа сосредоточить в высшем эшелоне управления государством самых одаренных, она с готовностью наберет новое поколение функционеров из числа пролетариев. В переломные годы именно отсутствие наследственного преемства помогло Партии нейтрализовать оппозицию. Социалист старой закалки, который привык бороться с классовыми привилегиями, исходил из того, что ненаследственное не может быть бессрочным. Он не понял, что понятие преемственности олигархии не обязательно исходит из естества, он не задумался над тем, что потомственная аристократия всегда оказывалась недолговечна, в то время как адаптивные организации

вроде католической церкви сохранялись сотни и даже тысячи лет. Суть олигархического правления заключается не в передаче власти от отца к сыну, а в обеспечении постоянства определенного мировоззрения и образа жизни, навязанного живым мертвыми. Правящая группа остается таковой до тех пор, пока способна назначать преемников. Партия занимается не сохранением крови, а сохранением самое себя. Неважно, кто обладает властью, лишь бы иерархическая структура общества сохранялась неизменной.

Все убеждения, обычаи, вкусы, чувства, образ мышления, которые свойственны нашему времени, на самом деле призваны сохранять мистический ореол Партии и скрывать истинную природу нынешнего общества. Реальный бунт или даже подготовка к бунту в настоящее время невозможны. Пролов бояться нечего. Предоставленные самим себе, они из поколения в поколение, из века в век продолжают работать, плодиться и умирать, не только не испытывая желания бунтовать, но даже не в силах вообразить, что мир вокруг них может быть иным. Они станут опасны, лишь когда технический прогресс потребует, чтобы им дали лучшее образование; однако поскольку военная и торговая конкуренция уже утратила смысл, уровень народного образования снижается. Мнения плебса Партию больше не волнуют. Им дозволена интеллектуальная свобода, потому что интеллекта у них нет. С другой стороны, члену Партии не дозволено

даже малейшее отклонение от общей линии по самому незначительному вопросу.

От рождения до смерти член Партии живет под надзором полиции помыслов. Даже в одиночестве он не может быть уверен, что за ним не следят. Где бы он ни был – спит он или бодрствует, работает или отдыхает, моется в ванне или лежит в постели, – за ним будут следить без предупреждения и без его ведома. Партии важно знать все: с кем дружит, как развлекается, как относится к жене и детям, какое у него выражение лица, когда он один, что шепчет во сне, как ходит и двигается – все это пристально изучается. От внимания не ускользнет ни проступок, ни даже самая малая причуда, ни изменение привычек, любые нервные жесты или непроизвольные движения, которые могут свидетельствовать о внутренней борьбе. У члена Партии нет свободы выбора абсолютно ни в чем. С другой стороны, его действия не регулируются законами или более-менее четко сформулированным уставом. Закона в Океании нет. Мысли и действия, которые (если их обнаружат) означают верную смерть, формально не запрещены, и бесконечные чистки, пытки, заключения, казни считаются не наказанием за совершенные преступления, а уничтожением тех, кто способен совершить преступление в будущем. Член Партии обязан обладать правильными взглядами и правильными инстинктами. Многие взгляды и представления, которых от него требуют, никогда не озвучиваются и не следуют напрямую

из ангсоца, поскольку ему противоречат. Если партиец прирожденный ортодокс (на новослове «добродум»), то при любых обстоятельствах знает, не задумываясь, какое убеждение верно и какое чувство желательно. Во всяком случае, в результате тщательной психологической подготовки в детстве, сосредоточенной на усвоении понятий новослова вроде «криминалстоп», «черныйбелый» и «двоемыслие», задумываться слишком глубоко он не способен, да и не желает.

Предполагается, что личных чувств у члена Партии нет и он постоянно пребывает в состоянии иступления: испытывает непреходящую ненависть к внешним врагам и внутренним изменникам, ликует от побед на фронтах и преклоняется пред силой и мудростью родной Партии. Недовольство от скудной и безрадостной жизни намеренно направляется вовне и выплескивается на мероприятиях вроде Двухминутки ненависти, а умозрительные размышления, чреватые скептическим или бунтарским настроем, пресекаются на корню посредством самодисциплины. Самая первая и простая практика, которой обучают даже маленьких детей, на новослове называется «криминалстоп» и состоит в том, чтобы резко, будто по инстинкту остановиться на пороге любой опасной мысли. Практика включает в себя способность не проводить аналогии, не замечать логические ошибки, не воспринимать самые простые доводы, враждебные ангсоцу, и испытывать скуку или

отвращение к любому ходу мыслей, ведущему к ереси. Короче говоря, *криминалстоп* означает защитную глупость, но глупостью не исчерпывается. Напротив, идеологический догматизм в полном смысле этого понятия требует от человека такого же полного контроля над своими умственными процессами, какой требуется от циркового акробата над телом. В конце концов, общество Океании основано на вере в то, что Большой Брат всемогущ, Партия абсолютно непогрешима, и поскольку Большой Брат вовсе не всемогущ, а Партия иногда ошибается, то при обращении с фактами требуется неустанная, ежеминутная гибкость. И ключевое понятие здесь *«черныйбелый»*. Многие термины новослова имеют два взаимоисключающих значения. Применительно к противнику он означает привычку нагло заявлять про черное, что оно белое, противореча очевидным фактам. Применительно к члену Партии он означает преданную готовность признать черное белым, если того потребует партийная дисциплина. Также *«черныйбелый»* означает возможность *уверовать*, что черное есть белое, даже *знать*, что черное есть белое, забыв, что некогда полагал иначе. И тут уже требуется постоянная подгонка прошлого, возможная благодаря системе взглядов, которая лежит в основе всех сфер современной реальности и известна на новослове как *«двоемыслие»*.

Подгонка прошлого необходима по двум причинам, одна из них второстепенная и, так сказать,

превентивная. Партиец, как и прол, терпит современные условия жизни лишь потому, что сравнивать ему не с чем. Он отрезан от прошлого, как отрезан от зарубежных стран, поскольку в этом случае верит, что ему живется лучше, чем его предкам, и уровень материального благосостояния нации постоянно растет. Но гораздо более важной причиной для корректировки прошлого является необходимость поддерживать веру в непогрешимость Партии. Дело не только в том, что постоянно приходится переделывать речи, статистику и любые документы, чтобы показать правильность прогнозов Партии по всем пунктам. Дело еще и в том, что ни в коем случае нельзя признавать поправки к доктрине или перемену курса. Допустим, сегодня наш враг Евразия (или Востазия, неважно, кто именно), значит, эта страна была нашим врагом всегда. Если факты говорят иное, то их нужно изменить. Таким вот образом история постоянно переписывается. Ежедневная фальсификация прошлого, которую проводит министерство правды, так же необходима для стабильности режима, как репрессии и слежка, которыми занято министерство любви.

Непостоянство прошлого – основной принцип ангсоца. В соответствии с ним события прошлого существуют не в реальности, а лишь в письменных документах и в людской памяти. Прошлое есть то, что согласуется с документами и воспоминаниями. И поскольку Партия полностью контролирует все записи и

умы сторонников, то прошлое становится таким, каким его хочет видеть Партия. Отсюда также следует, что хотя прошлое непостоянно, оно не меняется никогда: если его воссоздают в любой форме, необходимой для текущего момента, то новая версия и есть прошлое – ничего другого никогда и не существовало. Это справедливо и в том случае, если в течение года одно и то же событие изменяют до неузнаваемости, причем такое случается довольно часто. Во все времена Партия владеет абсолютной истиной, которая совершенно определенно не может отличаться от той, что принята сейчас. Вместе с тем необходимо *помнить*, что события происходят так, как нужно Партии; если необходимо перестроить свои воспоминания или подогнать письменные свидетельства, то это необходимо проделать и тут же *забыть*. Обучиться этому трюку можно точно так же, как и любой другой психотехнике. Им овладевают большинство приверженцев Партии и, разумеется, все, кто обладает умом и правильными взглядами. На старослове это называется «контроль над реальностью», на новослове «*двоемыслие*», хотя двоемыслие включает в себя и многое другое.

Двоемыслие означает способность удерживать в сознании и принимать одновременно два противоречащих друг другу утверждения. Партийный интеллигент знает, каким образом следует изменять свои воспоминания, и понимает, что играет с реальностью, но, практикуя двоемыслие, он

также убеждает себя, что реальность сохраняется в первоначальном виде. Процесс должен быть осознанным, иначе потеряет эффективность, и в то же время несознаваемым, иначе вызовет ощущение фальши и чувство вины. Двоемыслие составляет самую суть англо-социализма, поскольку Партия сознательно идет на обман, сохраняя при этом твердость убеждений в сочетании с кристальной честностью. Говорить заведомую ложь и искренне в нее верить, забыть любой неудобный факт и, как только потребуется, извлечь его из забвения, отрицать существование объективной реальности и в то же время учитывать реальность, которую отрицаешь, – все это чрезвычайно необходимо. Даже употребляя слово «двоемыслие», необходимо практиковать двоемыслие: признавая, что вмешиваешься в реальность, ты, согласно принципу двоемыслия, стираешь осознание этого и поступаешь так до бесконечности, скрывая правду под ворохом лжи. В конечном счете именно благодаря двоемыслию Партии удалось (и, судя по всему, будет удаваться тысячи лет) остановить ход истории.

Все прошлые олигархии пали либо из-за закостенелости, либо из-за одряхления. Первые погрязали в глупости и спеси, не умели приспособиться к меняющимся условиям, и их свергали; вторые становились либеральными и малодушными, шли на уступки, когда нужно было применить силу, и их также свергали. Иными словами, они потеряли власть либо из-за чрезмерной сознательности, либо из-за ее

отсутствия. Достижение Партии состоит в том, что ей удалось построить такую систему мышления, где оба условия могут существовать одновременно. Ни на какой другой теоретической основе ее владычество не смогло бы длиться вечно. Если правишь людьми и намерен продолжать править дальше, нужно уметь исказить ощущение реальности, поскольку ключ к успешному правлению лежит в сочетании веры в собственную непогрешимость и умения учиться на ошибках прошлого.

Само собой разумеется, искуснее всех двоемыслием владеют те, кто его изобрел и кто понимает, что двоемыслие дает широчайший простор для умственного морока. В нашем обществе те, кто лучше всех осознает, что происходит, меньше всех склонны видеть мир таким, каков он есть. В общем, чем больше понимание, тем больше заблуждение, чем умнее, тем безумнее. Наглядный тому пример – военная истерия, которая по мере продвижения по социальной лестнице только усиливается. Жители спорных территорий относятся к войне наиболее здраво, насколько это возможно. Для них война – это затаянное стихийное бедствие, сметающее их, словно приливная волна. Им совершенно неважно, какая сторона одерживает верх. Смена правителей для них означает только одно: им придется выполнять прежнюю работу для нового властелина, который будет обращаться с ними точно так же, как и предыдущий. В чуть более сносном положении находятся рабочие, кого

мы зовем «пролами», и война в их сознании всплывает лишь эпизодически. При необходимости их можно подтолкнуть к безудержному буйству, подогрев страх или ненависть, но оставшись сами по себе, они надолго забывают, что идет война. Натуральный военный экстаз присущ лишь членам Партии, особенно Центру. В мировое господство особенно твердо верят лишь знающие, что оно недостижимо. Как раз это единение противоположностей: знания с невежеством, цинизма с фанатизмом – одна из основных отличительных черт общества Океании. Официальная идеология изобилует противоречиями даже там, где в них нет подлинной необходимости. Получается, что Партия отвергает и принижает все принципы, на которых изначально строился социализм, и делает это якобы во имя социализма. Она проповедует невиданное доселе презрение к рабочему классу и при этом обряжает своих членов в униформу, некогда типичную для рабочих, занятых физическим трудом, и принятую именно по этой причине. Партия целенаправленно подрывает семейные связи и при этом называет своего лидера именем, прямо указывающим на семейные ценности. Даже названия четырех министерств, которые нами управляют, служат наглядным примером бесстыдного искажения реальности: министерство мира сеет войну, министерство правды – ложь, министерство любви – пытки, министерство благоденствия – голод. Эти нелепости не случайны и проистекают вовсе не из лицемерия: они практическое воплощение двоемыслия.

Власть можно удерживать бесконечно долго, лишь примирив противоречия, иначе извечный круговорот не прервать. Если равенство людей нужно искоренить навсегда, если, как мы их называем, Высшие намерены сохранить свои позиции до скончания веков, то в психическом плане преобладающим в обществе должно стать контролируемое безумие.

Но есть вопрос, который мы до сего времени почти не затрагивали. Он таков: почему необходимо предотвращать всеобщее равенство? Положим, механизм этого процесса описан верно, тогда что движет этим грандиозным, тщательно выверенным усилием остановить ход истории в определенный момент времени?

Тут мы подбираемся к сердцевине тайны. Как мы видели, мистическая сила Партии (и прежде всего Центра Партии) зиждется на *двоемыслии*. Но еще глубже лежит мотив первичный: всегда взывающий к послушанию инстинкт, приведший вначале к захвату власти, а впоследствии к существованию двоемыслия, полиции помыслов, непреходящим войнам и всей остальной необходимой атрибутики. Мотив этот на самом деле образуют...

Уинстон спохватился: давно стоит тишина, Джулия перестала ворочаться. Она лежала на боку, подложив руку под щеку, и прядь волос упала ей на глаза. Обнаженная грудь медленно вздымалась и опадала.

– Джулия.

Молчание.

– Джулия, ты спишь?

Молчание. Она спала. Уинстон закрыл книгу, осторожно положил на пол, лег и укрыл себя и Джулию покрывалом.

Он так и не постиг высшей тайны. Понял *как*, но не понял *зачем*. Глава 1, как и глава 3, не поведали ему того, чего он не знал раньше, помогли лишь привести в систему познания, какими он уже обладал. Зато, прочитав, он убедился, что вовсе не сошел с ума. Если ты в меньшинстве или вообще в одиночестве, это еще не значит, что ты не в себе. Есть правда, есть ложь, и если ты на стороне правды, то это вовсе не делает тебя сумасшедшим. Косой желтый луч закатного солнца упал на подушку, и Уинстон зажмурился. Солнечный свет на лице и стройная девушка рядом придали ему уверенности в себе. Он в безопасности, все в порядке. Уинстон заснул, бормоча: «Здравый смысл не измеряется статистикой» – и чувствуя, что в этой фразе заключена великая мудрость.

\* \* \*

Уинстон проснулся с ощущением, что проспал, взглянул на старомодные часы и увидел, что стрелки показывают всего двадцать тридцать. Он подремал еще немного, потом со двора раздался привычный женский грудной голос:

То была мимолетная блажь.  
Миновала она как весна,  
Но мечты и любовный кураж  
В моем сердце уже навсегда!

Похоже, чепуховая песенка сохранила популярность. Ее по-прежнему было слышно отовсюду. Она пережила Песню ненависти. Джулия открыла глаза, заслышав мелодию, с наслаждением потянулась и встала с постели.

– Я голодная! – заявила она. – Давай сварим еще кофе. Черт! Плитка погасла, вода остыла. – Она подняла керосинку и потрясла. – Пустая!

– Думаю, можно попросить керосина у старика Чаррингтона.

– Самое смешное, что она только что была полная. Сейчас оденусь, – добавила Джулия. – Похоже, похолодало.

Уинстон тоже поднялся и стал одеваться. Неутомимый голос продолжал напевать:

Говорят, что время лечит все,  
Говорят, все забудется без труда,  
Но улыбки и слезы свежи еще,  
В моем сердце они навсегда!

Застегивая пояс комбинезона, он подошел к окну. Солнце скрылось за домами, двор погрузился в тень. Каменные плиты мокро блестели, словно их только что отмыли, и блед-

но-голубое небо между дымоходами тоже казалось свежесмытым. Женщина без устали расхаживала туда-сюда, суя прищепки в рот и вынимая их, распевая и умолкая, и как ни в чем не бывало развешивала пеленки. Уинстон гадал, зарабатывает ли она стиркой на жизнь или просто стала работой пары-тройки десятков внучат. Джулия встала с ним рядом, и они вместе наблюдали за могучей фигурой внизу. Глядя на женщину за привычным делом, на ее толстые руки, тянущиеся к бельевой веревке, на мощные, как у кобылы, ягодицы, он вдруг понял, что она красива. Ему никогда не приходило в голову, что женщина лет пятидесяти, от многочисленных родов располневшая до безобразия, затем от тяжелой работы загрубевшая, словно перезрелая репа, может быть красива. В конце концов, подумал Уинстон, почему бы и нет? Глубинная связь между грузной, бесформенной, как гранитная глыба, толстухой и прекрасной юной девушкой та же, что между плодом розы и свежим бутонем. Кто сказал, что плод уступает цветку?

– Какая красивая, – тихо проговорил он.

– Да у нее задница в метр шириной! – воскликнула Джулия.

– Она красива по-своему, – заметил Уинстон.

Он прижимал к себе Джулию, обхватив за талию, и они стояли, бок о бок касаясь друг друга. Их телам никогда не породить на свет ребенка, этого им не суждено. Они могут передать свою тайну из уст в уста, от разума к разуму. Жен-

щина во дворе лишена разума, у нее есть лишь сильные руки, горячее сердце и способное к зачатию лоно. Уинстон подумал, сколько детей она родила. Вполне могла и пятнадцать. Пожалуй, какой-нибудь год в юности она была прекрасна, как дикая роза, потом внезапно раздулась, словно опыленный фрукт, стала твердой, красной и загрубелой, тридцать лет кряду стирала, скребла, штопала, готовила, подметала, чистила, латала, стирала – сперва для детей, потом для внуков. И после такой жизни она все еще способна петь! Мистическое благоговение, которое Уинстон испытывал к женщине, сливалось с образом бледного, безоблачного, уходившего в бесконечность неба над дымоходами. Как странно, небо, оно одно и то же и здесь, и в Евразии, и в Востазии. И люди под небом очень похожи, везде, во всем мире, сотни тысяч миллионов людей, не подозревающих о существовании друг друга и при этом совершенно одинаковых, людей, которые так и не научились мыслить, и все же хранят в своих сердцах, животах, мышцах силу, способную перевернуть мир. Если надежда и есть, то она в пролах! Даже не дочитав Книгу до конца, Уинстон знал, в чем заключается главный посыл Гольдштейна: будущее принадлежит пролам. Есть ли уверенность, что, когда время пролов придет, их мир не будет так же чужд ему, Уинстону Смиту, как и мир Партии? Есть, потому как там наверняка будет править здравый смысл. Где есть равенство, есть и здравый смысл. Рано или поздно это случится: силу сменит сознательность. Судя

по этой героической женщине, пролы бессмертны. В конце концов они проснутся. А до тех пор, пусть даже тысяча лет потребуется, они выживут, несмотря ни на что, словно птицы, передающие из поколения в поколение живучесть, какой Партия лишена и какую не способна истребить.

– Помнишь дрозда, что пел нам на опушке?

– Он пел не нам, – возразила Джулия. – Он пел для собственного удовольствия. Нет, даже не так. Он просто пел.

Поют птицы, поют пролы, а Партия – нет. По всему миру – в Лондоне и в Нью-Йорке, в Африке и в Бразилии, в таинственных, запретных землях по ту сторону границ, на улицах Парижа и Берлина, в деревнях на бескрайних равнинах России, на уличных рынках Китая и Японии, – везде стоит одна и та же крепкая, непобедимая женщина, страшно раздувшаяся от родов и непосильного труда, и все равно поет. Из ее могучих чресел когда-нибудь выйдет раса людей мыслящих. Мы обречены, за ними будущее. Если нам удастся сохранить свой разум, как им удалось сохранить тело, то мы сможем с ними соединиться и передать тайное знание: два плюс два равно четыре.

– Мы мертвецы, – проговорил Уинстон.

– Мы мертвецы, – покорным эхом отозвалась Джулия.

– Вы мертвецы, – бухнул железный голос у них за спиной.

Они отпрянули друг от друга. У Уинстона кровь застыла в жилах. У Джулии глаза полезли на лоб, лицо покрылось смертной желтизной. Пятна румян на щеках резко выделя-

лись, словно парили над кожей.

– Вы мертвецы, – повторил железный голос.

– За картиной был, – выдохнула Джулия.

– За картиной, – подтвердил голос. – Оставайтесь на своих местах. Не двигайтесь, пока не прикажут.

Началось, наконец-то началось! Им оставалось лишь стоять и смотреть друг другу в глаза. Спасаться бегством, покинуть дом, пока не поздно, им даже не пришло в голову. Ослушаться железного голоса и в мыслях не было. Раздался щелчок и звон разбитого стекла – картина упала со стены, обнажив скрытый за ней телеэкран.

– Теперь им нас видно, – сказала Джулия.

– Нам вас видно, – подтвердил голос. – Выйдите на середину комнаты. Станьте спиной к спине. Руки за голову. Друг друга не касаться.

Они и не касались, но Уинстону казалось, что он чувствует дрожь Джулии, или то была его дрожь? Ему удалось сцепить зубы и не лязгать ими, вот только колени не слушались. Снизу донесся стук шагов – на лестнице и возле дома. Двор заполнился людьми, по плитам что-то протащили. Пение женщины резко оборвалось.

– Дом окружен, – сказал Уинстон.

– Дом окружен, – повторил голос.

Джулия лязгнула зубами.

– Думаю, нам можно сразу попрощаться, – сказала она.

– Можете сразу попрощаться, – подтвердил железный го-

лос. И тут встрял совершенно другой голос, высокий, учтивый и смутно знакомый:

– Кстати, раз уж мы затронули эту тему! Последние строки детского стишка такие:

Вот свечка, на пути в кроватку светить,  
А вот и палач идет – тебе головку с плеч рубить!

За спиной Уинстона раздался звон разбитого стекла, на кровать посыпались осколки. В окно просунулась пожарная лестница, кто-то стал по ней подниматься. Внизу загремели шаги, в комнату с дубинками наперевес ворвались дюжие парни в черной униформе и сапогах со стальными подковками.

Уинстон больше не дрожал, у него даже глаза словно на месте застыли. Сейчас главное – не шевелиться, стоять смирно и не дать им повода ударить! Перед ним встал мужчина, подбородок его напоминал челюсть классного бойца, где рот был лишь узкой щелью, и принялся задумчиво поигрывать дубинкой. Уинстон встретился с ним взглядом. Ощущение наготы оттого, что стоишь, сложив руки на затылке и не можешь защититься от удара, было почти невыносимым. Мужчина высунул кончик белого языка, облизнул то место, где у других губы, и прошел мимо. Снова раздался звон осколков: кто-то взял со стола стеклянное пресс-папье и грохнул его о каминную решетку.

По половику покотился кусочек коралла, крохотный, розовый, похожий на сахарную розочку с торта. Какой маленький, подумал Уинстон, какой крохотный! За спиной раздались глухой удар и судорожный вздох, потом пинок в лодыжку едва не сбил его с ног. Джулия согнулась пополам, получив удар в солнечное сплетение, и корчилась на полу, хватая воздух ртом. Уинстон не отважился повернуть голову ни на миллиметр, но иногда краешком глаза видел ее мертвенно-бледное, искаженное лицо. Сам скованный ужасом, он чувствовал ее невыносимую боль и еще более мучительную, отчаянную попытку глотнуть воздуха. Он знал, каково ей: самая жуткая и нескончаемая боль меркнет по сравнению с тем, что не можешь дышать. Двое мужчин подхватили ее за колени и за плечи и вынесли из комнаты, словно мешок с тряпьем. Перед Уинстоном мелькнуло желтое, искаженное лицо с закрытыми глазами, все еще с пятнами румян на щеках. Больше он ее не видел.

Уинстон стоял как вкопанный. Его пока не били. В голове замелькали непрошенные, обрывочные мысли. Арестовали ли Чаррингтона? Что сделали с женщиной во дворе? Ему отчаянно захотелось помочиться, хотя он делал это всего пару-тройку часов назад. Часы на каминной полке показывали девять, то есть двадцать один час. Тогда почему еще светло? Разве августовским вечером в двадцать один час не должно быть гораздо темнее? Может, они с Джулией перепутали, проспали всю ночь и проснулись в восемь тридцать утра?

Впрочем, эта мысль его мало занимала, и развивать ее он не стал.

В коридоре раздались легкие шаги, и в комнату вошел мистер Чаррингтон. Люди в черной униформе заметно подо-брались, да и Чаррингтон был уже не тот старик. Его взгляд упал на осколки стеклянного пресс-папье.

– Подобрать! – резко приказал он.

Один из людей в форме бросился исполнять. Пролский выговор исчез, и внезапно Уинстон понял, чей голос раздавался из телеэкрана пару минут назад. Чаррингтон остался в старом бархатном пиджаке, но его прежде седые волосы вдруг почернели, и очки он снял. Бросил на Уинстона пронзительный взгляд, словно личность сверил, и больше не обращал на него внимания. Теперь это был уже другой человек. Тело распрямилось и заметно разросло, лицо претерпело незначительные перемены, и все же произошедшая метаморфоза бросалась в глаза: черные брови утратили кустистость, морщины разгладились, черты неуловимо изменились, даже нос явно укоротился. К нему было обращено бдительное и безучастное лицо человека лет тридцати пяти. До Уинстона дошло, что он впервые в жизни доподлинно видит перед собой сотрудника полиции помыслов.

# Часть третья

## I

Уинстон не знал, где он. По-видимому, в министерстве любви, хотя наверняка не скажешь. Камера без окон с высоким потолком, сверкающий белый кафель на стенах. Скрытые лампы льют холодный свет, слышится низкое, монотонное гудение, наверное, вентиляция. По всему периметру тянется скамья или, скорее, узкая полка с разрывом в одном конце на дверь, а в другом на парашу, унитаз без деревянного стульчака. На каждой стене висело по телеэкрану.

Живот ныл тупой болью еще с тех пор, как его затащили в закрытый фургон и увезли. Вдобавок терзал нестерпимый голод. В последний раз Уинстон ел то ли сутки, то ли полтора суток назад. Он не знал, когда его забрали, и, верно, никогда не узнает, было то утром или вечером. С момента ареста его не кормили.

Он изо всех сил старался сидеть на узкой скамье неподвижно, сложив руки на коленях. К этому его уже приучили: стоило чуть пошельнуться, как с телеэкрана раздавался окрик. Между тем чувство голода нарастало. Больше всего Уинстон мечтал о кусочке хлеба. В кармане комбинезона могли заваляться несколько крошек и того лучше (порой

что-то под подкладкой чуть царапало ногу) целая корочка! В конце концов искушение пересилило страх, и Уинстон полез в карман.

– Смит! – раздался окрик с телеэкрана. – 6079, Смит У.! Руки из карманов!

Подчинившись, он снова замер. Перед тем как привезти сюда, его посадили то ли в обычную тюрьму, то ли во временный изолятор патрульной службы. Уинстон не знал, сколько там пробыл: без часов и дневного света определять время затруднительно. Почти такая же камера, как и здесь, только шумная, вонючая, жутко грязная и забитая чуть ли не битком. Одновременно в ней находилось по десять-пятнадцать человек, в большинстве обычные уголовники, хотя политические тоже попадались. Уинстон молча сидел у стены, стиснутый грязными телами, сам не свой от страха и боли в животе. По сторонам он особо не глядел, и все же поразился огромной разнице в поведении партийцев и уголовников. Перепуганные партийцы молчали и не разговаривали ни с кем, рецедивисты держались нагло и плевать хотели на всех. Они выкрикивали оскорбления в адрес охранников, отчаянно дрались, когда у них изымали личные вещи, карябали на полу ругательства, поедали пронесенные тайком припасы и даже умудрялись переорать телеэкран, пытавшийся призвать их к порядку. Впрочем, некоторые отлично ладили с надзирателями, знали их прозвища и клянчили через дверной глазок папиросы. Надзиратели, в свою очередь, относи-

лись к уголовникам с долей снисходительности, даже когда к ним приходилось применять силу. Много говорилось о принудительных трудовых лагерях, куда отправляли бóльшую часть заключенных. Уинстон понял, что в лагерях «все путем», если есть нужные связи и знаешь, что к чему. Там берут взятки, приближают к себе любимчиков, запугивают неугодных, там процветают гомосексуализм и проституция, даже варят самогон из картофеля. Авторитетом пользуются только уголовные, особенно бандиты и убийцы, они считаются как бы аристократами. Всю грязную работу выполняют политические.

Уинстону довелось наблюдать преступников всех мастей: торговцев наркотиками, воров, бандитов, скупщиков краденного, пьяниц, проституток. Некоторые пьяницы были до того буйными, что их приходилось умирять всей камерой. Четверо надзирателей втащили за руки и за ноги огромную расхлябанную бабу лет шестидесяти, с болтающимися грудями и густыми растрепанными седыми патлами, которая орала как оглашенная и пиналась. Стянув с бабы ботинки, надзиратели швырнули ее прямо на колени Уинстону, едва не поломав ему кости. Пьянь встрепенулась и выкрикнула им вслед: «Выбл...ки!» Заметив, что сидит на чем-то неровном, сползла с коленей Уинстона на скамью.

– Прошу прощения, дорогущая! Если б не эти придурки, я б на тебя не села. Не умеют с дамой обходиться, согласен? – Помолчала, похлопала себя по бюсту и рыгнула. – Пардон!

Что-то мне не по себе. – И, подавшись вперед, извергла содержимое желудка прямо на пол. – Другое дело, – довольно вздохнула пьянь, откинулась назад и прикрыла глаза. – Ничего не держи в себе, скажу я тебе! Гони из нутра, пока не всосалось, так-то.

Она оживилась, еще раз оглядела Уинстона и тут же прониклась к нему симпатией. Обняла за плечи, притянула к себе и задышала в лицо пивом и рвотой.

– Имячко твое как, дорогуша? – спросила.

– Смит, – ответил Уинстон.

– Смит?! Надо же! Я тоже Смит. А что, – добавила, умилившись, – могла б и матерью твоей быть.

Могла бы, подумал Уинстон. Возрастом да статью вполне подходит, а после двадцати лет каторжных работ люди, скорее всего, меняются.

Больше с ним не заговаривал никто. Поразительно, до какой степени обычные уголовники не обращали внимания на заключенных-партийцев. Они и звали-то их «политухами», не скрывая холодного презрения. Сами же партийцы от ужаса не смели рта раскрыть, особенно же страшились заговорить друг с другом. Лишь однажды две партийные женщины, сидевшие бок о бок, осмелились в гуле голосов быстрым шепотом обменяться несколькими словами, упомянув некое «помещение один-ноль-один», но Уинстон не понял, о чем речь.

В эту камеру его перевели часа два, если не три назад.

Тупая боль в животе не унималась, порой стихала, а порой обострялась, в такт ей ширились или ужимались мысли Уинстона. Когда делалось хуже, все мысли сходились на боли и голоде. Когда становилось легче, его охватывала паника. В иные моменты он с пугающей ясностью предвидел, что случится дальше, и сердце стучало как бешеное и прерывалось дыхание. Он словно чувствовал удары дубинок по локтям, пинки стальных подковок по ногам, будто видел, как ползает по полу, моля о пощаде и сплевывая выбитые зубы. О Джулии он почти не думал, просто не мог сосредоточиться на мысли о ней. Он любил Джулию, и он ее не предаст, но то был лишь факт, хранившийся в памяти наряду с правилами арифметики. Любви он не чувствовал и почти не думал, что случилось с его подругой. Чаше думал об О'Брайене, причем с проблеском надежды. Вдруг О'Брайену уже известно, что его арестовали? Братство, предупреждал тот, никогда не пытается выручить своих из беды. Впрочем, оставалось лезвие: ему могут передать бритву, если удастся. Охранник сообразит, что происходит, только секунд через пять. Лезвие вопьется в шею, обдав жгучим холодом, и даже пальцы, которыми его держишь, прорежет до кости. Уинстон представил это воочию и содрогнулся всем своим немощным телом. Если и выпадет шанс, вряд ли он сможет воспользоваться лезвием. Пусть все идет как идет, лучше продлить жизнь хотя бы на десять минут, даже зная, что в конце ждет мучительная смерть.

Иногда он пытался сосчитать кафельные плитки на стенах камеры. Вроде бы задача несложная, но рано или поздно Уинстон неминуемо сбивался. Он все чаще думал о том, где находится и какое сейчас время суток. То ему мнилось, что снаружи яркий день, то появлялась уверенность, что снаружи непроглядная тьма. Интуиция подсказывала: в подобном месте свет не выключают никогда. Здесь нет темноты – вот почему О’Брайен понял намек. В министерстве любви окон нет. Камера может располагаться в самом центре здания или у внешней стены, на десятом этаже под землей или на тридцатом над ней. Уинстон мысленно перемещался в пространстве, пытаясь определить по ощущениям, закинули его на самую верхотуру или он погребен в недрах.

Снаружи раздался звук тяжелых шагов. Железная дверь с лязгом распахнулась. В проем энергично вошел молодой подтянутый офицер в черной форме и начищенных до блеска ботинках. Бледное, бесстрастное лицо напоминало восковую маску. Он сделал знак конвоирам ввести заключенного. Едва волоча ноги, в камеру ввалился поэт Эмплфорт, и дверь снова лязгнула.

Эмплфорт неуверенно помыкался из стороны в сторону, словно надеясь увидеть еще одну дверь, через которую можно выйти, потом принялся бродить по камере взад-вперед. Уинстона он пока не заметил и встревоженно смотрел на стену примерно в метре над головой. Он был в одних носках, из дыр которых выглядывали грязные пальцы. Судя по отрос-

шей щетине, он давно не брился и теперь смахивал на разбойника с большой дороги, только очень щуплого, долговязого и дерганого.

Уинстон стяхнул оцепенение. Он должен поговорить с Эмплфортом, даже рискуя нарваться на окрики с телеэкрана! Вдруг Эмплфорт принес ему бритвенное лезвие?

– Эмплфорт! – окликнул Уинстон.

Телеэкрaн молчал. Эмплфорт остановился и удивленно моргнул. Его взгляд медленно остановился на Уинстоне.

– А, Смит! – воскликнул он. – Вы тоже здесь?

– За что вас забрали?

– Если уж на то пошло... – Эмплфорт неловко присел на скамью напротив Уинстона. – Есть только одно преступление, верно?

– И вы его совершили?

– Судя по всему, да.

Он поднес руку ко лбу и сжал виски, словно пытаясь что-то вспомнить.

– Всякое случается, – начал поэт издалека. – Мне удалось припомнить один эпизод... возможный эпизод. Разумеется, я поступил неосмотрительно. Мы работали над академическим изданием Киплинга, и я позволил себе оставить в конце строки слово «Бог». Я ничего не мог поделаться! – добавил Эмплфорт запальчиво, глядя Уинстону в лицо. – Изменить строчку не получилось бы – рифма там была «мог». Вы хоть понимаете, что во всем нашем языке односложные рифмы к

слову «мог» можно перечесать по пальцам на руках? Я ломал голову много дней. Другой рифмы нет!

Выражение его лица изменилось: раздраженность ушла, вид у поэта стал чуть ли не довольный. На грязном, заросшем щетиной лице просиял восторг интеллектуала, радость буквоеда, обнаружившего очередной бесполезный факт.

– Вам не приходило в голову, что вся история английской поэзии определяется лишь скудностью рифм в нашем языке?

Об этом Уинстон как-то не задумывался. При данных обстоятельствах проблемы английской поэзии не казались ему ни интересными, ни важными.

– Знаете, какое сейчас время суток? – спросил он.

Эмплфорт слегка опешил.

– Понятия не имею. Меня арестовали два-три дня назад. – Его взгляд заметался по стенам, словно в надежде отыскать окно. – Здесь нет разницы между днем и ночью, так что вычислить время вряд ли возможно.

Они обменялись еще несколькими бессвязными репликами, и вдруг без видимой причины окрик с телеэкрана велел им замолчать. Уинстон затих, сложив руки на груди. Эмплфорт, едва помещавшийся на узкой скамье, ерзал из стороны в сторону, сцеплял тонкие руки то на одном колене, то на другом. Телеэкран крикнул ему, чтобы сидел смирно. Время шло. Двадцать минут, час... сложно судить, сколько именно. Снаружи снова затопали. У Уинстона вновь заныло нутро. Скоро, слишком скоро, минут через пять или прямо сейчас

придут и за ним.

Дверь открылась, вошел молодой офицер с бесстрастным лицом, указал на Эмплфорта и произнес:

– Помещение 101.

Встревоженный, ничего не понимающий Эмплфорт неуклюже поплелся за конвоирами.

Казалось, прошло очень много времени. Снова разболелся живот. Разум Уинстона крутился вокруг одних и тех же мыслей, словно шарик в лабиринте-головоломке, постоянно падающий в одну и ту же дырочку. Мыслей у него было шесть: боль в животе, кусочек хлеба, кровь и вопли, О’Брайен, Джулия, бритвенное лезвие. Живот скрутило: Уинстон вновь услышал топот. Дверь распахнулась, в камеру хлынул запах застарелого пота. Конвоиры ввели Парсонса, одетого в шорты цвета хаки и футболку.

На этот раз Уинстон так поразился, что глазам не поверил.  
– И вы здесь?! – воскликнул он.

Бедняга Парсонс посмотрел на Уинстона без всякого интереса или удивления. Он начал нервно расхаживать взад-вперед, явно не в силах уgomониться. При каждом шаге пухлые колени подкашивались. Он пристально смотрел вперед широко распахнутыми глазами, словно пытался что-то рассмотреть вдалеке.

– За что вас взяли? – поинтересовался Уинстон.

– Помыслокриминал! – почти прорыдал Парсонс. В его голосе было и признание вины, и недоверие, и ужас от то-

го, что подобное слово может относиться к нему. Он замер напротив Уинстона и взволнованно зачастил: – Старина, вы ведь не думаете, что меня расстреляют? Нельзя же расстрелять человека, если он ничего не сделал... только подумал! Я знаю, меня обязательно выслушают, изучат мое досье и во всем разберутся! Я им так доверяю! Вы-то знаете, что я за человек. Не такой уж и плохой, хотя и не слишком башковитый. Зато я старательный и для Партии делал все, что мог! Как думаете, отделаюсь я пятью годами? Или дадут лет десять? Да я и в трудовом лагере могу просто горы свернуть! Они же не расстреляют за то, что сошел с рельсов всего разок?

– Вы виновны? – спросил Уинстон.

– Ну конечно! – вскричал Парсонс, умильно взглянув на телеэкран. – Неужели вы думаете, что Партия арестует невиновного?! – Его лягушачье лицо стало спокойней и даже приняло слегка самодовольное выражение. – Помыслокриминал – ужасная штука, старина, – назидательно заметил он. – В открытую не проявляется и может завладеть тобой так, что не заметишь! Знаете, как он завладел мной? Во сне. Это же надо! Работал изо всех сил, старался на благо Партии и даже не подозревал, что творится у меня в голове. И вдруг начал разговаривать во сне. Как думаете, что именно я выдал?

Парсонс понизил голос, словно человек, который на приеме у врача вынужден произнести неприличное слово.

– Долой Большого Брата! Да, так и сказал, причем не раз и

не два. Между нами, старина, я даже рад, что меня арестовали, пока дело не зашло слишком далеко. Знаете, что я скажу в трибунале? Спасибо, скажу я, спасибо, что спасли меня, пока не стало слишком поздно!

– Кто же вас сдал? – спросил Уинстон.

– Моя младшенькая, – со скорбной гордостью сообщил Парсонс. – Подслушала через замочную скважину и наутро быстренько доложила патрулю. Бойкая девчушка растет, а? Я не в обиде. Вообще-то я даже горжусь! Сразу видно, что детей я воспитал как надо.

Он пометался, бросил тоскливый взгляд на унитаз и вдруг торопливо стянул шорты.

– Извиняюсь, но ничего не поделаешь! – воскликнул Парсонс. – Это от волнения.

Он уместил свой толстый зад на унитаз. Уинстон закрыл лицо руками.

– Смит! – заорал голос с телеэкрана. – 6079, Смит У.! Открыть лицо! Никому в камере лиц не закрывать!

Уинстон опустил руки. Парсонс шумно и обильно испражнился, и тут выяснилось, что слив забит. В камере еще много часов стояла ужасная вонь.

Парсонса увели. Непонятно зачем к Уинстону постоянно подсаживали других заключенных. Какая-то женщина, которую направили в камеру 101, заметно съежилась и побледнела. Если Уинстона привели сюда утром, то наступил вечер, если вечером, то была полночь. В камере осталось ше-

стеро, обоюго пола. Все сидели очень смирно. У противоположной стены замер человек со скошенным подбородком и крупными зубами, похожий на упитанного, безвредного грызуна. Его пухлые, пятнистые щеки так раздувались книзу, словно он набил их съестными припасами. Светло-серые глаза робко перебегали с лица на лицо и поспешно опускались, наткнувшись на чей-нибудь взгляд.

Дверь открылась, вошел еще один заключенный. При виде него Уинстон похолодел. Вроде бы обычный, невзрачный человек, похожий на инженера или механика, но его лицо исхудало так, что стало похоже на череп. Из-за тонких губ глаза казались непропорционально большими, и в них читалась жгучая, неукротимая ненависть.

Он сел на скамью недалеко от Уинстона. Смотреть на него Уинстон избегал, но изможденное, похожее на череп лицо так и стояло перед глазами. Внезапно он понял, в чем дело: этот человек умирал от голода! Видимо, та же мысль пришла и другим заключенным. По скамье пронесся тихий ропот. Взгляд человека без подбородка постоянно падал на новенького, виновато уходил в сторону и опять возвращался, словно притянутый магнитом. Вскоре он принялся неловко ерзать, потом встал, перешел через камеру, порылся в кармане комбинезона и сконфуженно протянул человеку с лицом-черепом грязный кусок хлеба.

Телеэкран разразился яростными, оглушительными криками. От неожиданности человек без подбородка подскочил

на месте. Человек с лицом-черепом поспешно убрал руки за спину, демонстративно отказываясь от подарка.

– Бамстед! – приказал голос. – 2713, Бамстед Джей! Брось хлеб!

Человек без подбородка уронил хлеб на пол.

– Стоять на месте, – велел голос. – Лицом к двери. Не двигаться.

Человек без подбородка подчинился. Его большие пухлые щеки нервно подрагивали. Дверь с лязгом распахнулась, вошел молодой офицер и шагнул в сторону. Вслед за ним ввалился коренастый надзиратель с могучими руками и плечами, встал напротив человека без подбородка и по знаку офицера нанес провинившемуся страшный удар в лицо. Тело кубарем перелетело через камеру и свалилось возле параша. Упавший лежал неподвижно, из носа и рта у него текла темная кровь. Раздался тихий скулеж или писк, словно в полубезытии, потом заключенный перевернулся на живот и кое-как встал на четвереньки. Вместе с кровью и слюной изо рта выпали две половинки зубного протеза.

Остальные сидели очень тихо, сложив руки на коленях. Человек без подбородка вернулся на свое место. Половина лица темнела на глазах. Губы распухли, превратившись в бесформенную вишневую массу с черной дырой посередине.

Время от времени на грудь комбинезона капала кровь. Серые глаза метались по лицам сокамерников с еще более виноватым видом, словно он пытался понять, насколько его

презирают за перенесенное унижение.

Дверь отворилась. Легким жестом офицер указал на человека с лицом-черепом и объявил:

– Помещение 101.

Сосед Уинстона охнул и завозился, потом бросился на колени и умоляюще сцепил руки.

– Товарищ! Товарищ офицер! – вскричал он. – Зачем мне туда? Разве я не рассказал вам все? Что еще вы хотите узнать? Я признаюсь в чем угодно! Только скажите, что нужно, и я тут же признаюсь! Я подпишу что угодно! Только не в помещение 101!

– Помещение 101, – произнес офицер.

И без того бледное лицо заключенного стало такого цвета, что Уинстон глазам своим не поверил. Оно совершенно определенно обрело зеленый оттенок.

– Делайте со мной все что хотите! – провизжал он. – Вы неделями морили меня голодом. Доведите дело до конца, дайте мне умереть. Пристрелите меня, повесьте, приговорите к двадцати пяти годам. Кого мне еще сдать? Просто назовите имя, и я расскажу вам все что угодно. Мне плевать, кто это и что вы с ним сделаете. У меня жена и трое детей, старшему нет и шести. Можете перерезать им глотки прямо у меня на глазах, а я буду стоять и смотреть. Только не помещение 101!

– Помещение 101, – произнес офицер.

Человек с лицом-черепом в отчаянии оглядел остальных

заклученных, словно надеясь, что его место займет другая жертва. Глаза остановились на изуродованном лице человека без подбородка, и он выбросил вперед тощую руку.

– Вот кто вам нужен! – завопил он. – Знали бы вы, что он говорил после того, как ему разбили лицо. Дайте мне случай, и я перескажу вам каждое слово! Это он против Партии, а не я! – Конвоиры шагнули вперед, голос несчастного перешел в визг. – Вы его не слышали! Наверное, что-то случилось с телеэкраном. Вам нужен он! Возьмите его, а не меня!

Двое крепких конвоиров склонились над ним, он бросился на пол, вцепился в железные ножки скамьи и утробно, позверски завыл. Конвоиры пытались его оторвать, он держался с поразительной силой. Остальные заключенные сидели неподвижно, сложив руки на коленях, и смотрели прямо перед собой. Вскоре вой прекратился, у человека с лицом-черепом хватало сил лишь на то, чтобы держаться. Потом раздался уже совсем другой вопль: ударом ноги один конвоир сломал заключенному пальцы. Вдвоем они подняли его на ноги.

– Помещение 101, – произнес офицер.

Заклученного вывели. Опустив голову, он покорно шел на подгибавшихся ногах и прижимал к себе изуродованную руку.

Времени прошло изрядно. Если человека с лицом-черепом забрали в полночь, то наступило утро, если утром, то вечер. Уинстон остался один много часов назад. Боль от си-

дения на узкой скамье донимала так сильно, что он вставал и прохаживался по камере, и телеэкран не раздражался окриками. Кусок хлеба все еще валялся там, где его выронил человек без подбородка. Вначале не смотреть было сложно, потом на смену голоду пришла жажда. Во рту стало липко и мерзко. Гудение и непрерывный белый свет навевали на Уинстона какое-то полуобморочное состояние, и голова казалась пустой. Он вставал, не в силах терпеть боль в костях, и почти сразу садился снова, боясь не устоять на ногах. Едва удавалось отвлечься от телесного неудобства, как охватывал ужас. Иногда с гаснущей надеждой он думал об О'Брайене и бритвенном лезвии. Если бы его кормили, то лезвие могли подложить в еду. В голове беспорядочно бродили мысли о Джулии. Наверное, ей гораздо хуже, чем ему. Возможно, прямо сейчас она кричит от боли. «Если бы я смог спасти Джулию, удвоив свою боль, – подумал Уинстон, – согласился бы я или нет? Да, согласился». Впрочем, решение было чисто умозрительное, принятое потому, что иначе он не мог. Уинстон его не чувствовал. В подобном месте не чувствуешь ничего, кроме боли и предвидения боли. Да и можно ли в момент страдания желать, чтобы боль усилилась еще больше? Ответа на этот вопрос Уинстон пока не знал.

Снова раздались топающие шаги. Дверь открылась. Вошел О'Брайен.

Уинстон вскочил. Он так поразился, что потерял всякую осторожность. Впервые за много лет он позабыл о присут-

ствии телеэкрана.

– Вы тоже попались! – вскричал он.

– Я попался много лет назад, – проговорил О’Брайен с мягкой, почти печальной иронией и отступил в сторону, пропуская дородного надзирателя с дубинкой. – Вы знали, Уинстон. Не обманывайте себя, вы всегда это знали.

Уинстон и сам понял, но раздумывать было некогда. Он не сводил глаз с дубинки в руках надзирателя. Она может ударить в любое место – по темечку, по кончику уха, по плечу, по локтю...

Локоть! Он рухнул на колени, онемев от боли и сжимая ушибленный локоть другой рукой. Все вспыхнуло желтым светом. Немыслимо, просто невысказанно, чтобы один удар мог причинить такую боль! В глазах прояснилось, и он увидел, что над ним стоят двое и смотрят. Надзиратель смеялся, наблюдая за его конвульсиями. По крайней мере, ответ на свой вопрос Уинстон получил: никогда, ни за что на свете нельзя желать себе еще большей боли. От боли можно ждать только одного: лишь бы она прекратилась. Хуже физической боли не может быть ничего. Перед ее лицом героев нет, героев нет, повторял Уинстон снова и снова, корчась на полу и тщетно сжимая разбитую левую руку.

## II

Уинстон лежал на чем-то вроде раскладушки, только очень высокой, и был привязан так, что не мог пошевелиться. Прямо в лицо бил яркий свет. Сбоку стоял О'Брайен и пристально смотрел на него сверху. По другую сторону маячил человек в белом халате, держа наготове шприц.

Даже открыв глаза, Уинстон смог сориентироваться не сразу, словно попал сюда, вынырнув из совершенного другого, подводного, мира. Он не знал, сколько там находился. После ареста не видел он ни темноты, ни дневного света. Кроме того, воспоминания были обрывочными. Порой сознание, даже такое зыбкое, как во сне, выключалось, за ним следовала пустота, после которой сознание включалось снова. Невозможно сказать, сколько длилось это беспмятство: то ли дни, то ли недели, то ли считанные секунды.

С удара по локтю начался кошмар. Позже Уинстон понял: то была лишь легкая разминка, обычный предварительный допрос, которому подвергаются все заключенные. Их в обязательном порядке заставляли признаться в целом ряде преступлений, шпионаже, диверсиях и тому подобном. Признание – чистая формальность, зато пытки – самые настоящие. Уинстон не помнил, ни сколько раз его избивали, ни как долго это продолжалось. Одновременно его обрабатывали пять-шесть молодцев в черной форме. Били то кулаками, то ду-

бинками, то стальными прутами, то ногами. Временами Уинстон катался по полу, словно животное, потеряв всякий стыд и тщетно пытаясь увернуться, тем самым лишь провоцируя все новые удары по ребрам, по животу, по локтям, по голеням, в пах, в мошонку, в копчик. Временами это продолжалось до тех пор, пока ему не начинало казаться, что самое мучительное, подлое, постыдное не избивание, а то, что он никак не может потерять сознание. Временами нервы сдавали настолько, что он начинал умолять о пощаде, прежде чем за него принимались надзиратели, и занесенного кулака ему хватало, чтобы разразиться признаниями во всех мыслимых и немыслимых преступлениях. Иной раз он твердо решал не признаваться ни в чем, и каждое слово приходилось вытягивать словно клещами; или же вяло пытался найти компромисс, говоря себе: «Я признаюсь, но не сейчас. Буду держаться, пока боль не станет невыносимой. Еще три удара, еще два, и я расскажу им все что хотят». Иногда его избивали так, что он едва держался на ногах, потом заносили в камеру и швыряли на каменный пол, словно мешок с картошкой, оставляли в покое на пару часов, чтобы слегка пришел в себя, выводили снова и продолжали бить. Порой восстановление занимало много времени, и большую его часть Уинстон почти не помнил, потому что либо спал, либо валялся в беспамятстве. Он помнил камеру с деревянной лежанкой, похожей на пристенную полку, и цинковую раковину, и горячий суп с хлебом, иногда кофе. Он помнил угрюмого па-

рикмахера, который побрил его и подстриг, помнил деловитых, бездушных людей в белых халатах, которые щупали его пульс, проверяли рефлексy, поднимали веки, водили жесткими пальцами по телу в поисках сломанных костей и втыкали ему в руку иголки, чтобы погрузить в сон.

Бить стали реже, в основном угрожали избить в любой момент, если ответы их не устроят. Допрашивали Уинстона теперь не молодцы в черной форме, а дознаватели-партийцы, проворные упитанные человечки в поблескивающих очках, которые работали с ним посменно по десять или даже двенадцать часов подряд. На допросах они внимательно следили, чтобы Уинстон испытывал постоянную легкую боль, но имелись в их арсенале и другие средства. Они отвешивали ему пощечины, крутили уши, дергали за волосы, заставляли стоять на одной ноге, не давали помочиться, светили лампой в глаза, пока те не начинали слезиться, и все ради того, чтобы унижить и лишитъ способности спорить и рассуждать. Настоящим их оружием были беспощадные, нескончаемые допросы, во время которых дознаватели расставляли ловушки, переиначивали все сказанное, на каждом шагу уличали во лжи и противоречиях, пока Уинстон не начинал рыдать от стыда и нервного истощения. Иногда он плакал раз по шесть на одном допросе. Большую часть времени его осыпали оскорблениями и угрожали снова отдать на растерзание черным молодцам, но иногда меняли тактику, называли товарищем, обращались от имени ангсоца и Большого Брата и

скорбно вопрошали: неужели в нем даже сейчас не проснулась преданность Партии и желание исправить причиненное зло? После многочасовых допросов у Уинстона сдавали нервы, и он мог расплакаться даже от такого обращения. В конце концов назойливые голоса сломили его больше, чем сапоги и кулаки надзирателей. Он обратился в сплошные губы, которые шептали признания, в руку, которая подписывала все подряд. Единственной его заботой было выяснить, что от него хотят услышать, и поскорее в этом признаться, пока следователи не возобновили издевательства. Уинстон признался в убийстве видных членов Партии, распространении антиправительственных листовок, хищении государственных средств, продаже военных тайн, всевозможных диверсиях. Он признался, что шпионил для правительства Востазии еще с шестьдесят восьмого года, что был верующим, приверженцем капитализма, сексуальным извращенцем. Признался в убийстве жены, хотя и он, и следователи прекрасно знали, что жена его жива и здорова. Признался, что много лет контактировал с самим Гольдштейном и состоял в подпольной организации, куда входили буквально все его знакомые до единого. Признаваться во всем и топить всех оказалось легко. К тому же отчасти это была правда: Уинстон и в самом деле был врагом Партии, а в глазах Партии разницы между мыслью и делом не существует.

Память его сохранила и воспоминания иного рода, разрозненные картинки, окруженные темнотой.

Он в камере, но не знает, темно сейчас или светло, потому что не видит ничего, кроме пары глаз. Рядом медленно и мерно тикает какой-то аппарат. Глаза становятся больше, светятся ярче. Внезапно Уинстон отсоединяется от тела, ныряет в эти глаза и тонет.

Он привязан к креслу под слепящими лампами, вокруг какие-то циферблаты. Человек в белом халате снимает с них показания. Снаружи приближаются тяжелые шаги, дверь с лязгом распаивается. Входит офицер с восковым лицом и два конвойных.

«Помещение 101», – говорит офицер.

Человек в белом халате не оборачивается. На Уинстона он тоже не смотрит, только на циферблаты.

Его везут по огромному коридору шириной в километр, залитому дивным золотистым светом, он хохочет в голос и выкрикивает признания. Признается во всем, даже в том, что смог утаить под пытками. Рассказывает историю своей жизни слушателям, которые и так в курсе. Рядом с ним надзиратели, другие заключенные, люди в белых халатах, О’Брайен, Джулия, старик Чаррингтон – все катятся по коридору вместе и стонут от смеха. Нечто ужасное, ожидавшее их в будущем, почему-то не случилось. Все хорошо, боли больше нет, все до единой подробности жизни Уинстона разоблачены, его поняли и простили.

Всякий раз он приходил в себя почти уверенный, что слышал голос О’Брайена. На допросах тот не появлялся, но у

Уинстона было ощущение, будто О'Брайен стоит неподалеку, просто его не видно. О'Брайен заправлял здесь всем: натравливал на Уинстона черных молодцев и в то же время не давал им забить его до смерти; решал, когда Уинстону кричать от боли, а когда получать передышку, когда ему есть, когда спать, когда накачивать его наркотиками. О'Брайен задавал вопросы и предлагал ответы. Он был и палачом, и инквизитором, и другом. Однажды (Уинстон не помнил, то ли в наркотическом забытии, то ли во сне, то ли в момент бодрствования) голос прошептал ему на ухо: «Не бойтесь, Уинстон, теперь вы в моих руках. Я наблюдал за вами семь долгих лет. Решающий момент настал. Я вас спасу, я сделаю вас безупречным». Уинстон не знал наверняка, принадлежал ли голос О'Брайену, хотя тот же голос когда-то пообещал ему в другом сне, семь лет назад: «Мы встретимся там, где нет темноты».

Окончания допроса Уинстон не помнил: наступила темнота, потом вокруг него материализовалась эта камера или комната. Он лежал на спине и не мог пошевелиться, тело стягивали путы, даже голова была надежно закреплена. О'Брайен смотрел на него сверху вниз с серьезным и довольно печальным видом. Лицо его погрубело и постарело, под глазами залегли мешки, от носа к подбородку обозначились усталые складки. Он выглядел старше, чем помнилось Уинстону, лет на сорок восемь или даже пятьдесят. Рука его лежала на аппарате с круговой шкалой.

– Говорил же вам, – напомнил О’Брайен, – если мы и встретимся, то здесь.

– Да, – ответил Уинстон.

Не было ни малейшего предупреждения, лишь легкое движение руки О’Брайена, а тело Уинстона затопила волна боли. Самое страшное, что он не мог понять ее источник, хотя чувствовал: боль чревата смертью. То ли так казалось под действием электричества, то ли его тело на самом деле коржило, теряя форму, и связки между суставами медленно рвались. От боли лоб покрылся испариной, но хуже всего был страх, что вот-вот переломится позвоночник. Уинстон сжал зубы и тяжело задышал через нос, пытаясь сдержать крик.

– Вы боитесь, – заметил О’Брайен, наблюдая за ним, – что сейчас у вас что-то сломается. Особенно вам страшно за позвоночник. Вы наглядно представили, как позвоночный столб переламывается пополам, как спинномозговая жидкость устремляется наружу. Вы ведь об этом думаете, Уинстон?

Уинстон промолчал. О’Брайен вернул регулятор напряжения в прежнее положение. Волна боли схлынула почти так же быстро, как и накатила.

– Это сорок единиц, – пояснил О’Брайен. – Сами видите, цифры на шкале идут до ста. Во время нашей беседы помните, что в моих силах причинить вам столько боли, сколько я захочу. Солжете, попытаетесь увильнуть от отве-

та или дурачком прикинуться, сразу закричите от боли. Вам ясно?

– Да, – ответил Уинстон.

О’Брайен отставил суровость, задумчиво поправил очки, немного походил по комнате. Когда он заговорил снова, голос звучал мягко и терпеливо. Он стал похож на доктора, на учителя или даже на священника, который стремится скорее объяснить и убедить в своей правоте, нежели наказать.

– Я вожусь с вами, Уинстон, потому что вы того стоите. Вы прекрасно знаете, что с вами не так. И знаете уже много лет, хотя признаться самому себе не пожелали. Вы страдаете психическим расстройством, вас преследуют ложные воспоминания. Настоящих событий вы не помните и убеждаете себя, что помните события, которых не было. К счастью, ваш недуг излечим. Вы не смогли от него избавиться, потому что предпочли этого не делать. Нужно было лишь приложить немного усилий, но вы так и не сподобились. Я прекрасно понимаю, что даже теперь вы цепляетесь за свою болезнь, наивно принимая ее за героизм. Поясню на примере. С какой державой воюет Океания в данный момент?

– Когда меня арестовали, Океания воевала с Востазией.

– С Востазией. Хорошо. И Океания воевала с Востазией всегда, верно?

Уинстон вздохнул. Он открыл рот и не сказал ничего. Он не мог отвести глаз от шкалы.

– Правду, Уинстон. *Вашу* правду. Скажите, что вы

помните, как вам думается.

– Я помню, что за неделю до моего ареста мы вообще не воевали с Востазией. Она была нашим союзником. Война шла с Евразией. И так продолжалось четыре года, а перед этим...

О’Брайен жестом велел ему замолчать.

– Другой пример, – сказал он. – Несколько лет назад у вас случился серьезный, опасный бред. Вы считали, что трое бывших членов Партии по имени Джонс, Аронсон и Резерфорд, которых казнили за измену и вредительство после того, как они полностью сознались в своих преступлениях, не виновны. Вы якобы видели неопровержимое документальное свидетельство, доказывающее, что их признания ложны. У вас возникла некая галлюцинация, точнее, вам привиделась некая фотография. Вы якобы держали ее в руках. Фотография была наподобие этой...

Между пальцами О’Брайена появилась продолговатая газетная вырезка. Секунд пять она маячила перед глазами Уинстона. Это была фотография, причем та самая! Джонс, Аронсон и Резерфорд на партийных торжествах в Нью-Йорке, снимок, который попал ему в руки одиннадцать лет назад и был тут же им уничтожен. Вот снимок есть, а вот его нет. Он же видел, точно видел! Уинстон рванулся, тщетно пытаюсь освободиться, но не сдвинулся ни на сантиметр. На миг он даже забыл про шкалу. Ему отчаянно хотелось подержать фотографию в руках или, на худой конец, увидеть ее снова.

– Она существует!

– Нет, – сказал О’Брайен.

Он отошел к противоположной стене, где была дыра памяти, поднял решетку. Теплый поток воздуха подхватил клочок газеты, и тот исчез во вспышке пламени. О’Брайен отвернулся.

– Пепел, прах, – проговорил он. – Восстановлению не подлежит. Фотографии нет и не было никогда.

– Я же сам видел! Она осталась в памяти, я ее помню! И вы тоже.

– Нет, не помню, – заявил О’Брайен.

Сердце Уинстона упало. Вот оно, двоемыслие в действии. Его охватило полное бессилие. Если бы О’Брайен лгал, то ничего страшного. Однако О’Брайен действительно забыл, что видел фотографию! И если так, то он забыл уже и то, что отрицал ее существование, и забыл, что забыл. Вряд ли это можно считать обычным надувательством: скорее безумный вывих мозга... Эта мысль Уинстона буквально добила.

О’Брайен смотрел на него изучающе: вылитый учитель, который пытается вразумить своенравного, но подающего надежды ребенка.

– У Партии есть лозунг про контроль над прошлым, – произнес он. – Будьте так добры его повторить.

– Кто контролирует прошлое, контролирует будущее, – послушно повторил Уинстон, – кто контролирует настоящее, контролирует прошлое.

– Кто контролирует настоящее, контролирует прошлое, – назидательно покивал О’Брайен. – По-вашему, Уинстон, прошлое на самом деле существует?

И снова Уинстоном овладело чувство беспомощности. Его глаза метнулись к шкале. Он не только не знал, какой ответ: да или нет – спасет его от боли, он даже не знал, какой ответ сам считает верным.

О’Брайен чуть улыбнулся.

– Уинстон, вы явно не философ, – заметил он. – До сих пор вы даже не задумывались, что значит существовать. Сформулирую иначе. Существует ли прошлое где-нибудь конкретно, например, в пространстве? Есть ли такое место, мир материальных объектов, где прошлое все еще происходит?

– Нет.

– Тогда где же существует прошлое?

– В документах.

– Отлично, а еще где?

– В памяти. В памяти людей.

– Прекрасно. Так вот, мы, то есть Партия, контролируем все документы и память всех людей. Значит, мы контролируем прошлое, верно?

– Разве можно помешать людям помнить? – вскричал Уинстон, на миг позабыв про шкалу. – Это происходит произвольно. Это нам неподвластно. Разве вы способны контролировать память? Мою-то вы не контролируете!

О’Брайен снова посуловел и положил руку на регулятор напряжения.

– Напротив, – проговорил он, – это *вы* ее не контролируете. Потому-то вы сюда и попали. В вас нет ни смирения, ни самодисциплины. Вы не пожелали подчиниться и за это заплатились рассудком. Вы предпочли сойти с ума, остаться в меньшинстве. Лишь приученное к дисциплине сознание способно видеть реальность, Уинстон. По-вашему, реальность материальна, находится извне и существует сама по себе. Природа реальности представляется вам очевидной. Вы глубоко заблуждаетесь, полагая, что видите что-нибудь, и считая, что все остальные видят то же самое. И вот что я вам скажу, Уинстон: реальность находится не где-нибудь вовне, она прямо в человеческом сознании. Разумеется, речь идет не о сознании одного человека – индивид может ошибаться и потому обречен, а о сознании Партии, которое коллективно и бессмертно. Правда то, что считает правдой Партия. Невозможно видеть реальность иначе, кроме как глазами Партии. Этому вам предстоит научиться заново, Уинстон. От вас требуется лишь отказ от ложных убеждений, достигаемый усилием воли. Для того чтобы стать нормальным, вы должны научиться смирению.

Он помолчал, давая Уинстону проникнуться важностью услышанного.

– Помните, – продолжил О’Брайен, – как вы писали в дневнике: «Свобода – это свобода заявить, что два плюс два

равно четырем»?

– Помню, – ответил Уинстон.

О’Брайен поднял левую руку тыльной стороной ладони к Уинстону, спрятав большой палец и растопырив остальные четыре.

– Сколько пальцев, Уинстон?

– Четыре.

– А если Партия скажет, что не четыре, а пять – сколько тогда?

– Четыре.

Не успев договорить, Уинстон задохнулся от боли. Стрелка на шкале подскочила до отметки пятьдесят пять. По всему телу выступил пот. Воздух ворвался в легкие и вышел глубоким стоном, которого не смогли удержать даже стиснутые зубы. О’Брайен наблюдал за ним, вытянув четыре пальца. Он перевел регулятор в другое положение. На этот раз боль ослабела лишь слегка.

– Сколько пальцев, Уинстон?

– Четыре.

Стрелка метнулась к шестидесяти.

– Сколько пальцев, Уинстон?

– Четыре! Четыре! Сколько же еще? Четыре!

Вероятно, стрелка поднялась снова, но Уинстон на нее не смотрел. Он видел одно только массивное, суровое лицо и четыре пальца, которые возвышались перед ним, словно огромные, расплывчатые колонны. Хотя они слегка подраги-

вали, их совершенно точно было четыре.

– Сколько пальцев, Уинстон?

– Четыре! Хватит, хватит! Сколько можно? Четыре! Четыре!

– Сколько пальцев, Уинстон?

– Пять! Пять! Пять!

– Нет, Уинстон, лгать бесполезно. Вы все еще думаете, что их четыре. Итак, сколько пальцев?

– Четыре! Пять! Четыре! Сколько вам угодно. Только хватит, хватит боли!

Внезапно Уинстон обнаружил, что сидит и О'Брайен придерживает его за плечи. Похоже, он потерял сознание. Стягивавшие тело путы ослабили. Уинстону было очень холодно, он весь дрожал и лязгал зубами, по щекам текли слезы. Он прильнул к О'Брайену, словно дитя, успокоившись под тяжестью руки на плечах. Ему казалось, что О'Брайен – его защитник, что боль исходила извне, от какого-то внешнего источника и что О'Брайен непременно его спасет.

– Долго же до вас доходит, Уинстон, – ласково заметил О'Брайен.

– А что мне остается? – всхлипнул он. – Разве могу я не видеть того, что перед глазами? Два и два четыре.

– Иногда, Уинстон. А иногда и пять, и три. Бывает, что и то, и другое, и третье одновременно. Вам нужно больше стараться. Нормальным стать нелегко.

О'Брайен уложил его обратно на койку. Путы снова закре-

пили, зато боль понемногу ушла, дрожь прекратилась, оставив после себя слабость и холод. О'Брайен кивнул человеку в белом халате, который во время процедур неподвижно стоял рядом. Тот склонился над Уинстоном, заглянул ему в глаза, посчитал пульс. Приложил ухо к груди, постучал в разных местах, затем кивнул О'Брайену.

– Еще, – велел О'Брайен.

Тело Уинстона утонуло в боли. На этот раз он зажмурился. Похоже, стрелка поднялась до семидесяти или даже семидесяти пяти. Он знал, что пальцы перед ним и их по-прежнему четыре. Самое главное сейчас пережить конвульсии. Он перестал замечать, кричит или нет. Наконец боль снова уменьшилась. Он открыл глаза. О'Брайен перевел регулятор обратно.

– Сколько пальцев, Уинстон?

– Четыре. Полагаю, их четыре. Будь их пять, я бы увидел.

Я стараюсь увидеть пять.

– Чего вы хотите – убедить меня в том, что видите пять пальцев, или действительно их увидеть?

– Увидеть.

– Еще, – произнес О'Брайен.

Наверное, стрелка показывала восемьдесят-девять. Периодически Уинстон забывал, отчего ему так больно. Под веками целый лес пальцев двигался в причудливом танце, сплетаясь друг с другом, исчезая и появляясь вновь. Он пытался их сосчитать, но не помнил зачем. Знал, что сосчитать

их невозможно, и это как-то следовало из непостижимого тождества четырех и пяти. Боль снова угасла. Он открыл глаза и увидел то же самое: бесчисленные пальцы двигались, словно ходячие деревья, мелькали туда-сюда, переплетались и разъединялись. Уинстон снова зажмурился.

– Сколько пальцев я показываю, Уинстон?

– Не знаю. Не знаю. Вы же меня так убьете! Четыре, пять, шесть... честное слово, я не знаю...

– Уже лучше, – одобрил О’Брайен.

В руку Уинстона вонзилась игла. Почти сразу по телу разлилось блаженное, живительное тепло. Боль почти забылась. Он открыл глаза и благодарно посмотрел на О’Брайена. При виде грузного, в глубоких складках лица, такого некрасивого и такого умного, он расчувствовался. Если бы Уинстон мог, то вытянул бы руку и положил ее О’Брайену на плечо. Сейчас он любил его всем сердцем и не только потому, что тот остановил боль. Вернулось давнее ощущение: по сути, вовсе не важно, друг он или враг, О’Брайен был единственным, с кем можно поговорить. Пожалуй, человек нуждается в понимании куда больше, чем в любви. О’Брайен пытал его и едва не свел с ума, а вскоре, несомненно, отправит на смерть. Но это не имело значения. В некотором смысле они стали больше, чем просто друзьями, так или иначе, они смогли встретиться и поговорить, хотя те самые слова и не прозвучали. О’Брайен смотрел на него сверху с таким выражением, словно думал о том же. Легко и непринужденно он обратился к Уинстону:

– Вы знаете, где находитесь?

– Нет, хотя догадываюсь. В министерстве любви.

– Вы знаете, сколько здесь находитесь?

– Нет. Несколько дней, недель, месяцев... наверное, несколько месяцев.

– Как думаете, зачем мы приводим сюда людей?

– Заставить их признаться.

– Нет, причина в другом. Попробуйте еще раз.

– Чтобы покарать.

– Нет же! – резко вскричал О’Брайен изменившимся голосом. Внезапно лицо его стало одновременно строгим и оживленным. – Нет! Не просто вырвать у вас признание, не покарать. Знаете зачем? Чтобы исцелить! Сделать вас нормальным! Когда вы наконец поймете, Уинстон, что никто не покидает нас неисцеленным? На ваши дурацкие грешки нам плевать. Партию интересуют не действия, а помыслы. Мы не уничтожаем своих врагов, мы их меняем. Понимаете, что я имею в виду?

Он навис над Уинстоном. Снизу его лицо казалось огромным и ужасно уродливым. Вдобавок на нем сиял безудержный восторг, безумная одержимость. Сердце Уинстона сжалось. Сумей он, так вжался бы в койку еще глубже. Он был уверен, что сейчас О’Брайен повернет регулятор просто забавы ради. Однако О’Брайен отвернулся, походил туда-сюда и продолжил уже менее возбужденно:

– Прежде всего учтите вот что: здесь нет места мучени-

кам. Вы наверняка читали про времена религиозных гонений. В Средние века инквизиция потерпела полное поражение. Она намеревалась искоренить ересь, а закончила тем, что ее увековечила. Взамен каждого еретика, сожженного на костре, вставали тысячи других. Почему так вышло? Потому что инквизиция убивала своих врагов в открытую, причем до того, как те раскаются, фактически еретиков убивали из-за того, что те упорствовали в ереси. Люди гибли, не желая отказываться от своих истинных убеждений. Естественно, вся слава доставалась жертве, а позор ложился на голову устроившего костер инквизитора. Позже, в двадцатом веке, появились так называемые тоталитарные режимы: немецкие нацисты и русские коммунисты. Русские искореняли ересь куда более жестоко, чем инквизиция. И они вообразили, будто усвоили ошибки прошлого; в любом случае они знали, что нельзя создавать мучеников. Прежде чем устроить показательный суд, они лишали свои жертвы человеческого достоинства: изнуряли пытками и одиночеством, пока те не превращались в жалких, изуродованных доходяг, которые признаются во всем, что им велят, возводят на себя напраслину, сваливают вину друг на друга, молят о пощаде. И все же через несколько лет история повторилась. Убиенные стали мучениками, их позор забылся. Опять-таки, почему? В первую очередь потому, что признания были явно вынужденными и лживыми. Мы подобных ошибок не допускаем. Все признания, которые звучат в этих стенах, – правда. И правдой их

делаем мы. И самое главное – мы не позволяем мертвым восстать против нас. Не думайте, что грядущие поколения оценят вас по достоинству, Уинстон. Они о вас даже не услышат. Мы изыдем вас из потока истории, превратим в газ и отправим в стратосферу. От вас не останется ничего – ни имени в архивах, ни памяти в головах живых. Вас уничтожат и в прошлом, и в будущем. Слово вас никогда и не было вовсе.

«Тогда зачем меня пытаться?» – с горечью подумал Уинстон.

О’Брайен замедлил шаг, словно Уинстон произнес это вслух. Крупное, некрасивое лицо приблизилось, глаза чуть сузились.

– Вы думаете, раз уж мы намерены вас уничтожить, чтобы ничего из сказанного или сделанного вами не имело ни малейшего значения, то зачем утруждаться допросами? Вы ведь это подумали, верно?

– Да, – ответил Уинстон.

О’Брайен слегка улыбнулся.

– Вы изъян в системе, Уинстон. Вы пятно, которое следует вычистить. Разве я не говорил вам, что мы разительно отличаемся от карателей прошлых эпох? Нас не устраивает ни пассивное подчинение, ни угодливая покорность. Когда вы наконец сдлитесь, это должно произойти по вашей собственной воле. Мы не уничтожаем еретика за непокорность – покуда он нам сопротивляется, мы над ним работаем. Обращаем в свою веру, подчиняем себе его разум, перекраива-

ем на свой лад. Мы выжигаем все зло и иллюзии, перетягиваем инакомыслящего на свою сторону, причем он отдается нам не только внешне, а всем сердцем, всей душой. Прежде чем убить, мы делаем его одним из нас. Партия не намерена мириться с чужим заблуждением, каким бы тайным и бессильным оно ни было. Мы не потерпим отклонений от нашей линии даже в миг смерти! В прошлом еретик восходил на костер все тем же еретиком, провозглашая свою ересь и упиваясь ею. Даже жертва русских чисток, идущая по коридору и ожидающая пули в затылок, могла таить в своих мозговых извилинах мятеж. Мы же приводим мозги в полный порядок, прежде чем их вышибить. Заповеди древних деспотий начинались со слов: «Ты не должен», – заповеди тоталитарных: «Ты должен». Наша заповедь другая, она прямо объявляет: «Ты – это мы!» Никто из тех, кого мы приводим сюда, не смеет идти против нас. Каждого мы очищаем от всей скверны. Даже тех жалких предателей, в чью невиновность вы верили – Джонса, Аронсона и Резерфорда, мы в конце концов сломали. Я сам участвовал в допросах. Сам видел, как постепенно они прогибались, ломались, скулили и валялись у нас в ногах, а под конец рыдали – не от боли, не от страха, а от раскаяния. К тому моменту, как мы с ними закончили, они были лишь пустыми оболочками. В них не осталось ничего, кроме сожаления о том, что они совершили, и любви к Большому Брату. Весьма трогательное зрелище. Они умоляли пристрелить их поскорее, мечтали уме-

реть, пока совесть чиста.

Голос О'Брайена звучал мечтательно, на лице проступил самозабвенный восторг фанатика. Он ведь не притворяется, думал Уинстон, не лицемерит, он и в самом деле верит в то, что говорит. Хуже всего на него подействовало сознание собственной неполноценности. Уинстон наблюдал за грузной и в то же время элегантною фигурой, что расхаживала взад-вперед, то исчезая, то снова попадая в поле зрения. О'Брайен превосходил его по всем статьям. Не было и не могло прийти ему голову такой мысли, какую О'Брайен не узнал бы, не изучил и не отбросил уже давным-давно. Его разум *вбирал* в себя разум Уинстона. Но если так, то разве мог О'Брайен быть сумасшедшим? Нет, сумасшедший здесь он, Уинстон...

О'Брайен остановился и посмотрел сверху вниз. Голос его снова посуровел.

– Не думайте, что вам удастся спастись, Уинстон. Тех, кто сбился с пути хоть раз, щадить нельзя. Даже если мы позволим вам прожить отведенный срок, вы все равно никуда от нас не денетесь. То, что происходит здесь, – навсегда. Усвойте это уже, наконец. Мы ломаем вас навсегда, возврата не будет. От такого не оправиться и за тысячу лет! Обычные человеческие чувства станут вам недоступны. Внутри все вымрет. Можете забыть о любви, о дружбе, о радостях жизни, о смехе, о любопытстве, о мужестве, о чести. Мы выжмем из вас последние соки, сделаем совершенно пустым, а потом заполним собой.

Он замолчал и кивнул человеку в белом халате. Уинстон почувствовал, как к голове приставили какой-то громоздкий прибор. О’Брайен присел возле койки почти вровень с лицом Уинстона.

– Три тысячи, – велел он человеку в белом халате.

К вискам Уинстона приложили две мягкие, чуть влажные подкладки. Он содрогнулся в ожидании новой боли. О’Брайен успокаивающе, чуть ли не ласково коснулся его руки.

– Больно не будет, – пообещал он. – Смотрите мне в глаза.

И тут грянул всесокрушающий взрыв, хотя шума вроде и не было. По глазам ударила вспышка света. Никакой боли, лишь ступор. Хотя Уинстон и так лежал на спине, у него возникло странное чувство, словно его сбила с ног и распластала по койке взрывная волна чудовищной силы. И еще что-то случилось внутри головы. Когда вернула четкость взгляда, он вспомнил, кто он и где находится, узнал маячившее перед ним лицо, однако при этом ощущал зияющую пустоту, словно из черепа вынули кусок мозга.

– Это продлится недолго, – сказал О’Брайен. – Смотрите мне в глаза. С какой страной воюет Океания?

Уинстон подумал. Он знал, что такое Океания и что он ее гражданин. Еще он помнил Евразию и Востасию, но понятия не имел, кто с кем воюет. Собственно, он даже не знал, что идет война.

– Не помню.

– Океания воюет с Востазией. Теперь помните?

– Да.

– Океания всегда воевала с Востазией. С самого начала вашей жизни, с самого основания Партии, с самого начала истории война шла непрерывно, всегда одна и та же война. Вы это помните?

– Да.

– Одиннадцать лет назад вы состряпали легенду про трех человек, которых приговорили к смерти за измену. Вы притворились, что видели кусок газеты, который доказывал их невиновность. Газета – фикция, которую вы сами выдумали, а потом в нее уверовали. Теперь вспомните тот самый момент, когда это произошло. Вспомнили?

– Да.

– Только что я держал перед вами руку. Вы видели пять пальцев. Помните?

– Да.

О’Брайен поднял левую руку, спрятав большой палец.

– Их пять. Вы видите пять пальцев?

– Да.

Уинстон и впрямь видел их – мимолетно – до того, как в мозгу сменилась картинка. Он видел пять пальцев, и не было в том никакого уродства. Потом все опять стало нормальным, и прежний страх, ненависть и оторопь вновь всей толпой навалились на него. Но был кусочек времени... он не помнил, сколько тот длился, секунд тридцать, пожалуй... сиятельной определенности, когда каждое новое предложе-

ние О'Брайена заполняло пустоту и становилось абсолютной истиной и когда два и два давали в сумме три столь же легко, как и пять, смотря сколько требовалось. Ощущение исчезло еще до того, как О'Брайен опустил руку, но Уинстон его запомнил, хотя и не смог бы воспроизвести. Так помнится яркое событие прошлого, когда ты был, по сути, другим человеком.

– Теперь понимаете, что при желании возможно все? – спросил О'Брайен.

– Да, – ответил Уинстон.

О'Брайен встал с довольным видом. Слева от него человек в белом халате вскрыл ампулу и наполнил шприц. О'Брайен с улыбкой повернулся к Уинстону и почти в прежней манере поправил очки на носу.

– Помните, вы написали в дневнике, что абсолютно неважно, друг я или враг, поскольку я единственный, кто вас понимает и с кем можно поговорить? Вы были правы. Мне нравится с вами разговаривать. Ваш разум мне по вкусу. Отчасти он напоминает мой, только вы безумны. Прежде чем закончим сегодняшний сеанс, можете задать мне пару вопросов, если хотите.

– Любых?

– Любых. – Заметив, что Уинстон смотрит на шкалу, добавил: – Аппарат выключен. Каков первый вопрос?

– Что вы сделали с Джулией? – спросил Уинстон.

О'Брайен снова улыбнулся.

– Она предала вас, Уинстон. Причем сразу и безоговорочно. Мне редко доводилось видеть такую готовность к сотрудничеству. Теперь вы ее не узнали бы. Куда девались бунтарский дух, лживость, сумасбродство, бесстыдство? Все сгорело дотла. Прямо-таки хрестоматийный случай обращения на путь истинный.

– Ее пытали?

О’Брайен воздержался от ответа.

– Следующий вопрос, – сказал он.

– Существует ли Большой Брат?

– Конечно, да. Партия существует. Большой Брат – воплощение Партии.

– Существует ли он точно так же, как существую я?

– Вы не существуете, – произнес О’Брайен.

И снова Уинстона одолело ощущение беспомощности. Он понимал или мог вообразить доводы, подтверждавшие, что его не существует, но они были чепухой, игрой в слова. Разве утверждение: «Вы не существуете» – не абсурдно с точки зрения логики? Только что толку об этом говорить? При мысли о том, какими неоспоримыми, безумными доводами забьет его О’Брайен, Уинстон содрогнулся.

– Я думаю, что существую, – вяло проговорил Уинстон. – Я осознаю себя как личность. Я родился, и я умру. У меня есть руки и ноги. Я занимаю определенное место в пространстве. Никакой другой объект не может находиться одновременно в той же точке, что и я. В этом смысле Большой Брат

существует?

– Это все неважно. Он существует.

– Большой Брат когда-нибудь умрет?

– Конечно, нет. Разве он может умереть? Следующий вопрос.

– Братство существует?

– Этого, Уинстон, вы не узнаете никогда. Если мы решим освободить вас после того, как с вами закончим, и вы проживете лет до девяноста, то все равно не узнаете, каков ответ на этот вопрос: да или нет. Пока вы живы, это останется в вашем сознании неразрешимой загадкой.

Уинстон лежал молча. Его грудь поднималась и опадала немного чаще. Он все еще не задал вопрос, что пришел ему в голову в первую очередь. Должен был спросить, но язык не слушался. На лице О’Брайена мелькнула насмешка. Казалось, даже его очки иронично блеснули. Он знает, внезапно подумал Уинстон, он знает, что я хочу спросить!

– Что в «помещении 101»? – выпалил Уинстон.

Выражение лица О’Брайена ничуть не изменилось. Он сухо ответил:

– Вам известно, что в «помещении 101», Уинстон. Всякому известно, что в «помещении 101».

Движением пальца он дал знак человеку в белом халате. Сеанс явно подошел к концу. В руку Уинстона вонзилась игла. Почти сразу он погрузился в глубокий сон.

### III

– Ваша реабилитация состоит из трех этапов, – объяснял О’Брайен. – Обучение, осмысление и принятие. Пора переходить ко второму этапу.

Как всегда, Уинстон лежал на спине, но с недавних пор его привязывали уже не так крепко. Встать бы не получилось, зато он мог двигать коленями, поворачивать голову и поднимать руки до локтей. Шкала прибора уже не внушала панический ужас: ударов током можно было избежать, если не тупить и отвечать быстро. Как правило, О’Брайен поворачивал регулятор, стоило лишь Уинстону замешкаться. Иногда удавалось обходиться без наказания весь сеанс. Уинстон не помнил, сколько таких сеансов прошел. Процесс растянулся надолго, наверное, на много недель, и промежутки между сеансами могли длиться нескольких дней, а могли час или два.

– Находясь здесь, – сказал О’Брайен, – вы часто недоумевали и даже спрашивали у меня, почему министерство любви тратит на вас столько времени и сил. Будучи на свободе, вы задавались примерно тем же вопросом. Вы смогли уяснить устройство общества, в котором живете, но не лежащие в его основе мотивы. Помните, как написали в своем дневнике: «*Я понимаю как. Понять не могу, зачем*»? Как раз, ломая голову над «зачем», вы и сомневались в своей адекватности. Вы прочли *Книгу*, книгу Гольдштейна, по крайней ме-

ре, несколько глав. Узнали что-нибудь новое?

– Вы ее читали? – спросил Уинстон.

– Я ее написал. Так сказать, участвовал в ее написании.

Ни одна книга не создается одиночкой, как вам известно.

– То, что в ней написано, правда?

– Как описание – да. Предлагаемая в ней программа – чепуха. Тайное накопление знаний... постепенное просвещение масс... в довершение всего восстание пролетариев... свержение Партии... Вы и сами предвидели, что будет в ней говориться. Все это чепуха. Пролетарии не восстанут никогда: ни через тысячу, ни через миллион лет. Неспособны. Мне незачем называть вам причину: вы ее и так знаете. Если вы когда-либо лелеяли мечты о вооруженном мятеже, распрощайтесь с ними. Партию никоим образом нельзя свергнуть. Правление Партии вечно. Из этого впредь и исходите.

О’Брайен подошел вплотную к койке.

– Вечно! А теперь вернемся к вопросу о «как?» и «зачем?». Вы понимаете, *как* Партия сохраняет свою власть. Теперь расскажите мне, *зачем* мы держимся за власть. Каков наш мотив? Зачем нам нужна власть? Ну же, говорите, – по-нукал он умолкшего Уинстона.

Но тот продолжал подавленно молчать. На лице О’Брайена вновь проступило безумие фанатика. Уинстон заранее знал, что тот скажет. Что Партия стремится к власти не для себя, а ради благополучия большинства. Что люди в массе своей слабые, трусливые создания, неспособные вынести ни

свободы, ни правды, ими должны управлять и планомерно их обманывать те, кто сильнее. Что человечество стоит перед выбором: свобода или счастье, – и для подавляющего большинства счастье куда предпочтительнее. Что Партия – вечный покровитель слабых, ревностный орден единомышленников, который прибегает ко злу во имя добра, жертвует своим счастьем ради остальных... Самое ужасное, думал Уинстон, самое ужасное, что О'Брайен действительно всему этому верит. Это написано у него на лице. О'Брайен знает все. Ему в тысячу раз больше, чем Уинстону, известно, что из себя представляет реальный мир, в каком убожестве живут люди и какой ложью и зверствами Партии удастся удерживать их в таком положении. О'Брайен все понял, взвесил и отмел за ненадобностью: высшая цель оправдывает любые средства. Что противопоставить фанатику, размышлял Уинстон, который гораздо умнее тебя, который выслушивает твои доводы и продолжает упорствовать в своем безумии?

– Вы правите нами ради нашего блага, – вяло отозвался Уинстон. – Вы верите, что люди не в состоянии позаботиться о себе сами, поэтому...

Он вздрогнул и едва сдержал крик. Тело пронзила боль. О'Брайен перевел регулятор напряжения на тридцать пять.

– Глупо, Уинстон, глупо! – воскликнул он. – Думайте, прежде чем говорить! – Убавил напряжение и продолжил: – Я сам отвечу на свой вопрос. Дело вот в чем. Партия стремится к власти исключительно ради нее самой. Нас не ин-

тересует общее благо, нас интересует лишь власть. Ни богатство, ни роскошь, ни долгая жизнь, ни счастье – только власть, абсолютная власть. Скоро вы поймете, что мы под ней подразумеваем. В отличие от олигархий прошлого мы знаем, что делаем. Все прочие, даже похожие на нас, – трусы и лицемеры. Методы немецких нацистов и русских коммунистов очень близки нашим, только им не хватило мужества разобраться в своих мотивах. Они прикидывались, а то и верили, что захватили власть против своей воли и на ограниченное время, что буквально за углом ждет рай, где люди будут свободны и равны. Мы не такие. Мы знаем, что никто не захватывает власть, чтобы потом от нее отказаться. Власть – не средство, власть – это цель. Никто не устанавливает диктатуру, чтобы защитить революцию, революцию устраивают ради того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий – репрессии. Цель пытки – пытка. Цель власти – власть. Теперь вы начинаете меня понимать?

Уинстона опять поразило, каким усталым выглядит лицо О'Брайена. Сильное, грузное и суровое, на этом лице в глазах светились ум и сдерживаемая страсть, перед которой Уинстон пасовал, и в то же время на нем проступала усталость. Под глазами набрякли мешки, щеки ввалились. О'Брайен склонился над ним, намеренно приблизив усталое лицо.

– Вы думаете, – проговорил он, – что лицо у меня старое и усталое. Думаете, что я разглагольствую о власти, а сам не

в силах предотвратить распад собственного тела. Неужели вы не понимаете, Уинстон, что индивид – всего лишь клетка? Усталость для клетки – энергия для организма. Разве вы умираете, когда состригаете ногти?

О’Брайен отвернулся и стал расхаживать взад-вперед, сунув руку в карман.

– Мы жрецы власти, – заявил он. – Сила – бог. А вот для вас, Уинстон, власть – всего лишь слово. Пора вам уяснить, что такое власть. Первое, что вы должны усвоить: власть коллективна. Индивид обретает власть лишь тогда, когда перестает быть индивидом. Вы знаете лозунг Партии: «Свобода есть рабство». Вам не приходило в голову, что верно и обратное? Рабство есть свобода. Одинокий, то есть свободный человек всегда терпит поражение. Так и должно быть, потому что человек обречен на смерть, и в этом его самый главный дефект. Если же человек полностью, безоговорочно подчинится, если сможет отрешиться от своей личности, если сольется с Партией и станет ею, то обретет абсолютную власть и бессмертие. Второе, что вы должны усвоить: власть – это власть над людьми. Над телом и, самое главное, над разумом. Власть над материей – над объективной реальностью, как вы бы ее назвали, – неважна. Материю мы уже подчинили себе полностью.

На миг Уинстон позабыл про шкалу. Он отчаянно, до боли рванулся всем телом, пытаясь сесть, но путы держали крепко.

– Разве вы способны управлять материей?! – выпалил он. – Вам не подвластны ни климат, ни закон гравитации! А еще есть болезни, боль, смерть...

О’Брайен жестом велел ему умолкнуть.

– Мы управляем материей, потому что управляем разумом. Реальность находится внутри черепа. Постепенно вы этому научитесь, Уинстон. Мы способны абсолютно на все. Невидимость, левитация – все что угодно. Я мог бы взмыть над полом как мыльный пузырь, если бы захотел. Но я не хочу, потому что этого не хочет Партия. Пора вам избавиться от этих понятий девятнадцатого века о законах природы. Мы устанавливаем законы природы.

– Ничего подобного! Вы даже не хозяева всей планеты! Как насчет Евразии и Востазии? Их-то вы пока не завоевали.

– Не имеет значения. Завоеуем, когда понадобится. А если и нет, то какая разница? Мы можем от них отгородиться. Океания и есть весь мир.

– Этот ваш мир – всего лишь пылинка во Вселенной, и человек так мал... так беспомощен! Да и появился он совсем недавно. Миллионы лет на нашей планете вообще никто не жил.

– Вздор! Земле столько же, сколько нам. Как она может быть старше? Вне человеческого сознания вообще ничего нет.

– В земле полно костей вымерших животных, мамонтов, мастодонтов и огромных рептилий, которые жили здесь за-

долго до того, как появился человек!

– Вы сами-то эти кости видели, Уинстон? Разумеется, нет. Биологи девятнадцатого века их придумали. До человека не было ничего. После человека, если он вымрет, тоже не останется ничего. Вне человека – ничто!

– Как же так, ведь вне нас целая Вселенная! Взгляните на звезды! Некоторые из них в миллионе световых лет отсюда. Нам до них не добраться никогда.

– Что такое звезды? – равнодушно заметил О’Брайен. – Всего лишь огоньки в нескольких километрах. Если захотим, мы доберемся до них или же просто погасим. Земля – центр Вселенной. Вокруг нее вращаются и Солнце, и звезды.

Уинстон снова судорожно рванулся, но промолчал. О’Брайен продолжил говорить, как бы отвечая на невысказанное возражение:

– Для решения определенных задач, конечно, это неправда. Когда мы плывем по океану или предсказываем затмение, то для удобства предполагаем, что Земля вращается вокруг Солнца и звезды находятся в миллионах и миллионах километров от нас. И что с того? Неужели вы думаете, что мы не в силах разработать двойную астрономию? Неужели считаете, что наши математики на это не способны? Забыли про двоемыслие?

Уинстон поежился. Что бы он ни сказал, у О’Брайена на все был готов молниеносный ответ. И все же он знал, что прав. Уверенность в том, что вне разума ничего не существу-

ет... как же она называется? Вроде бы это заблуждение давно развенчано... Уголки губ О'Брайена поползли вверх.

– Говорил же вам, Уинстон: философия не ваш конек. Слово, которое вы пытаетесь вспомнить, – солипсизм. Так вот, ошибаетесь. Это не солипсизм. Коллективный солипсизм, если угодно. Хотя тут иное, нечто совершенно противоположное. Впрочем, мы отклонились от темы, – добавил он другим тоном. – Реальная власть, за которую нам придется сражаться день и ночь, есть не власть над вещами, а власть над людьми. – Он помолчал и снова заговорил как школьный учитель с подающим надежды учеником: – Как один человек утверждает свою власть над другим, Уинстон?

Уинстон задумался.

– Заставляя его страдать, – ответил он.

– Именно. Заставляя его страдать. Одного послушания недостаточно. Если другой человек не страдает, то как быть уверенным, что он исполняет вашу волю, а не свою? Власть состоит в том, чтобы причинять боль и унижения. Власть состоит в том, чтобы разрывать сознание человека на куски и компоновать их как заблагорассудится. Вы начинаете понимать, какой мир мы создаем? Совершенно противоположный бестолковым гедонистическим утопиям, что грезилась реформаторам прошлого. Мир страха, предательства и мучений. Мир, где одни топчут других. Мир, который по мере своего развития будет становиться все более безжалостным. Прогресс в нашем мире будет идти в сторону увели-

чения боли. Прежние цивилизации заявляли, что основаны на принципах любви и справедливости. Наша основана на ненависти. В нашем мире не останется чувств, кроме страха, гнева, торжества и самоуничтожения. Остальные чувства мы уничтожим все до единого. Мы уже крушим стереотипы мышления, сохранившиеся с дореволюционных времен. Мы прервали связь между ребенком и родителем, между мужчиной и женщиной, между мужчиной и женщиной. Никто больше не осмеливается доверять ни жене, ни ребенку, ни другу. В будущем ни жен, ни друзей уже не будет. Детей станут забирать у матерей при родах, как яйца у кур. Половой инстинкт мы искореним. Размножение превратится в ежегодную формальность вроде обновления продовольственной карточки. Оргазм мы упраздним – наши неврологи уже над этим работают. Не останется иной преданности, кроме преданности Партии. Не останется иной любви, кроме любви к Большому Брату. Не останется иного смеха, кроме хохота над поверженным врагом. Не останется ни искусства, ни литературы, ни науки. Когда мы станем всемогущими, необходимость в науке отпадет. Не останется разницы между красотой и уродством. Не останется ни любознательности, ни удовольствия от жизни. Все отвлекающие способы получить удовольствие будут уничтожены. Но навсегда... не забывайте об этом, Уинстон... навсегда останется опьянение властью, постоянно усиливаясь и постоянно делаясь все изощреннее. Всегда, в любое время пребудет упоение победой и

ощущение того, что топчешь поверженного врага. Если угодно представить картину будущего, представьте грубый, тяжелый ботинок, который растаптывает лицо человека – вечно...

Он выжидательно помедлил, словно ожидая ответа. Уинстон попытался опять вжаться в койку. Он не мог и слова вымолвить. Сердце, казалось, смерзлось в ледышку. О’Брайен продолжил:

– И помните: это навсегда. Всегда отыщется лицо, чтобы его топтать. Всегда сыщется и еретик, враг общества, кого можно будет громить и унижать. Все, что вы пережили с тех пор, как попали к нам в руки, продолжится и усугубится. Слежки, предательства, аресты, пытки, казни, исчезновения не прекратятся никогда. Это будет мир террора и мир триумфа. Чем сильнее Партия, тем она безжалостнее; чем слабее сопротивление, тем жестче тирания. Гольдштейн и его лжеучение будут живы вечно. Каждый день, каждый миг их будут опровергать и развенчивать, высмеивать и поносить, и все равно они уцелеют. Пьеса, которую я разыгрывал с вами целых семь лет, будет ставиться снова и снова, поколение за поколением, и становиться все изощреннее. Всегда в нашей власти будет еретик, кто, сломленный и ничтожный, завопит от боли, а под конец, спасенный от себя самого, раскается во всем, угодливо валяясь у нас в ногах. Вот какой мир мы создадим, Уинстон. Мир победы за победой, мир триумфа за триумфом: давление все жестче, жестче, жестче! Вижу, вы

начинаете понимать, каким станет наш мир. В конце концов вы не просто поймете, вы его примете, станете его частью.

Уинстон кое-как оправился и вяло возразил:

– Не сумеете.

– Что означает ваша реплика, Уинстон?

– Вы не сумеете создать тот мир, какой только что описали. Это блажь, утопия! Это невозможно.

– Почему?

– Невозможно основать цивилизацию на страхе, ненависти и жестокости. Долго она ни за что не протянула бы.

– Почему же?

– В ней не было бы жизненной силы. Она развалилась бы.

Покончила бы с собой.

– Чепуха! В вас говорит убеждение, будто ненависть изнурительнее любви. С чего бы это? А если бы так оно и было, то какая разница? Предположим, мы предпочтем жить на износ. Предположим, станем ускорять темп человеческой жизни, пока человек не одряхлеет к тридцати годам. Что с того? Неужели вы не понимаете, что смерть индивида не есть смерть? Партия бессмертна.

Как обычно, этот голос вверг Уинстона в беспомощность. Более того, давил страх, что если он станет упорствовать в несогласии, то О'Брайен вновь приведет в движение стрелку. И все же смолчать не мог. Слабенько, бездоказательно, безо всякой опоры на что-либо, кроме своего невыразимого ужаса от сказанного О'Брайеном, он вновь повел атаку:

– Я не знаю... мне все равно. Так или иначе, у вас не получится. Что-то вас одолеет. Жизнь одолеет вас.

– Уинстон, жизнь мы держим в узде, на всех уровнях. Вам представляется, будто существует некая человеческая природа, что придет в ярость от того, что мы делаем, и обернется против нас. Только человеческую природу мы создаем. Люди бесконечно податливы. Или, по-видимому, вы вернулись к своей старой идее, что пролетарии или рабы восстанут и свергнут нас. Выбросьте это из головы. Они беспомощны, как скоты. Партия и есть человечество. Остальные вне него значения не имеют.

– Мне все равно. В конечном счете они побьют вас. Рано или поздно поймут, что вы из себя представляете, и тогда порвут вас в куски.

– Есть у вас хоть какое свидетельство, что это происходит? Или назвать причину, почему должно происходить?

– Нет. Я верю в это. Я *знаю*, что у вас не получится. Есть во Вселенной что-то... не знаю, некий дух, принцип некий... который вам никогда не одолеть.

– Вы верите в Бога, Уинстон?

– Нет.

– Тогда что же оно такое, этот принцип, что одолеет нас?

– Не знаю. Дух Человека.

– Вы считаете себя человеком?

– Да.

– Если вы человек, Уинстон, то последний человек. Ваш

вид вымер, а мы ему унаследовали. Вы понимаете, что вы *один*? Вы вне истории, вас не существует. – О’Брайен сменил тактику и жестко бросил: – Вы верите в свое моральное превосходство над нами, лживыми и жестокими?

– Да, я верю в свое превосходство.

О’Брайен молчал. Заговорили два других голоса. Не сразу, но в одном из них Уинстон узнал свой. Запись разговора, который он вел с О’Брайеном в тот вечер, когда вступил в Братство. Слышал себя, уверявшего, что готов прибегнуть к обману, лжи, шантажу, поощрять проституцию и наркоманию, распространять венерические заболевания, плеснуть кислотой в лицо ребенку... О’Брайен нетерпеливо махнул рукой, словно давая понять, что продолжать не имеет смысла, повернул выключатель – и голоса умолкли.

– Вставайте с кровати, – велел он.

Путы ослабли. Уинстон спустил ноги на пол и неуверенно поднялся.

– Вы, последний человек, – произнес О’Брайен. – Вы, хранитель человеческого духа. Вам предстоит увидеть, что вы из себя представляете. Разденьтесь.

Уинстон развязал тесемку на комбинеzone. Молнию из него давно выпороли. Он не помнил, раздевался ли донага после ареста. Под одеждой к телу липли грязные, желтоватые лохмотья – остатки нижнего белья. Бросив их на пол, он заметил в дальнем конце комнаты зеркало с тремя створками. Подошел ближе и остановился как вкопанный. При виде

своего отражения он не смог сдержать крик.

– Ну же, – понукал О’Брайен, – встаньте между створками. Сбоку тоже стоит взглянуть.

Уинстон замер в испуге. Навстречу ему двигалось нечто согбенное, посеревшее, похожее на скелет. То, как он (а он себя узнавал) выглядел на самом деле, страшило. Он подошел ближе. Из зеркала свирепо и настороженно смотрело существо с выпуклым лбом, переходящим в бритый наголо череп, со сломанным носом, с разбитыми скулами. На щеках залегли глубокие складки, рот запал. Безусловно, лицо его собственное, но изменилось оно куда больше, чем внутренне изменился сам Уинстон: проступавшие на нем чувства отличались от тех, что он испытывал. Волос на голове почти не осталось. Сперва Уинстон решил, что он еще и поседел, потом понял: это всего лишь грязь, тело посерело от застарелой, въевшейся грязи. Среди нее краснели недавние шрамы, на голени алела трофическая язва – незаживающая, гноящаяся рана вся в ошметках кожи. Особенно пугала худоба: грудная клетка ввалилась, как у скелета, ноги иссохли до такой степени, что колени были толще бедер. Теперь Уинстон понял, почему О’Брайен велел ему посмотреть на себя сбоку... Позвоночник искривился до невозможности, плечи сместились вперед, грудь как бы вдавилась внутрь, тощая шея под весом черепа сгибалась чуть ли не вдвое. Он превратился в старика лет шестидесяти, да еще и неизлечимо больного на вид.

– Иногда вы думали, – заметил О’Брайен, – что мое лицо – лицо члена Центра Партии – выглядит старым и потрепанным. Что же вы думаете о своем?

Он стиснул плечо Уинстона и развернул к зеркалу лицом.

– Взгляните, на что вы похожи! – вскричал он. – Взгляните на отвратительную, вьезшуюся в кожу грязь, на мерзкую, гноящуюся рану на ноге. Вы хоть знаете, что смердите, как козел? Видно, уже принюхались. Взгляните, как вы отощали. Я могу сомкнуть пальцы вокруг вашего бицепса. Я могу сломать вашу шею как кочерыжку. Вы хоть знаете, что похудели на двадцать пять килограммов? Да у вас волосы клоками лезут – глядите! – О’Брайен вырвал с его головы клочок волос. – Рот откройте. Осталось девять, десять, одиннадцать зубов. Сколько у вас было, когда пришли к нам? А уцелевшие едва держатся. Смотрите!

Он схватил двумя мощными пальцами передний резец. Уинстона пронзила боль. О’Брайен с легкостью вытянул расшатанный зуб с корнями и швырнул на пол.

– Вы гниете заживо, распадаетесь на куски. Во что вы превратились, Уинстон? В мешок с дерьмом. Ну-ка, повернитесь к зеркалу. Видите, кто на вас смотрит? Последний человек. Если вы человек, то таково и все человечество! А теперь одевайтесь.

Руки и ноги не слушались, и Уинстон долго не мог натянуть жалкие лохмотья. До сих пор он не замечал ни худобы, ни слабости. В голове крутилась лишь одна мысль: видимо,

он пробыл здесь гораздо дольше, чем казалось. И вдруг его охватила невыносимая жалость к своему истерзанному телу. Не помня себя, он рухнул на табурет возле кровати и разрыдался. Уинстон сознавал свое уродство, свою неприглядность: мешок костей в грязном белье сидит и ревет под слепящим белым светом – но остановиться не мог. О’Брайен ласково положил руку ему на плечо.

– Вы можете прекратить свои мучения, если захотите, – заверил он. – Все зависит только от вас.

– Это все вы! – всхлипнул Уинстон. – Вы меня довели...

– Нет, Уинстон, вы сами себя довели. На что еще вы рассчитывали, решив корчить из себя борца против Партии? С того все и пошло. Вы предвидели, что так и будет.

Он помолчал, потом продолжил:

– Мы победили вас, Уинстон. Мы вас сломали. Сами видите, на что похоже ваше тело. Ваш разум в таком же состоянии. Не думаю, что от вашей гордости хоть что-то осталось. Вас били, хлестали и оскорбляли, вы кричали от боли, катались по полу в своей крови и рвоте. Вы скулили о пощаде, вы предали всех и вся. Осталось ли хоть что-то, чем вы можете гордиться?

Уинстон перестал рыдать, хотя слезы еще катились по лицу. Он поднял взгляд.

– Я не предал Джулию.

О’Брайен посмотрел на него задумчиво.

– Совершенно верно, – согласился он. – Джулию вы не

предали.

Сердце Уинстона вновь исполнилось благоговейным почитанием, которого ничто не могло уничтожить. Как умно, подумал он, как умно! О'Брайен всегда понимает, что ему говорят. Любой другой не преминул бы напомнить, как Уинстон предал Джулию. Чего только они не вытрясли из него под пытками! Уинстон рассказал им все, что знал о ней, о ее привычках, о ее характере, о ее прошлом; поведал обо всех, даже самых интимных подробностях их встреч, включая разговоры, купленную на черном рынке еду и бестолковые планы заговора против Партии. И тем не менее он не предал ее в том смысле, какой для себя вкладывал в слово «предательство». Он не разлюбил Джулию, его чувство к ней осталось прежним. О'Брайен без лишних объяснений понял, что Уинстон имеет в виду.

– Скажите, скоро ли меня расстреляют?

– Может, и совсем не скоро, – ответил О'Брайен. – Вы тяжелый случай. Впрочем, надежду терять не стоит, рано или поздно исцеляются все. В конечном итоге мы вас расстреляем.

## IV

Уинстону стало гораздо лучше. Он набирал вес и силы с каждым днем, если уместно говорить о днях. Хотя слепящий свет и непрерывный гул никуда не делись, его перевели в чуть более удобную камеру. На нарах теперь лежали подушка и матрас, и еще был табурет, чтобы сидеть. Уинстону дали помыться целиком и позволили регулярно споласкиваться в жестяном тазу, причем в теплой воде. Ему выделили новый комплект белья и чистый комбинезон. На трофическую язву наложили повязку с болеутоляющей мазью. Остатки зубов удалили, их заменили протезы.

Вероятно, прошли недели или даже месяцы. Поскольку кормили теперь регулярно, Уинстон мог бы следить за временем, если б захотел. Судя по всему, питание он получал трижды в сутки, иногда он задавался вопросом, происходит ли это днем или ночью. Еда была на удивление вкусной, каждый третий раз с мясом. Однажды ему выдали пачку папирос. Спичек не полагалось, но молчаливый надзиратель иногда давал прикурить. От первой папиросы Уинстону стало дурно, потом пошло полегче, и он растянул пачку надолго, выкуривая после еды по полпапиросы.

Ему выдали белую доску для безопасного письма с привязанным в углу огрызком карандаша. Сначала Уинстон ею не пользовался. Даже бодрствуя, он ощущал полное безразли-

чие. Между приемами пищи лежал почти неподвижно, иногда дремал, иногда просто не мог открыть глаза, предаваясь смутным грезам. Он давно привык спать с бьющим в лицо светом – это больше не мешало, лишь делало сны чуть более упорядоченными. В последнее время Уинстону снилось много снов, причем всегда радостных. То он бродит по Золотой стране, то сидит среди грандиозных, живописных, залитых солнцем развалин с матерью, Джулией и О’Брайеном, просто сидит на солнышке и беседует с ними о приятных вещах. Просыпаясь, Уинстон думал в основном о том, что ему приснилось. Похоже, с исчезновением болевого стимула он разучился прилагать умственные усилия. Он не испытывал ни скуки, ни желания беседовать или развлекаться. Его вполне устраивало, что он может побыть один, что его не бьют и не допрашивают, да еще кормят вдоволь и дают помыться.

Постепенно Уинстон стал меньше спать, но подниматься с койки не испытывал ни малейшего желания. Ему хотелось просто лежать и чувствовать, как в теле накапливаются силы. Он ощупывал себя, стараясь убедиться, что ему не мерещится и мышцы действительно наливаются, а кожа становится более упругой. Наконец он уверился, что набрал вес: бедра определенно стали толще коленей. После этого взялся, поначалу нехотя, за зарядку. Он понемногу занялся мочионом. Вскоре он проходил по три километра, меряя камеру шагами, и согнутые плечи постепенно распрямились. Попробовав более сложные упражнения, Уинстон с удивлени-

ем и негодованием обнаружил, сколько всего ему не удастся. Он не мог перейти с ходьбы на бег, не мог держать табурет в вытянутой руке, не мог стоять на одной ноге, не падая. Приседая, он чувствовал мучительную боль в икрах и бедрах и едва поднимался в исходное положение. Уинстон лег на пол, попробовал отжаться. Бесплезно: не сдвинулся ни на сантиметр. И лишь через несколько дней – и приемов пищи – даже этот подвиг ему удался. Пришло время, когда он смог отжаться целых шесть раз подряд! Уинстон начал гордиться своим телом и тешить себя надеждой, что лицо тоже приходит в норму. Лишь случайно касаясь рукой лысого черепа, он вспоминал морщинистое, изуродованное лицо, какое увидел в зеркале.

Разум тоже прояснялся. Уинстон садился на койку, прислонялся к стене, клал на колени доску и методично занимался самообразованием.

Он капитулировал, в том не оставалось сомнений. На самом деле, как Уинстону стало ясно теперь, капитулировал он задолго до того, как принял осознанное решение. Попав в министерство любви – и даже в те минуты, когда они с Джулией беспомощно стояли, выслушивая указания железного голоса с телеэкрана, – Уинстон понял несерьезность попытки пойти против Партии. Как выяснилось, полиция помыслов семь лет наблюдала за ним, словно за жуком под лупой. Замечалось абсолютно все: любой поступок, любое сказанное вслух слово, любая мысль, промелькнувшая на лице. Да-

же белесую соринку с обложки дневника аккуратно возвращали на место. Ему проиграли аудиозаписи, показали фотографии. На некоторых Уинстон с Джулией... Да, в мельчайших подробностях... Борьба с Партией он больше не мог. К тому же Партия всегда права. Так и должно быть, разве может ошибаться бессмертный коллективный разум? По каким внешним стандартам проверишь его на вменяемость? Здравый смысл измеряется статистикой. Нужно всего лишь научиться думать, как они. Всего лишь!..

С непривычки карандаш казался толстым и неудобным. Уинстон начал записывать мысли, приходившие ему в голову. Он вывел неуклюжими заглавными буквами:

**СВОБОДА ЕСТЬ РАБСТВО**

И почти без паузы написал ниже:

$$2 + 2 = 5$$

Дело застопорилось. Уинстону никак не удавалось сосредоточиться, он словно нарочно увиливал. Знал, что должно следовать дальше, но не мог припомнить. И лишь приложив сознательное усилие, а не по наитию, написал:

**БОГ ЕСТЬ ВЛАСТЬ**

Уинстон принял все. Прошлое изменяемо – прошлое не менялось никогда. Океания воюет с Востазией – Океания всегда воевала с Востазией. Джонс, Аронсон и Резерфорд виновны в предъявленных обвинениях. Он никогда не видел фотографию, доказывавшую их невиновность. Ее нико-

гда не существовало, он сам ее придумал. Он помнил и обратное, но то были ложные воспоминания, результат самобмана. До чего все легко! Лишь сдайся, а остальное приложится. Все равно что плыть против течения, которое сносит назад, как бы сильно ты ни выкладывался, а потом вдруг решить развернуться и поплыть по течению. Не изменилось ничего, кроме твоего отношения: предначертанное произойдет в любом случае. Уинстон уже не понимал, зачем вообще стал бунтарем. Все теперь легко, кроме...

Правдой может быть что угодно. Так называемые законы природы – чепуха. Закон гравитации – чепуха. «Если бы я захотел, – сказал О’Брайен, – то мог бы взмыть над полом как мыльный пузырь». Уинстон задумался. «Если он *думает*, что взмыл над полом, и я тоже *думаю*, что вижу, как он это сделал, значит, так и есть на самом деле». Внезапно, как на поверхности воды появляется обломок кораблекрушения, в его сознании всплыла мысль: «Этого нет. Мы все выдумали. Это галлюцинация». Уинстон поспешно ее подавил как заведомо ложную. Мысль предполагала, что где-то вне его сознания существует некий *реальный* мир, где происходят *реальные* события. Разве такой мир существует? Любые знания дает нам наше сознание. Значит, все происходит лишь в нашем сознании, и что бы там ни происходило, оно и есть правда.

Уинстон избавился от этого заблуждения без труда и не поддался ему. Тем не менее он понимал, что таким мыслям

вообще в голове не место. Как только опасная мысль западает, сознание создает своего рода слепое пятно, причем процесс должен происходить автоматически, по инстинкту. На новослове это называется «криминалстоп».

Он начал упражняться в *криминалстопе*: формулировал утверждения («Партия говорит, что Земля плоская», «Партия говорит, что лед тяжелее воды») и заставлял себя не видеть или не понимать доводов, которые им противоречат. Это давалось нелегко, требовало огромных мыслительных усилий и большой ловкости. Арифметические сложности, связанные с задачей «два и два равно пяти», лежали за пределами его умственных возможностей. К тому же требовались своего рода атлетизм ума, способность одновременно виртуозно пользоваться логикой, а в следующий миг по-глупому игнорировать грубейшие логические ошибки. Глупость требовалась не меньше, чем разумение, и давалась с не меньшим трудом.

И все это время он задавался вопросом: когда же его расстреляют? «Все зависит только от вас», – заверил О’Брайен, но Уинстон знал, что никоим образом не в силах приблизить этот миг сознательно. Это могло произойти и через десять минут, и через десять лет. Его могут продержать в одиночке долгие годы, могут послать в трудовой лагерь, могут ненадолго выпустить. Вполне вероятно, что перед расстрелом будет снова разыграна та же пьеса: арест, допросы. Единственное, что известно наверняка: смерть всегда внезапна. По тра-

диции (по негласной традиции, разумеется) в приговоренного стреляют сзади, в затылок, без предупреждения, пока ведут по коридору из камеры в камеру.

Однажды – как всегда, непонятно, то ли днем, то ли ночью, Уинстон впал в странное, блаженное забытие. Он шел по коридору, ожидая пули. Знал, что это произойдет в любую минуту. Вопрос был решен, все дела улажены, все противоречия устранены. Не осталось ни сомнений, ни возражений, ни боли, ни страха. Он шагал легко, радуясь движению и почему-то чувствуя на себе лучи солнца. И вот он уже не в длинном белом коридоре министерства любви, а в огромной, залитой солнцем галерее километр шириной, в которую вроде бы уже попадал, когда его накачивали наркотиками. Он очутился в Золотой стране и шел по тропинке через изрытый кроличьими норами луг. Под ногами пружинил мягкий дерн, кожу ласкало солнце. На краю поля чуть покачивались на ветру вязы, вдали струился ручей, где в заводях под ивами плавают ельцы.

Внезапно Уинстон в ужасе вскочил, обливаясь потом, и услышал свой громкий крик:

– Джулия! Джулия! Джулия, любимая! Джулия!

На миг ему показалось, что она рядом. Точнее, не с ним, а внутри него, словно проникла ему под кожу. И в этот миг он любил ее гораздо больше, чем когда они были вместе и на свободе. Еще каким-то чутьем он угадывал, что она жива и нуждается в помощи.

Уинстон опустил на койку и попытался взять себя в руки. Что же он наделал? Сколько еще лет добавил к своему тюремному заключению, поддавшись минутной слабости?

Скоро раздастся топот шагов. Такой порыв чувств они просто не могут оставить безнаказанным. Теперь они точно знают, что он нарушил соглашение. Он подчинился Партии, но все еще ненавидел ее. Прежде Уинстон скрывал еретические мысли под маской подчинения, теперь отступил еще на шаг: разумом сдался, в душе же надеялся остаться прежним. Уинстон знал, что не прав, и продолжал упорствовать. Его поймут: О'Брайен наверняка все понял! Уинстон выдал себя одним глупым воплем.

Придется все начинать заново. На это могут уйти годы... Уинстон провел рукой по лицу, пытаясь свыкнуться с новыми очертаниями. На щеках залегли глубокие складки, скулы заострились, нос стал плоским. Кроме того, ему сделали зубные протезы. Нелегко сохранять невозмутимость, если не знаешь, как выглядит твое лицо. В любом случае, владения мимикой явно недостаточно. Впервые до него дошло, что скрывать тайну нужно не только от окружающих, но и от себя самого. Знаешь, что она есть, и до поры до времени держишь ее за границей сознания, не позволяя обрести ни форму, ни имя. Отныне он должен не только думать правильно, но и правильно чувствовать, видеть правильные сны. И в то же время должен держать свою ненависть под замком, словно шарик материи, который стал его частью и в то же время

существует отдельно от организма, как киста.

Когда-нибудь они решат его расстрелять. Заранее не узнаешь, но за несколько секунд догадаться можно. Выстрелят сзади, пока будут вести по коридору. Десяти секунд хватит. И тогда мир внутри него перевернется. И вот без единого слова, не сбиваясь с шага, не дрогнув лицом он сбросит маску – и бах! врубит свою ненависть на полную. Ненависть заполнит его, как ревущее пламя. И почти в тот же миг – бах! – вылетит пуля, и будет слишком поздно или слишком рано. Они разнесут его мозг прежде, чем сумеют им завладеть. Еретическая мысль останется безнаказанной, грешник ускользнет нераскаянным. Они сами пробьют брешь в своей безупречности. Умереть с ненавистью к ним и есть свобода.

Уинстон прикрыл глаза. Это куда сложнее, чем дисциплина ума. Придется распрощаться с остатками достоинства, изувечить себя, нырнуть в самую клоаку. Что может быть страшнее всего? Он вспомнил Большого Брата. Перед мысленным взором Уинстона возникло огромное, метр в ширину, лицо с густыми черными усами и неусыпно следящим за тобой взглядом – такое, как на плакатах. Что же он на самом деле испытывает к Большому Брату?

В коридоре раздались тяжелые шаги. Железная дверь с лязгом распахнулась. В камеру вошел О’Брайен. За ним маячил офицер с восковым лицом и надзиратели в черной униформе.

– Встаньте, – велел О’Брайен. – Подойдите сюда.

Уинстон подчинился. О'Брайен сжал его плечи обеими руками и пристально взглянул в глаза.

– Вы хотели меня обмануть, – сказал он. – Зря. Станьте прямо. Не отводите взгляд. – О'Брайен помолчал, потом несколько смягчил тон: – Вы делаете успехи, Уинстон. Умом вы почти исцелились, но в эмоциональном плане продвинулись мало. Скажите... и помните, не смейте мне лгать, ложь я всегда распознаю... скажите, что вы испытываете к Большому Брату?

– Я его ненавижу.

– Ненавидите, значит. Отлично. Значит, настало время для последнего этапа. Вы должны любить Большого Брата. Простого подчинения недостаточно, вы должны его любить.

О'Брайен выпустил Уинстона и чуть подтолкнул к надзирателям.

– Помещение сто один, – произнес он.

## V

На каждом этапе своего заключения в этой башне без окон Уинстон знал, где находится, или думал, что знает. Возможно, сказывались небольшие различия в атмосферном давлении. Камеры, где его избивали надзиратели, располагались в подземной части. Комната, где его допрашивал О'Брайен, — под самой крышей. А это помещение скрывалось глубоко под землей, в самом низу.

Здесь было просторнее, чем в других камерах, хотя обстановку Уинстон особо не разглядывал. Он обратил внимание лишь на два небольших столика, покрытых грубым зеленым сукном. Один стоял в метре или двух перед ним, другой вдалеке, возле двери. Он сидел на стуле, привязанный так крепко, что не пошевелиться. Голову сзади обхватывал мягкий держатель, позволявший смотреть только вперед.

Дверь открылась, вошел О'Брайен.

— Как-то вы спросили, что находится в помещении сто один, — напомнил он. — Я ответил, что это и вам самому известно. Это всем известно. В помещении сто один то, что ужаснее всего на свете.

Дверь снова открылась. Вошел надзиратель с какой-то проволочной клеткой или корзиной и поставил ее на дальний стол. О'Брайен загораживал обзор, поэтому Уинстон не смог ничего разглядеть.

– То, что ужаснее всего на свете, – пояснил О’Брайен, – у всех разное. Кто-то боится быть похороненным заживо или посаженным на кол, погибнуть в огне или утонуть... способов казни существует предостаточно. Некоторые боятся чего-то вполне банального, даже несмертельного.

Он чуть отступил в сторону, и Уинстон увидел, что стоит на столике. Прямоугольная проволочная клетка с ручкой для переноски наверху. К передней части крепилась штука, похожая на фехтовальную маску, вогнутой стороной внутрь. Даже на расстоянии трех-четырех метров Уинстон разглядел, что клетка делится на две части и в каждой кто-то копошится. Крысы.

– В вашем случае, – заметил О’Брайен, – самое ужасное на свете – крысы.

Уинстон содрогнулся, едва внесли клетку, и предчувствие не обмануло. Он сразу сообразил, для чего нужна маска, и его точно ударили под дых.

– Не надо! – вскрикнул он высоким, надтреснутым голосом. – Только не это! Только не это!

– Помните, – осведомился О’Брайен, – миг паники в своем кошмаре? Вы стоите перед стеной мрака, в ушах рев. За стеной что-то ужасное. Вы всегда знали, что там, но не отваживались себе признаться. Там были крысы, Уинстон.

– О’Брайен! – воскликнул Уинстон, пытаясь унять дрожь в голосе. – Вы же знаете, что это лишнее. Чего еще вы от меня хотите?

От прямого ответа О'Брайен уклонился. Он задумчиво посмотрел в даль и заговорил тоном школьного учителя, словно обращаясь к невидимой аудитории за спиной Уинстона:

– Случается, одной боли недостаточно. Некоторые люди способны терпеть боль до самой смерти. Однако у всех есть то, что для них невыносимо. Мужество и трусость тут ни при чем. Если падаешь с высоты, то схватиться за веревку не трусость. Если выныриваешь из воды, то наполнить легкие воздухом не трусость. Это всего лишь инстинкт, который нельзя подавить. То же самое и с крысами. Для вас они невыносимы. Такого давления вы не в силах выдержать, даже если захотите. Вы сделаете все, что от вас потребуют.

– Но что, что? Как я могу сделать то, чего не знаю?!

О'Брайен поднял клетку, перенес к ближнему столу и аккуратно поставил на зеленое сукно. В ушах Уинстона застучала кровь. Внезапно он ощутил полное одиночество, словно сидит посередине громадной бесплодной равнины, плоской выжженной пустыни, и все звуки доносятся с огромного расстояния. При этом клетка с крысами находилась всего метрах в двух от него... Крысы были чудовищные, матерые, с побуревшей шкурой, с тупыми носами.

– Крыса, – продолжал О'Брайен, обращаясь к своим невидимым слушателям, – хотя и грызун, зато плотоядный. Полагаю, вам это известно. Вы слышали, что творится в беднейших кварталах нашего города. Женщины боятся оставить

маленьких детей одних даже на минуту. Крысы тут же нападут и за считанные минуты обглодают младенца до костей. Еще у них удивительное чутье на хворых и умирающих, которые неспособны защититься.

В клетке поднялся визг. До Уинстона он донесся словно издалека. Крысы устроили драку: пытались достать друг друга через перегородку. Еще он услышал глухой стон отчаяния, тоже донесшийся как бы извне.

О'Брайен поднял клетку и на что-то нажал. Раздался громкий щелчок. Уинстон рванул изо всех сил, пытаясь вырваться. Бесплезно, все части тела и даже голова были совершенно обездвижены. О'Брайен придвинул клетку. До лица Уинстона оставалось меньше метра.

– Я нажал на первый рычаг, – пояснил О'Брайен. – Конструкция клетки вам понятна. Маска обхватывает лицо плотно, деться вам некуда. Когда я нажму на второй рычаг, дверца клетки поднимется, и эти ненасытные твари вылетят из нее пулей. Доводилось видеть крысу в прыжке? Они прыгнут вам на лицо и вгрызутся в плоть. Иногда они начинают с глаз. Иногда прогрызают щеки и пожирают язык.

Клетка придвигалась все ближе и ближе. Уинстон услышал череду пронзительных воплей, раздававшихся где-то над головой, но продолжал яростно бороться с паникой. Думать, думать, думать до последнего – единственная надежда. Вдруг его ноздрей коснулась смрадная, затхлая вонь. К горлу подкатила тошнота, и он едва не лишился сознания. Вокруг

все почернело. На миг он превратился в безумное, визжащее животное. И все же из темноты Уинстон вынырнул, цепляясь за мысль. Спасти себя можно только одним-единственным способом: закрыться от крыс другим человеком, подставить его вместо себя.

Проволочная маска заслонила собой все. Дверца находилась совсем близко от лица. Крысы сообразили, что скоро произойдет. Одна принялась скакать вверх-вниз, другая тварь с длинным чешуйчатым хвостом, владыка сточных канав, встала, схватилась розовыми лапками за решетку и яростно втянула носом воздух. Уинстон разглядел усы, желтые зубы, и на него вновь нахлынула черная паника. Он ослеп, оглох, ошалел от ужаса.

– Подобный вид пытки был весьма распространен в Китайской империи, – назидательно сообщил О’Брайен.

Маска почти закрыла лицо, проволока коснулась щеки. И тогда Уинстон испытал еще не облегчение, нет, лишь проблеск надежды. Поздно, наверное, слишком поздно. Внезапно он понял, что на всем свете найдется лишь *один* человек, которого можно подставить вместо себя, – *одно* тело, которым он может отгородиться от крыс. И он истошно завопил, повторяя снова и снова.

– Возьмите Джулию! Возьмите Джулию! Не меня! Джулию! Мне все равно, что с ней будет. Пусть крысы сгрызут с ее лица кожу, пусть обглодают до костей. Только не меня! Джулию! Не меня!

Он падал назад, в бездонные глубины, прочь от крыс. Он все еще сидел, прикрученный к стулу, но при этом проваливался сквозь пол, сквозь стены здания, сквозь землю, сквозь океаны, сквозь атмосферу, в открытый космос, в межзвездное пространство – прочь, прочь, прочь от крыс. Он был в миллионах световых лет отсюда, и все же О’Брайен стоял рядом, щеки еще касалась холодная проволока. И тут сквозь сомкнувшуюся мглу до Уинстона донесся металлический щелчок, и он понял, что дверца клетки закрылась.

## VI

В кафе «Каштан» было почти пусто – посетителей в пятнадцать часов всегда немного. На пыльные столешницы падал косо́й луч солнца. С телеэкранов раздавалась дребезжащая, назойливая музыка.

Уинстон сидел в своем привычном углу, глядя в пустой стакан. Время от времени он поднимал взгляд на лицо, смотревшее с противоположной стены. «Большой Брат следит за тобой» – гласила надпись. Не дожидаясь просьбы повторить, подошел официант, вновь наполнил стакан джином «Победа» и добавил несколько капель сахарина с гвоздикой из бутылки с трубочкой в пробке. Фирменный коктейль кафе «Каштан».

Уинстон прислушивался к телеэкрану. Сейчас передавали музыку, но в любой момент следовало ждать специальной сводки из министерства мира. Новости с африканского фронта поступали чрезвычайно тревожные. Уинстон переживал из-за этого целый день. Евразийская армия (Океания воюет с Евразией – Океания всегда воевала с Евразией) продвигалась на юг ужасающими темпами. В дневном спецвыпуске конкретных мест не называли, и вполне вероятно, что битва уже идет в устье Конго. Браззавиль и Леопольдвиль в опасности, и не нужно смотреть на карту, чтобы понять, насколько все серьезно. Теперь речь шла не только о поте-

ре Центральной Африки, впервые за всю войну под угрозой оказалась территория Океании.

Уинстона охватило душевное волнение, не совсем страх, скорее неясное смятение, и тут же сошло на нет. Думать о войне он перестал. В эти дни он не мог сосредоточиться ни на чем дольше нескольких секунд. Поднял стакан и осушил его залпом. Как всегда, джин заставил содрогнуться и чуть не пошел обратно. Отвратное пойло. Даже гвоздика с сахарином, сами по себе весьма мерзкие, не могли заглушить убогий сивушный запах, а хуже всего, что вонь джина, не оставлявшая его ни днем, ни ночью, напоминала запах...

Он никогда не называл их, даже мысленно, и пока удавалось гасить в сознании их вид. Крысы чудились ему постоянно, копошились возле лица, их запах щекотал ноздри. Джин поднялся к горлу, и Уинстон рыгнул сквозь сиреневые губы. С тех пор как его выпустили, он располнел и обрел прежний цвет лица, если не сказать больше. Черты погрубели, кожа на носу и скулах стала грубой и красной, даже лысина налилась темно-малиновым. Снова подошел официант, принес шахматы и свежий выпуск «Таймс», открытый на шахматном этюде. Увидев, что стакан Уинстона пуст, сходил за бутылкой и налил джина. Звать официанта и делать заказ даже не требовалось: тут его привычки знали. Шахматная доска всегда ждала Уинстона, угловой столик всегда отведен для него; даже если в кафе становилосьлюдно, он сидел в одиночестве, поскольку никому не хотелось быть замеченным в

его обществе. Время от времени официант подавал грязный клочок бумаги, так называемый счет, но Уинстону чудилось, что с него берут подозрительно мало. Впрочем, деньги его не заботили, теперь их хватало с избытком. У него даже была работа – настоящая синекура, куда лучше оплачиваемая, чем прежняя.

Музыка с телеэкрана прекратилась, зазвучал голос. Уинстон поднял голову и прислушался. Не сводка с фронта, всего лишь короткое объявление от министерства благоденствия. Сообщили, что в прошлом квартале Десятый трехгодичный план по производству шнурков перевыполнен на девяносто восемь процентов.

Уинстон изучил этюд и расставил шахматы на доске. Это было сложное окончание партии с двумя конями. «Белые начинают и ставят мат в два хода». Уинстон посмотрел на портрет Большого Брата. Белые всегда ставят мат, суеверно подумал он. Всегда, без исключения, так уж устроено. Ни в одном шахматном этюде с сотворения мира черные никогда не выигрывали. Не символизирует ли это вечный, неизбежный триумф добра над злом? Огромное лицо ответило ему спокойным, властным взглядом. Белые всегда ставят мат.

Голос с телеэкрана сделал паузу и добавил другим, гораздо более мрачным тоном:

– Внимание! В пятнадцать тридцать мы сделаем важное объявление. В пятнадцать тридцать! Новости крайне важные, не пропустите. В пятнадцать тридцать!

И снова забренчала назойливая музыка.

Сердце Уинстона забилося чаще. Вот и сводка с фронта, интуиция подсказывала, что грядут плохие новости. Весь день при мысли о разгромном поражении в Африке на него накатывали короткие приливы волнения. Он так и видел, как евразийская армия ломится сквозь прежде неприступную границу и заполняет оконечность континента, словно колонна муравьев. Почему не удалось как-нибудь обойти их с флангов? Береговая линия Западного побережья буквально стояла у него перед глазами. Он взял белого коня и перенес на противоположный конец доски. Вот где правильное место! Он видел, как черная орда несется к югу, и вдруг таинственным образом появляется другая сила, врезается ей в тыл, перекрывает сообщение с сушей и морем. Уинстон чувствовал, что усилием воли вызывает эту силу к жизни. Действовать надо без промедления. Если им удастся взять под контроль всю Африку, если захватят аэродромы и базы подлодок на мысе Доброй Надежды, то Океания расколется надвое. И тогда возможно буквально все: поражение в войне, развал страны, передел мира, уничтожение Партии! Уинстон глубоко вздохнул. В нем боролись весьма противоречивые чувства, причем в их дикой мешанине отдельные элементы располагались слоями, и нельзя было разобрать, чего там больше.

Наконец волнение отхлынуло. Он поставил белого коня на место, но уже не мог сосредоточиться на этюде. Мысли

снова разбрелись. Почти неосознанно Уинстон вывел пальцем на пыльном столике:

$$2 + 2 = 5$$

«В нутро к тебе им не влезть», – сказала когда-то Джулия. Зато в твое влезть сумели. «Происходящее здесь с вами, оно *навсегда*», – сказал когда-то О’Брайен. Точное слово нашел. Есть такое, твои собственные поступки, от чего не оправиться никогда. Что-то убито в твоей груди: сгорело, выжжено дотла.

Он виделся с ней, даже разговаривал. Уинстон ничем не рисковал, он интуитивно чувствовал, что его дела их почти не интересуют. Мог бы увидаться с Джулией и еще раз, если б возникло такое желание. На самом деле встретились они случайно, в парке. Стоял промозглый мартовский день, когда земля тверда, как железо, трава кажется мертвой, и нигде ни единого зеленого листочка, не считая жалких крокусов, вылезших будто на растерзание ветру. Он торопливо шел, руки заиндевели, глаза слезились, и вдруг метрах в десяти увидел ее. Джулия разительно изменилась, хотя Уинстон сразу не понял, что именно не так. Они почти разминулись, и тут он, передумав, неохотно последовал за ней. Джулия молча свернула на лужайку, надеясь, что Уинстон отстанет, потом смирилась с его присутствием. Вскоре они очутились в жалких зарослях безлистного кустарника, не укрывающего ни от чужих взглядов, ни от ветра. Было ужасно холодно. Ветер свистел в ветвях и безжалостно трепал редкие, замызганные

крокусы. Уинстон обнял девушку за талию.

Телеэкранов рядом нет, зато наверняка есть скрытые микрофоны. К тому же их было видно. Значения это не имело, ничто уже не значило. Они могли бы улечься на землю и заняться *этим*, если б захотели. Мысль эта всю его плоть вогнала в ужас. Джулия оставила без ответа все пожатия его руки на талии, даже отстраниться не пыталась. Теперь он понял, что в ней изменилось. Лицо стало еще более землистым, через лоб к виску тянулся длинный шрам, чуть прикрытый волосами, но не в том была перемена. Она в том была, что талия ее раздалась и как-то удивительно отвердела. Ему вспомнилось, как однажды после разрыва ракеты он помогал вытаскивать из развалин труп, как поразился не столько невероятной тяжести тела, сколько его жесткости и неподатливости, так и казалось, что держишь не плоть, а камень. Таким же под его рукой было сейчас и тело Джулии. В голове его гнездилась мысль, что и кожа ее уже совсем не та, какую когда-то была.

Он не пытался ее поцеловать, оба молчали. Когда шли по траве обратно, она в первый раз в упор взглянула на него. Один краткий взгляд, зато полный презрения и неприязни. Уинстон гадал, вызвана ли неприязнь одним только прошлым или еще и его пропитым лицом да влагой, какую то и дело выжимал ветер из его глаз. Они сели в железные кресла, бок о бок, но не слишком близко. Он видел, что Джулия вот-вот заговорит. Она передвинула свой грубый башмак на

несколько сантиметров и нарочито хрустко переломила ветку. «Ступни у нее стали шире», – отметил про себя Уинстон.

– Я тебя предала, – напрямик выговорила она.

– Я тебя предал, – произнес он.

Она вновь бросила на него быстрый неприязненный взгляд.

– Иногда тебе грозят тем, чего ты не в силах вынести, даже в мыслях. И тогда ты говоришь: не делайте этого со мной, сделайте с кем-то другим, сделайте это с тем-то и тем-то. После, может, и притворишься, будто ты просто схитрила и сказала так, чтоб только пытки прекратились, а на самом деле ничего это не про то. Только это неправда. В тот момент, когда пытаются, ты и впрямь про то. Думаешь, мол, никак иначе себя не спасешь и вполне готова спастись именно так. Ты хочешь, чтоб оно случилось с кем-то другим. Тебе плевать, что кто-то будет страдать. Заботишься только о себе.

– Заботишься только о себе, – эхом отозвался он.

– А после такого нет у тебя больше прежних чувств к тому, другому.

– Да, – молвил он, – того же уже не чувствуешь.

Больше, похоже, говорить было не о чем. На ветру их тонкие комбинезоны липли к телу. Внезапно сидеть и молчать стало слишком неловко, к тому же они замерзли. Джулия, пробормотав что-то про то, что надо успеть в подземку, поднялась.

– Нам надо еще встретиться, – предложил он.

– Да, – кивнула она, – нам надо еще встретиться.

Уинстон нерешительно двинулся следом, чуть позади. Больше они не разговаривали. Джулия вовсе не пыталась от него ускользнуть, просто торопливо шагала вперед, не давая себя нагнать. Поначалу Уинстон собирался проводить ее до подземки, но вдруг понял, сколь бессмысленна и невыносима эта прогулка по холоду. Захотелось поскорее очутиться подальше от Джулии, желательно в теплом кафе «Каштан», что сейчас манило как никогда. Он затосковал по своему столику в углу, по газете и шахматам, по нескончаемому джину. Самое главное, там тепло. И он дал группе прохожих обойти себя, потом для очистки совести попытался нагнать Джулию, наконец замедлил шаг и двинулся в противоположную сторону. Пройдя метров пятьдесят, оглянулся. Хотя на улице было не особолюдно, среди дюжины спешащих прохожих разглядеть Джулию уже не сумел или просто не узнал сзади ее раздавшееся, ожесточившееся тело.

«В тот момент, когда пытаются, – сказала она, – ты и впрямь про то». И он тогда говорил про то. Уинстон не просто выговорил слова, он хотел того. Хотел, чтобы ее, а не его посадили к этим...

Что-то сменилось в сочившейся с телеэкрана музыке. В ней проскочили надсадные, глумливые нотки, зазвучала бульварщина. А потом... наверное, и не было этого, лишь злую шутку сыграла память, уцепившаяся за знакомый мотив... голос пропел:

Под раскидистым каштаном  
Сдал я тебя, а ты меня.

Слезы навернулись на глаза. Проходивший мимо официант заметил, что стакан Уинстона пуст, и вернулся с бутылкой джина.

Уинстон поднял стакан и поморщился. С каждым глотком эта дрянь казалась только хуже, но она стала его стихией. В ней была его жизнь, его смерть, его воскрешение. Джин помогал погрузиться в беспамятство каждый вечер, и джин возвращал его к жизни каждое утро. Когда Уинстон просыпался в одиннадцать ноль-ноль со слипшимися веками, пересохшим от нестерпимой жажды ртом и скованной болью спиной, то без глотка джина вряд ли смог бы принять вертикальное положение. В течение дня он заливал глаза у телеэкрана в компании с бутылкой, с пятнадцати часов и до закрытия просиживал в кафе «Каштан». Никому до него не было дела, свисток не будил, телеэкран замечаний не делал. Иногда, пару раз в неделю, он ходил в пыльный, брошенный кабинет в министерстве правды и немного работал или же просто делал вид, что работает. Его назначили в подкомитет подкомитета, который отделился от одного из бесчисленных комитетов для устранения мелких неурядиц, возникших при составлении одиннадцатого издания «Словника новослова». Они занимались подготовкой так называемого

промежуточного отчета, но в чем собирались отчитываться, так и осталось для Уинстона загадкой. Вроде что-то, связанное с расстановкой запятых: ставить их внутри кавычек или снаружи. В комитете состояло еще четверо, все вроде Уинстона. Иногда они собирались и снова расходились, откровенно признав, что заниматься им нечем. Случалось, рьяно хватались за работу, устраивали грандиозное представление: заводили протоколы заседаний, составляли черновики длиннющих меморандумов, так никогда и не завершённые, спорили до хрипоты, влезая в непроходимые дебри, цеплялись к определениям, вдавались в пространные описания и делали невразумительные отступления, ссорились, даже сыпали угрозами обратиться к вышестоящему начальству. Потом вдруг искра жизни их покидала, они сидели вокруг стола, обмениваясь пустыми взглядами, словно призраки, что исчезают при первом петушином крике.

Телеэкран умолк. Уинстон снова поднял голову. Сводка с фронта? Нет, просто сменили музыку. Перед глазами выплыла карта Африки. Движение армий указывали стрелки: жирная черная рвалась вертикально на юг, маленькая белая – горизонтально на восток, пересекая хвост первой. Словно надеясь на поддержку, он посмотрел на невозмутимое лицо на портрете. Возможно ли, что второй стрелы вообще не существует?

Интерес Уинстона снова угас. Он отпил еще джина, взял белого коня и сделал пробный ход. Шах. Но ход был явно

неправильный, потому что...

В памяти всплыло незванное воспоминание. Он увидел освещенную огарком комнату с большой кроватью под белым покрывалом, и себя, мальчика лет девяти-десяти: сидит на полу, трясет стаканчик с игральными костями и задорно хохочет. Мать устроилась напротив и тоже смеется.

Это было примерно за месяц до ее исчезновения, в редкий момент примирения, когда ноющий голод позабылся, а любовь к матери на время вернулась. Уинстон хорошо запомнил тот дождливый и промозглый день: по оконным стеклам струилась вода, и тусклого света в комнате не хватало, чтобы читать. Детям ужасно наскучило сидеть в темной, тесной спальне. Уинстон канючил и капризничал, тщетно требовал еды, сердито метался, пиная стены и сваливая все, что попадет на пути, пока соседи не застучали в стену, а малышка непрерывно редела. В конце концов мать сказала: «Будь хорошим мальчиком, и я куплю тебе чудную игрушку!» Она сбегала по дождю в магазинчик неподалеку и вернулась с картонной коробкой, настольной игрой «Змеи и лестницы». Уинстон до сих пор помнил запах мокрого картона. Игра его не впечатлила: доска в трещинах, деревянные кубики вырезаны плохо, катаются кое-как. Уинстон насупился, глядя на новую игрушку без интереса. Потом мать зажгла огарок, они уселись на пол, и вскоре он ужасно увлекся игрой и заливался смехом, когда фишки с надеждой карабкались по лесенкам и снова скатывались по змеям почти в самое начало.

Они сыграли восемь конов, и каждый победил по четыре раза. Маленькая сестренка не понимала сути игры и просто сидела в изголовье кровати, радостно хохоча вместе со всеми. До самого вечера они были счастливы вместе, как в раннем детстве Уинстона.

Усилием воли он выбросил воспоминание из головы. Очередная ложь памяти. Она тревожила его иногда. Главное – суметь ложь вовремя распознать. Он снова посмотрел на шахматную доску, взял коня и тут же уронил с громким стуком. Уинстона словно булавкой ткнули.

Пронзительно зазвучали фанфары. Сводка с фронта! Победа! Фанфары перед новостями всегда означают победу. По кафе будто пробежал электрический заряд. Даже официанты вздрогнули и наострили уши.

Поднялся невероятный шум. Возбужденный голос с телеэкрана уже почти утонул в радостном реве с улицы. Новость обежала город как по волшебству. Уинстон расслышал достаточно и понял, что все случилось так, как он и предполагал: огромная морская армада тайком подобралась к противнику и нанесла удар с фланга, белая стрелка перерезала хвост черной. Сквозь шум пробивались обрывки восторженных фраз: «Масштабный стратегический маневр... превосходная согласованность действий... стремительное отступление... полмиллиона пленных... полностью деморализован... контроль над всей Африкой... показался конец войны... победа... величайшая победа в истории че-

ловечества... победа, победа, победа!»

Ноги Уинстона под столом судорожно дергались. С места он не вскочил, но мысленно бежал, стремительно несясь по улицам вместе с толпой, оглушительно вопя. Он снова посмотрел на портрет Большого Брата. Колосс, оседлавший мир! Скала, о которую разбились азиатские орды! Всего десять минут назад сердце Уинстона язвила скверна, и он гадал, какими будут новости с фронта: победа или поражение. Сгинула не только вражеская армия! Многое переменялось в нем с того первого дня в министерстве любви, но окончательная, необратимая, целительная перемена так и не происходила до этого самого момента.

Голос с телеэкрана все еще плел сказ про пленных, про трофеи, про кровавую резню, но крики с улицы немного поухли. Официанты вернулись к работе. Один из них подошел к столику с бутылкой джина. Уинстон, погруженный в блаженные мечтания, не обратил внимания, когда наполнили его стакан. Ему же было уже не до беганья и не до восторженных криков. Он вновь пребывал в министерстве любви, полностью прощенный, с душою чистою, как снег. Сидел на скамье подсудимых, во всем признавался, обличал всех и вся. Шагал под конвоем по выложенному белым кафелем коридору, чувствуя на себе лучи солнца, и долгожданная пуля входила в его мозг.

Он поднял взгляд на огромное лицо. Сорок лет ушло на то, чтобы разглядеть под темными усами отеческую улыбку.

О, жестокое, ненужное недоразумение! О, упрямый, своевольный побег от любящей груди! Две налитые джином слезинки скатились по крыльям носа. Только все хорошо, все в порядке, борьба закончена. Он одержал победу над самим собой. Он любил Большого Брата.

# Приложение

## *Основные принципы Новослова*

*Новослов* – официальный язык Океании, разработанный для удовлетворения идеологических потребностей ангсоца, или английского социализма. В 1984 году еще никто ни устно, ни письменно не использовал *новослов* в качестве единственного средства общения. На нем печатались передовицы в «Таймс», но то был высший пилотаж, доступный лишь специалистам. Намечалось, что *новослов* окончательно заменит *старослов* (или, как мы его называем, общепринятый английский) к две тысячи пятидесятому году. Тем временем он неуклонно набирал силу: члены Партии все больше и больше использовали слова и грамматические конструкции *новослова* в повседневной речи. Версия, бывшая в ходу в 1984-м и закреплённая в девятом и десятом изданиях «Словника новослова», считалась пробной и содержала много избыточных слов и устаревших выражений, впоследствии устранившихся. В данном приложении речь идет об окончательной, улучшенной версии, закреплённой в одиннадцатом издании «Словника».

*Новослов* был призван не только выразить в материаль-

ной форме идеологию и убеждения адептов англо-социализма, но и сделать иной образ мысли невозможным. Предполагалось, что после того как *новослов* будет введен и поголовно всеми принят, а старослов забыт, еретическая мысль (то есть любая мысль, идущая вразрез с принципами англо-социализма) станет в буквальном смысле немислимой, по крайней мере, ее нельзя будет облечь в слова. Лексический состав языка сконструирован таким образом, чтобы дать точное и часто весьма поверхностное выражение любому значению, которое член Партии захочет использовать, избегая многозначности и возможности выразить ненужное окольными путями. Частично это удалось благодаря изобретению новых терминов, но в первую очередь помогло уничтожение старой лексики и неправильных значений оставшихся слов, то есть любых второстепенных значений. Вот простой пример. Слово «*свободный*» все еще существовало, но могло употребляться лишь в утверждениях вроде: «Эта собака свободна от блох» или «Это поле свободно от сорняков». Его нельзя было использовать в старом значении: свободный в идейном или политическом отношении, поскольку ни идейной, ни политической свободы больше не существовало, поэтому и надобность выражать эти понятия отпала. В отличие от уничтожения заведомо еретических слов сокращение лексического состава языка рассматривалось как самоцель, и ни единому слову, без которого можно обойтись, не суждено было уцелеть. *Новослов* предназначался вовсе не для расширения, а для суже-

ния диапазона человеческой мысли, и этой цели косвенно способствовало сокращение выбора слов до минимума.

Хотя *новослов* и основан на том английском языке, каким мы его знаем сейчас, многие фразы, даже не содержащие искусственно сконструированных слов, вряд ли будут понятны англоговорящему наших дней. Лексика *новослова* делится на три категории, известные как Лексикон А, Лексикон Б (сложные слова) и Лексикон В. Проще рассмотреть их по отдельности, однако грамматические особенности языка можно постичь в разделе А, поскольку они применимы ко всем трем лексическим категориям.

## **Лексикон А**

Лексикон А составляют слова, необходимые для повседневной жизни, связанные с простейшими действиями, такими как есть, пить, работать, одеваться, перемещаться в пространстве, заниматься садоводством, готовить пищу и тому подобными. В него входят слова, которые в ходу у нас с вами («*бить*», «*бег*», «*пес*», «*дом*», «*лес*»), но в сравнении с нынешним английским их чрезвычайно мало, а их значения гораздо более однозначны. Любая неточность и лишние смысловые оттенки устранены. По большей части слова этой категории – просто отрывистый звук, выражающий *одно* понятие. Использовать Лексикон А в литературных, политических или философских беседах совершенно невозможно. Он предназначен для выражения простых, конкретных мыслей,

обычно относящихся к реальным объектам или физическим действиям.

Грамматика новослова имеет две примечательные особенности. Во-первых, почти полная взаимозаменяемость разных частей речи. Любое слово (в принципе, даже абстрактные слова вроде «если» или «когда») можно использовать как глагол, существительное, прилагательное или наречие. Если слова одного корня, то неважно, какой части речи они принадлежат: выглядят и произносятся они одинаково. Это позволило уничтожить многие архаичные формы. К примеру, слова «думать» в новом языке не существует. Его заменил корень «мысл», выполняющий функцию и существительного, и глагола. Этимологический принцип здесь неприменим: в одних случаях сохраняли существительное, в других – глагол. Даже если существительное и глагол сходного значения не связаны этимологически, одно из двух слов обычно устраняли. К примеру, слова «резать» в новослове нет, его значение принял на себя глагол-существительное «нож». Прилагательные образуются добавлением одного – и только одного – типичного для прилагательных окончания, для наречий – добавлением суффикса. Таким образом, «скоростной» означает «быстрый», «скоростно» – «быстро». Некоторые из наших нынешних прилагательных, такие как «хороший», «сильный», «большой», «черный», «мягкий», сохранились, но их очень мало. Нужда в них практически отпала, ведь почти любое прилагательное можно получить,

добавив окончание к существительному. Современные нам наречия не уцелели, за исключением тех, что уже оканчиваются на подобающий суффикс. К примеру, слово «здорово» заменено на «хорошо».

Кроме того, любому слову этой категории (и это опять-таки применимо к любому слову в языке) можно придать отрицательное значение, добавив приставку «не-», или усилить, добавив приставку «плюс-» или «дваждыплюс-». К примеру, «нехолодный» означает «теплый», а «плюсхолодный» и «дваждыплюсхолодный», соответственно, «очень холодный» и «чрезвычайно холодный». Как и в нынешнем английском, в *новослове* можно видоизменять значение практически любого слова, добавив приставку «анти-», «после-», «вверх-», «вниз-» и так далее. С помощью таких методов удалось существенно сократить словарный запас языка. К примеру, если есть слово «добрый», то нет нужды в слове «злой», поскольку с его функцией вполне – да что там, гораздо лучше! – справляется слово «недобрый». Требовалось лишь выбрать из двух слов одно, а второе списать в утиль. К примеру, «темный» можно заменить на «несветлый» или наоборот, «светлый» на «нетемный», в зависимости от предпочтений создателей лексиконов.

Второй отличительный признак грамматики *новослова* – ее единообразие. По раз и навсегда установленным правилам (кроме редких исключений, о которых мы поговорим чуть позже) все части речи изменяются по временам, по чис-

лам и тому подобному. Неправильные глаголы *старослова* со всеми их формами упразднили, и все глаголы образуют прошедшее время добавлением одного суффикса к инфинитиву. Множественное число существительных привели в порядок, исключения убрали и оставили одно окончание. Например, слова «человек», «ребенок» во множественном числе стали «человеки», «ребенки». Степени сравнения прилагательных образуются только добавлением слов «более» и «самый» (*хороший – более хороший – самый хороший*), неправильные формы с добавлением окончаний упразднили.

Единственная группа слов, где допускаются исключения, – это местоимения (личные, указательные, относительные) и вспомогательные глаголы. Они сохранили свои архаические формы, кроме, пожалуй, модальных глаголов (их разнообразие сократили до одного «*должен*») и относительных местоимений, которые свелись к использованию «*кто*» и «*что*». Также остались отклонения в словообразовании, вызванные необходимостью говорить бегло и не напрягаясь. Слово, которое трудно произнести или можно расслышать неправильно, автоматически считалось плохим, и поэтому часто ради благозвучия в него подставлялись лишние буквы или же сохраняли архаическую форму. В основном такая нужда возникала в связи с Лексиконом Б. Мы объясним чуть позже, *почему* так важна легкость произношения.

## Лексикон Б

Лексикон Б составляют слова, созданные специально для политических целей, то есть слова, которые не только имеют политический подтекст, но и навязывают правильное мировоззрение. Их сложно использовать без полного понимания принципов англсоца. В отдельных случаях их можно перевести на *старослов* или даже выразить словами из Лексикона А, хотя это и потребует долгого пересказа и приведет к утрате некоторых оттенков значения. Слова категории Б – своего рода устная скоропись, позволяющая заключить целый ряд идей всего в несколько слогов, и в то же время более точная и эффективная, чем обычный язык.

Все слова этой группы сложносоставные. (Разумеется, сложные слова вроде «*речеписец*» входят и в группу А, но это просто удобные сокращения без идеологической окраски.) Они состоят из двух и более слов или фрагментов слов, соединенных в складной и благозвучной форме. В итоге всегда получается существительное-глагол, который изменяется строго по правилам. Возьмем такой пример: слово «*добромysl*» в значении «*правильные взгляды*» или, если это глагол, «*мыслить правильным образом*». Изменяется оно следующим образом: причастие – «*добромyslящий*», прилагательное – «*добромyslый*», наречие – «*добромyslенно*», отглагольное существительное – «*добромyslец*».

В словах категории Б этимологический принцип не прослеживается. Они могут быть образованы от любых частей речи, компоноваться в любом порядке и искажаться любы-

ми способами, лишь бы сохранялось удобство произношения и угадывался смысл. К примеру, в слове «*помыслокриминал*» корень «*мысл*» стоит на втором месте, а в «*помыслопол*» слово «*полицья*» теряет последние слоги. Сохранить благозвучие – чрезвычайно сложная задача, поэтому в Лексиконе Б отклонения от стандартных правил встречаются чаще, чем в Лексиконе А. К примеру, прилагательные от *миниправ*, *минимир* и *минилиуб* – *миниправный*, *минимирный*, *минилиубный* – образуются с добавлением суффикса перед окончанием, иначе они звучали бы слишком нелепо. В принципе, все слова категории Б склоняются и спрягаются совершенно одинаково.

Некоторые слова Лексикона Б имеют смысловые оттенки едва ли доступные тому, кто овладел *новословом* не в полной мере. Рассмотрим, к примеру, типичную фразу из передовой в «Таймс»: «*Старомыслы небрюхоочуют ангсоц*». Краткий перевод на *старослов* мог бы звучать так: «Те, чьи взгляды сформировались до Революции, не способны принять всем сердцем принципы английского социализма». Но этот перевод вовсе не является адекватным. Начнем с того, что для стопроцентного понимания приведенной выше фразы человек должен четко осознавать, что такое ангсоц. Вдобавок лишь человек, у кого ангсоц вошел в плоть и в кровь, способен оценить во всей красе слово «*брюхоочуять*», означающее слепое, восторженное принятие, какое нам, сегодняшним, и вообразить трудно, или слово «*старомысл*», нераз-

рывно связанное с понятиями порочности и упадка. Вместе с тем у некоторых элементов *новослова* была вполне определенная функция: не столько выразить, сколько уничтожить значения. Таких слов немного, и значения их так широки, что включают в себя целые ряды слов старого языка, благодаря чему один термин позволяет заменить и предать забвению огромные пласты лексики. Величайшая трудность, с какой столкнулись составители «Словника новослова», состояла не в изобретении новых слов, а в том, чтобы понять, какие именно диапазоны нежелательных слов они уничтожают.

Как мы уже убедились на примере слова «*свободный*», те слова, которые прежде имели тлетворное значение, иногда сохранялись удобства ради, но при этом лишались всех нежелательных смысловых оттенков. Бесчисленные другие слова, такие как «*честь*», «*справедливость*», «*мораль*», «*интернационализм*», «*демократия*», «*наука*» и «*религия*», просто перестали существовать. Их место заняли слова-заменители и тем самым их уничтожили. К примеру, все слова, связанные с понятиями свободы и равенства, вошли в одно-единственное слово «*помыслокриминал*», а слова, связанные с понятиями объективности и рационализма, – в слово «*старомысл*». Будь они более точными, могли бы представлять опасность. По своей системе взглядов член Партии близок к древнему иудею, который твердо знал, что все иные народы поклоняются ложным богам, а в подробности не вникал. Ему не следовало знать, что этих богов зовут Ваал, Оси-

рис, Молох, Астарта и так далее: чем меньше он знал, тем лучше для его истинной веры. Он знал Иегову и его заповеди; соответственно, все боги с другими именами и другими заповедями – ложные боги. Примерно таким же образом член Партии знал, что входит в понятие правильного поведения, и довольно расплывчато, без всякой конкретики представлял себе, какие отклонения от него возможны. К примеру, интимная жизнь регулировалась двумя словами *новослова*: *секскриминал* (половая распущенность) и *добросекс* (воздержание). *Секскриминал* обозначал любые неприемлемые действия сексуального характера вроде внебрачной связи, супружеской измены, гомосексуализма и прочих отклонений, к этому примыкало и обычное соитие, совершаемое ради удовольствия. Именовать их по отдельности смысла не было, поскольку все причислялись к преступлениям равной тяжести и карались смертью. В Лексиконе В, состоявшем из научных и технических терминов, могла возникнуть необходимость в конкретизации половых девиаций, но рядовому гражданину знать о них не полагалось. Он знал, что такое *добросекс* (то есть обычное соитие между мужем и женой исключительно ради продолжения рода и без физического удовольствия со стороны женщины), а остальное – *секскриминал*. В *новослове* пагубная мысль просто не могла получить дальнейшего развития, поскольку слов для ее воплощения не существовало.

Ни одно слово в Лексиконе Б не является идеологиче-

ски нейтральным, многие представляют собой эвфемизмы. К примеру, «*радлаг*» (исправительно-трудовой лагерь) или «*минимир*» (министерство мира, то есть военное ведомство) означают прямо противоположное тому, что означали составные слова. С другой стороны, некоторая лексика выражает откровенное и презрительное понимание истинной природы общества Океании. В качестве примера можно привести слово «*пролжорм*», означающее низкопробные развлечения и лживые новости, которыми Партия пичкала массы. Иные слова опять-таки имеют двоякий смысл: если они применяются по отношению к Партии, то означают «*хороший*», если к ее врагам – «*плохой*». Кроме того, огромному количеству на первый взгляд обычных аббревиатур сообщает идеологическую окраску не значение, а структура.

Создатели «Словника» проявили незаурядную изобретательность, и в Лексикон Б вошло все, что имеет или может иметь политическую значимость. Названия всех организаций, обществ, групп, доктрин, стран, институтов, административных зданий кроились по одной мерке: слово с минимальным количеством слогов, которые сохраняли исходное значение. Взять, к примеру, министерство правды: департамент документации, где работал Уинстон, назывался *докден*, департамент беллетристики – *белден*, департамент телепрограмм – *теледен* и так далее. И это сделано не только для экономии времени. Еще в первой четверти двадцатого века сокращенные слова и фразы стали типичной чертой по-

лититизированности языка, причем подобная тенденция проявлялась особенно ярко в тоталитарных странах и организациях. Примерами могут служить такие слова, как «*наци*», «*гестапо*», «*коминтерн*», «*инпрекор*», «*агитпроп*». Поначалу подобная практика применялась, так сказать, по наитию, однако в *новослове* она используется с вполне определенной целью. При сокращении какого-нибудь названия сужалось значение и слегка видоизменялось написание слова, и оно теряло большую часть связанных с ним ассоциаций. К примеру, выражение «*коммунистический интернационал*» навевает сложную картину вселенского братства, красных флагов, баррикад, Карла Маркса и Парижской коммуны. Слово же «*коминтерн*», напротив, означает сплоченную организацию и вполне определенную доктрину. Оно относится к объекту почти столь же легко узнаваемому и ограниченному в назначении, как стул или стол. Слово «*коминтерн*» можно произнести, особо не задумываясь, в отличие от словосочетания «*коммунистический интернационал*», которое прямо-таки обязывает задуматься хотя бы на миг. Сходным образом слово вроде «*миниправ*» вызывает гораздо меньше ассоциаций, чем «*министерство правды*», и их легче контролировать. Этим объясняется не только любовь к сокращениям, но и чрезмерное стремление к легкости и простоте произношения.

В *новослове* помимо точности в передаче смысла все соображения, в том числе и регламентации грамматики, пе-

ревешивала забота о благозвучии. И это понятно, ведь для политических целей требовались короткие слова с прямыми значениями, которые можно проговаривать быстро и без лишних размышлений. От своей схожести слова Лексикона Б только выигрывали. Почти всегда эти слова – *добромysl*, *минимир*, *пролжорм*, *секскриминал*, *радлаг*, *ангсоц*, *помыслопол* – состояли из двух или трех слогов с ударением на первый и последний. В результате говоривший на *новослове* тараторил, речь звучала отрывисто и в то же время монотонно. Собственно, так и было задумано. Любая речь, и тем более на тему, не являющуюся идеологически нейтральной, становилась максимально независимой от сознания. Несомненно, в повседневной жизни необходимо (по крайней мере иногда) думать, что говоришь, однако член Партии должен уметь высказывать правильные политические или этические суждения автоматически, как пулемет выплевывает пули. Этому способствовало и надлежащее обучение, и особым образом сконструированный язык, и структура слов в сочетании с резким звучанием и нарочитой уродливостью в духе *ангсоца*.

Кроме того, особо выбирать было не из чего: по сравнению с английским наших дней лексикон *новослова* чрезвычайно скуден, и создатели языка продолжали трудиться над его сокращением. От большинства других языков *новослов* отличался тем, что с каждым годом его лексикон уменьшался, а не увеличивался. Каждое сокращение воспринималось как достижение, поскольку чем меньше выбор, тем меньше

соблазн. Партия надеялась, что в конце концов членораздельная речь будет исходить прямо из глотки, минуя мозг. И эта цель открыто признается в таком термине, как «*крякоречь*», означаящем «*крякать словно утка*». Подобно многим другим словам в Лексиконе Б, «*крякоречь*» имеет два значения. Если «выкрякиваемые» суждения находятся в русле идеологии Партии, то они означают самую высокую похвалу: «Таймс», оценивая выступление оратора Партии как «*дваждыплюсдобрая крякоречь*», делает ему большой и горячий комплимент.

## **Лексикон В**

Лексикон В дополняет два других и целиком составлен из научных и технических терминов. Они похожи на те, что мы используем сегодня, образованы от тех же корней, но при этом предусмотрительно лишены любых нежелательных оттенков значения. Грамматические правила для них те же, что и для слов двух первых категорий. Лишь немногие из таких слов использовались в быту или в политической речи. Ученый или технический специалист мог найти все необходимые термины из своей области в особом списке, куда редко входили слова других специальностей. Общенаучная и общетехническая лексика практически исчезли, и выразить функции науки как способа познания мира или метода мышления представлялось невозможным. В *новослове* даже термин «*наука*» отсутствовал: для выражения любых его значе-

ний вполне хватало слова *ангсоц*.

Как видно из вышеизложенного, *новослов* практически не позволял выразить крамольное суждение, разве что на очень примитивном уровне. К примеру, можно было сказать: «*Большой Брат недобрый*» – но это нелепое для любого партийца утверждение не получалось подкрепить вескими доводами, поскольку нужные слова в языке попросту отсутствовали. Враждебные *ангсоцу* идеи могли быть представлены в расплывчатой невербальной форме и в терминах весьма общих, их сваливали в одну кучу и ими скопом клеймили все ереси, не давая им отдельных определений. По сути, выражать на *новослове* крамолу получилось бы только при помощи кривого перевода обратно на *старослов*. К примеру, «*Все человеки равны*» – вполне типичная для *новослова* фраза, но смысл ее лишь в том, в каком на *старослове* можно сказать: «*Все люди рыжие*». Утверждение правильно с грамматической точки зрения, но при этом явная ложь, означающая, что все люди одинаковы по росту, весу или силе. Идею политического равенства упразднили, и второе значение слова «*равны*» позабылось. В 1984 году, когда *старослов* все еще оставался общепринятым средством общения, теоретически существовала опасность, что кто-то вспомнит прежние значения слов нового языка. Практически же выходило, что поднаторевшие в двоемыслии партийцы легко избегали такой опасности, а через пару поколений она вообще сошла бы на нет. Человек, выросший на *новослове*, даже не знал

бы, что «равный» когда-то имело и вторичное значение: «политически равный», а «свободный» могло означать «интеллектуально свободный», как не знает других значений слов «конь» и «слон» тот, кто и слыхом не слышал о шахматах. Такой человек не способен совершить многие виды преступлений и правонарушений, ведь у них нет названия, и, следовательно, вообразить их тоже нельзя. Предполагалось, что со временем отличительные черты *новослова* станут еще отчетливее: слов все меньше, каждое из них все однозначнее, и вероятность ненадлежащего употребления постепенно сойдет на нет.

Когда старослов упразднят окончательно, оборвется последняя связь с прошлым. Историю уже переписали, но кое-где уцелели фрагменты литературы прежних эпох, подвергшиеся цензуре не полностью, и те, кто сохранял знания старослова, могли бы их прочесть. В будущем подобные фрагменты, если им доведется уцелеть, станут нечитаемы. Перевод со старослова на новослов невозможен, если только речь не идет о техническом процессе, простом повседневном действии или же текст уже создан в русле официальной идеологической доктрины («добромудрый», на новослове). На практике это означало, что ни одна книга, написанная до 1960 года, не подлежала переводу целиком. Для дореволюционной литературы допускался только идеологический перевод, то есть с заменой и смысла, и языка. К примеру, возьмем всем известный отрывок из «Декларации независимости»

сти»:

«Мы считаем за очевидные истины, что все люди сотворены равными, что им даны их Творцом некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся жизнь, свобода и право на счастье, что для обеспечения этих прав людьми учреждены правительства, пользующиеся своей властью с согласия управляемых, – что если какое-либо правительство препятствует достижению этих целей, то народ имеет право изменить или уничтожить его и учредить новое правительство...»

Перевести это на новослов с сохранением смысла оригинала совершенно невозможно. Что до духа оригинала, то лучше всего его выразить, вставив весь отрывок в одно-единственное слово «помыслокриминал». Если понадобится идеологический перевод, то слова Джефферсона превратятся в панегирик абсолютной и неделимой власти.

На самом деле подобным образом преобразовывали многие литературные произведения. Руководствовались при этом соображениями престижа: память о некоторых исторических деятелях нужно было сохранить и в то же время привести их достижения в соответствие с философией англо-соц. Различные поэты и писатели, такие как Шекспир, Мильтон, Свифт, Байрон, Диккенс и ряд других, находились в процессе перевода; по завершении работы их оригинальные произведения и прочие остатки литературы прошлых эпох под-

лежали уничтожению. То был долгий и кропотливый труд, окончания которого Партия ожидала не ранее первого или даже второго десятилетия XXI века. Кроме того, в аналогичном переводе нуждалась и утилитарная литература: техническая документация, инструкции, руководства по эксплуатации. Главным образом из-за времени, потребного на предварительные работы по переводу, окончательное введение новослова было решено отнести на более поздний срок – 2050 год.